

Дария Белыева



Мой дом,
наш сад

Шестеро молодых людей обучаются магии в чудесной школе с видом на идеальный сад. Они не помнят ничего за границами их маленького мирка и никогда не выходили за его пределы. Их размеренная, пасторальная жизнь течет своим чередом ровно до тех пор, пока учителя не начинают вести себя самым странным образом, а разгадка их пребывания здесь не оказывается ближе, чем хотелось бы.

Единственное, что я знаю достоверно или относительно достоверно, так это язык, на котором говорю. Однако, это знание не дает мне никаких надежных фактов. Я говорю и пишу на английском, но, судя по всему, это довольно распространенный язык. Нет совершенно никакого способа выяснить, нахожусь я в США, Великобритании, или, к примеру, в Канаде. Так уж получилось, что в нашей библиотеке совершенно у всех книг вырваны страницы с выходными данными. Я знакома, по крайней мере в некоторой степени, со всеми классическими текстами мировых культур от Вед до "Вишневого сада", однако к какой культуре принадлежу я сама, остается загадочным. Без сомнения, я в англосаксонской стране, но кто я такая? Кем были мои родители? Я с равным успехом могу быть англичанкой, русской, полячкой или немкой. Я довольно бледная, поэтому скорее всего не имею никакого отношения к Южной Европе, Средиземноморью, Ближнему Востоку или Индии. В принципе, мой фенотип можно отнести к центрально-европейскому, однако ни в чем нельзя быть уверенной. У меня темные волосы, это лишает меня определенного круга возможностей. Сомневаюсь, к примеру, что я — шведка. Однако, у меня светлые глаза, а это сужает круг поиска настолько, что я могу с уверенностью откинуть большую часть народов Земли. На самом деле, я читала, лишь небольшой процент населения земли имеет серые глаза. В Европе, однако, кажется, что очень многие люди светлоглазые. По крайней мере, если книги об этом не лгут. Я бы не стала слепо доверять книгам, однако я ничего другого не вижу этими своими серыми глазами. Еще у меня большая грудь и очки в толстой оправе, если верить сборнику анекдотов, это может говорить о том, что я еврейка. Надеюсь, что это не так, вовсе не потому, что мне свойственен антисемитизм. Евреи — народ с очень трагической судьбой. Я читала много книг о Холокосте, и, к сожалению, у меня нет никакой надежды на то, что это — художественная выдумка. Я читала о том, что в мире великое множество языков, но не знаю, как они звучат. Можно сказать, что я нахожусь в густом лесу, и пытаюсь докричаться до мира, однако мир остается безответен и глух. Конечно, ведь мир никогда нас не видел.

Я не помню своего детства. Моя жизнь начинается с десяти лет, тогда, когда я встаю с постели и узнаю, что меня зовут Вивиана. На тот момент никакого другого имени у меня нет, и то, что имеется кажется мне красивым. Мне протягивают стакан с водой, и я пью из него, а потом меня пронзает иррациональный и оттого еще более жуткий страх: если кто-то будет пить эту воду после меня, она может ему навредить. Я начинаю дрожать, и меня гладят по голове. Но у меня больше нет других забот, кроме как допить воду до конца.

Вот такое у меня первое воспоминание. Вивиана — красивое имя. Я могла бы думать о том, что я француженка или англичанка, но на самом деле мое имя лишь отсылка к "Смерти Артура" Мэллори. И я не знаю ни единого человека, чье имя не соприкасалось бы с этой вечной историей.

Я — Вивиана, и это неплохо. Я женщина леса, то есть колдунья, соблазнившая Мерлина, и оставившая его тело покоиться в какой-то хтонической пещере. Довольно лестно думать о себе, как о женщине такого толка, когда тебе — девятнадцать. Мне — девятнадцать. По крайней мере, именно так говорят. Согласно моим анатомическим признакам я и вправду похожа на девушку в интервале от восемнадцати до двадцати четырех. Точнее сказать сложно. Жаль, у меня нет колец, как на срезе дерева, чтобы определять возраст. Нам всем

девятнадцать, и мы живем в прекрасном месте, где погода всегда идеально соответствует месяцу года. Я знаю о том, что так бывает не везде, потому что в книжках часто пишут "погода слишком теплая для ноября" или "совершенно не мартовский ветер пронизывал его до костей". В месте, где я живу снег всегда выпадает в декабре, а дождь начинается в октябре, август мучительно жарок, а февраль чудовищно холоден. В какой-то степени это дисциплинирует, так, по крайней мере, говорит директор. Я почти уверена, что он контролирует погоду.

Впрочем, я не могу утверждать. Книжки учат меня ничего не утверждать. Мир очень относителен, то есть релятивен. Все в нем субъективно, различается от личности к личности и, в конечном счете, неустановимо. Так что я решила, что доверять книгам — плохая идея. Я должна сама узнать все если не о мире, то о себе. И, однажды, я тоже напишу свою книгу. Она встанет в безымянные ряды никем не прочитанных книг. Никто ее не увидит, и все же она останется на земле дольше меня.

Для такой большой работы необходимо хорошо формулировать свою внутреннюю речь, поэтому я проигрываю, как сейчас, внутренние монологи. Они помогают мне успокоиться, пока навязчивые мысли и бешеный страх не заставили болеть мое сердце. Мое сердце часто болит, я знаю, что такое бояться по-настоящему, так что не можешь даже заплакать. Правда в том, что страх — это больно. Даже очень. Он прогрызает свой путь наружу сквозь твоё сердце, и это мучительно, ведь тебя едят заживо. Буквально. Даже сейчас мысль об этом заставляет меня сжаться от ужаса, ведь я боюсь в это поверить. По-настоящему. Знаете, как в книгах про безумцев. Я не безумна, по крайней мере так говорят, однако я видела много безумцев, и очень боюсь сойти с ума. Галахад, а он умный и врач, говорит, что это тоже вариант сумасшествия. Я говорю, что мне кажется, будто я падаю куда-то, и ничто не имеет ценности, и иррациональные страхи навсегда отделяют меня от людей. Иногда я не могу сомкнуть глаз, боясь, что глупые, ужасные вещи кажутся мне логичными или правильными.

Я вздрагиваю, когда меня хватают за запястье. Пытаясь отдернуть руку, я вдруг замираю. Отчего-то мне кажется, что мое движение не мое, совершается против моей воли, что я с кем-то борюсь. На самом же деле я борюсь только с Ниветтой. Деперсонализация, говорю я себе, ты не одержима и не безумна. Не полностью безумна. Наверное. Я ведь никогда не могу быть уверена ни в чем. Мир релятивен, как я и говорила.

У Ниветты тоже светлые глаза, однако совсем другого оттенка. Они почти как вода, это красиво и это же — страшно. Ниветта — бледная, остроносая девочка с красивой улыбкой и тонкими, птичьими запястьями. На фаланге указательного пальца левой руки у нее луна, а на правой — солнце. Это татуировки, они сделаны с помощью шариковой ручки, не смываются, но, к счастью, и не гноятся. Ниветта не выглядит как земное создание, по крайней мере как их представляю я, у нее огромные инопланетные глаза, тонкие, бледные губы и блестящие зубки. Она облизывает губы, ее язык проносится справа налево и обратно.

— Вивиана, — говорит она голосом полным надежды. Я злюсь на нее, ведь она мешает мне вести внутренний монолог, я чувствую, как возвращается тревога. Мне хотелось бы забыться.

— Скажи мне, ты видишь их? — шепчет Ниветта. — Ты же их тоже видишь?

Взгляд ее соскальзывает с меня куда-то вверх. Я спрашиваю:

— Кого?

— Их. Они же здесь. Всегда были.

И тут же чувствую, как меня обжигает мое пламя. Вдруг из-за того, что я так грубо

обошлась с Ниветтой, она покончит с собой? Вдруг, я сделала это специально? Мне страшно, и я выдергиваю руку, движение это кажется мне опасным. Я всматриваюсь в потолок, пытаюсь понять, кого видит Ниветта. Или что она видит. На самом деле наш язык, каким бы популярным он ни был, не слишком сильно приспособлен к описанию галлюцинаций и бредовых фабул. Это справедливо, ведь язык репрезентирует доминирующую культуру, а большинство людей не являются безумными. Или очень хорошо играют в то, что они ими не являются. Я не совсем понимаю. В книжках много сумасшедших, про которых никто не пишет, что они сумасшедшие.

Но все-таки большинству повезло больше, чем Ниветте. Мне, в любом случае, намного больше.

Галахад говорит, что это очень мучительно, однако мой разум, в целом, сохранен. Не абсолютно, однако больше, чем у многих волшебников.

Ниветта смотрит на меня своими пустыми глазами, и вдруг эти глаза улыбаются, я вижу лучи тоненьких морщинок. Она раздражается атональным смехом.

— Ха. Испугала тебя.

Слова ее однако никакой интонации не имеют, будто она читает стих, смысл которого не совсем понимает.

— Никого я не вижу, — говорит Ниветта, а потом подмигивает мне. В остальном выражение ее лица не меняется.

— Сейчас, — добавляет она, цокнув языком. Иногда Ниветта отказывается есть, потому что кто-то отравил ее еду. Ее еда в порядке, а вот Ниветта — нет. Но я не знаю никого, кто в порядке. Поэтому у меня нет релевантных примеров для сравнения. На заметку: если я буду писать, то никогда не стану размещать слова "релятивный" и "релевантный", потому как это не этично. Я стараюсь быть доброй ко всем, иначе я просто умру от боли. Мне часто бывает плохо, к примеру, сегодня ночью я проспала около трех часов, а остальное время мне в грудную клетку будто забивали гвозди. Однако, оно того стоит. Понимаете, то как устроена моя голова, это и беда, и подарок. Почему это беда я и так сказала слишком много. Это подарок, потому что позволяет мне творить магию. Создавать из ничего — все, управлять пространством, летать, читать мысли, замораживать прикосновением — я знаю довольно много заклинаний, перечислять их все было бы бессмысленно.

Я не лучшая среди моих друзей и однокурсников, однако есть множество вещей, в которых я хороша. Особенно я люблю создавать насекомых. Я сжимаю кулак, окрашенный пыльцой и медом, и шепчу слова на мертвом языке, жду трепета, и, когда я раскрываю ладонь, на ней сидит бабочка. Она может быть любого цвета. Я сразу же отпускаю их, потому что мне страшно их раздавить и хочется их раздавить. Иногда бабочек ловит Моргана, у нее есть для этого сачок и сноровка. Она засушивает их и цепляет на заколки, чтобы носить в волосах. Мне плохо, когда я это вижу.

Я люблю создавать насекомых, потому что это кропотливая работа, однако взрослые считают, что это глупости. Бабочки не спасут нас, когда сюда придет Королева Опустошенных Земель.

Даже больше бабочек я люблю механизмы. Мне нравится собирать часы, останавливающие время, хотя это у меня получается не слишком надежно. Мне нравятся ловушки для мыслей с мерно вращающимися шестеренками, мне нравятся золотые внутренности компасов для обнаружения магии. Это, как говорят взрослые, чуть полезнее.

Я понимаю, что в девятнадцать лет взрослые должны перестать быть таковыми, и я

должна раствориться среди них, сама стать взрослой для какого-нибудь ребенка. Однако в месте, где живу я, нет смены поколений. Взрослые всегда остаются взрослыми, а мы — все еще остаемся детьми. В замкнутом обществе не может быть достигнуто равенство, потому как любая структура стремится к порядку, а порядок это иерархия.

Однако любой порядок подвержен действию энтропии, и вот тогда мы получаем хаос, который некоторые принимают за равенство. Я люблю умничать, но больше внутри своей головы. Для того, чтобы умничать у всех на виду у нас есть Гвиневра. Она прочла море книг, в совершенстве знает Таро и Руны, а если она создает огонь, он пылает долго, намного дольше естественного костра. Никогда я не видела никого лучше Гвиневры.

Я смотрю на Ниветту, мне кажется, что это заставит ее уйти, однако она ничуть не смущается ловит мой взгляд, и уйти хочется уже мне. Ниветта выглядит очень маленькой и хрупкой, но однажды она избила Кэя за то, что он снес фигурки со стола, где Гвиневра и Ниветта играли в монополию. Она сказала:

— Иди сюда, сука.

Так и сказала. Может даже:

— А ну-ка иди сюда, сука.

Словом, Ниветта продемонстрировала удивительную для меня словесную эквилибристику. В книжках есть много ругательств, а Ланселот знает их больше, чем цифр. Просто я почему-то не ожидала такого активного нападения со стороны Ниветты. В целом, она мне нравится. Хотя даже сейчас я представляю, как она схватит меня за воротник платья, и скажет:

— Тебе конец, курица.

Глаза Ниветты однако выражают только мир и покой. Иногда она облизывается. Я вижу, что губы у нее пересохли и потрескались. Может быть, они с Кэем целовались. Эта мысль вызывает у меня внутри нечто странное, будто маленький водоворот внизу живота. Не возбуждение, однако за шаг до него. Может быть, это вид зависти. Зависть — плохое, деструктивное чувство. Мне не нравится ощущать такие вещи.

Кэй, как только я о нем вспоминаю, оказывается рядом. Он садится рядом с Ниветтой, подается вперед, едва не сбив тарелку. Салфетка, как парус раскрывшаяся на тарелке, падает, вилка и нож подпрыгивают, звякнув. Кэй очень неловкий, хотя он отлично танцует. Не могу понять, как это может сочетаться. Некоторые качества должны друг друга взаимно исключать. Ради формальной логики. Так иногда говорит Гвиневра вместо "ради Бога".

— О чем болтаете? — весело спрашивает Кэй. У него смешливое лицо с самыми красивыми чертами на свете, такими правильными и тонкими, будто его создавал не случай, не случайная комбинация генов, а кто-то персонализированный, знакомый с тем, что называется красивым. Смотря на такие лица, я начинаю думать о Боге. У Кэя синие глаза и светлые-светлые волосы, на носу рассыпался урожай веснушек, ведь сейчас май, а это значит, что веснушки будут сопровождать Кэя до декабря. Кэй смешливо морщит тонкий нос, его мимика сглаживает невероятную красоту, присущую ему от рождения. В противном случае, мне было бы грустно с ним общаться, я думала бы только о том, что природа не дала мне ничего столь же прекрасного. Я — обычная. Не хуже других, это точно. Не лучше других, это тоже точно. При некотором волевом усилии и концентрации, я могу показаться милой. Обычно этого достаточно.

— О том, что семьдесят шесть процентов девушек симулируют оргазм, Кэй, — говорит Ниветта своим абсолютно лишенным интонаций голосом.

— Это значит, что если здесь четыре девушки, вероятность того, что они не симулируют равна...

— Нулю, — говорит Моргана. — Если это с тобой.

— Врешь, — отвечает Кэй, и смеется. Смех у него чудный, от него всегда становится лучше, и даже сейчас тревога чуть-чуть отпускает меня. Я хочу сама придумать шутку, чтобы еще раз услышать этот смех, однако Кэй уже принимается подбрасывать в руках нож, а это могло его занять на несколько минут, пока он не увидит что-то более интересное.

Моргана садится рядом со мной, и я чувствую запах ее духов — сладкая жимолость. Женский запах, пьянящий. И магический. По крайней мере, я чувствую исходящую от него силу. Нож Кэя вдруг застывает в воздухе, а Кэй подается вперед к Моргане, прямо через стол и, перехватив ее за шею, целует. Я беру нож, движение которого Кэй остановил, и кладу на стол. Все это выглядит очень небезопасно. Кэй и Моргана самозабвенно целуются, и я ловлю в отсутствующем взгляде Ниветты что-то вроде недовольства. В конце концов, она просто встает и пересаживается за стол с другой стороны от меня.

— Привет, — говорит она. — Теперь это женская сторона.

Я пожимаю плечами. Моргана, наконец, отталкивает Кэя, почти усаживает его на стул.

— Вчера сварила, — говорит она как ни в чем не бывало. Ее помада стерлась, что придает ей еще более распутный вид. — Видимо, все получается правильно.

— Ты попробуй на ком-нибудь, кроме Кэя, — советует Ниветта.

— На Гвиневре, например, — говорю я. И достигаю успеха — Кэй смеется. Но почти тут же закрывает рот, видимо почувствовав что-то вроде стыда или вспомнив какую-нибудь печальную вещь. Однажды Кэй едва не заплакал, когда посреди игры в салочки, на было по одиннадцать, ему пришла на ум концовка "Вулли" Сеттона-Томпсона. Выглядело жалко.

Я смотрю на Моргану. Ее светлые волосы кольцами спадают к лопаткам, кошачьи, хитрые глаза блестят, как море ночью — темной синевой. Она — красивая. Моргана действительно очень красивая, я ей завидую. Я знаю, что Ниветта тоже ей завидует. Думаю, и Гвиневра, хотя ее чувства покрыты завесой абсолютной тайны.

Очень забавно: в нашей школе есть форма, и мы неизменно носим ее до конца дневных занятий и наступления свободного времени. Черные брюки, белая рубашка и бежевая жилетка с эмблемой школы для юношей, Кэя и Гарета, и белая рубашка и бежевая же юбка, разумеется, тоже эмблемой школы на подоле или такой же расцветки платье для нас. Еще мы носим черные чулки и туфли без каблуков, а летом — шляпки с черными лентами. Что я имею в виду: мы все одинаково одеты, однако у Морганы получается выглядеть совершенно по-другому. Школьная форма превращает ее не в заучку, мамину дочку или неудачницу с последней парты. Моргана выглядит в ней привлекательно, притягательно. И то, как край ее черных чулок смыкается с тканью плиссированной юбки это, пожалуй, самое болезненное, что я за последнее время видела. Иногда кому-нибудь удастся увидеть полосу снежно-белой кожи на ее бедре, и это хуже самых распутных фантазий. Моргана просто умеет пользоваться своей красотой. Она берет ее и делает с ее помощью удивительные вещи. Я думаю, что если бы Моргана захотела, она могла бы отсюда сбежать, и ей не понадобилось бы ничего, кроме нежной улыбки и беззащитного взгляда.

Она правда красивая. Я думаю, я в нее немного влюблена. И я ее лучшая подруга. Мы очень близки. Настолько, насколько вообще могут быть близки люди, у которых нет никаких альтернативных объектов для общения. Ниветта любит Моргану не так сильно, как я. Может быть, потому, что Моргана и Кэй, красивые, будто молодые боги, созданы, чтобы быть

вместе. Они рядом, будто иллюстрация к роману золотой эпохи двадцатых в Америке. «Великий Гэтсби» про студентов Лиги Плюща, где гольф и коктейли считаются внеклассными занятиями.

Вообще-то мы хорошо общаемся вчетвером. Ниветта странная, равнодушная почти ко всему в жизни и иногда кричит по ночам, зато она всегда может выслушать и вступить за друга в трудную минуту, по крайней мере если ее попросить, Кэй глуповат и его внимание не задерживается ни на чем более минуты, а Моргана, ну, является просто Морганой, ее невозможно терпеть, но без нее невозможно жить. Однажды я поссорилась с Морганой на пару месяцев, и это до сих пор самое страшное время в моей жизни. Моргана — свет солнца, только когда она рядом возможна жизнь. Но если же ее слишком много, она оставит тебе ожоги.

— Ты же не злишься, милая? — спрашивает Моргана у Ниветты. Моргана перехватывает свои волосы в высокий хвост, а потом будто бы вспоминает, что у нее нет резинки, и встряхивает головой. Я убираю выбившуюся прядь ее волос, а Моргана продолжает, будто это самое естественное, что я могла бы сделать в такой ситуации:

— В любом случае, вы ведь помните, какой сегодня день?

Мы помнили. Сейчас только одиннадцать часов утра, закончился второй урок и начинается завтрак, однако я уже нестерпимо хочу, чтобы наступила ночь. Впрочем, чтобы быть честной, отмечу: еще я хочу поесть, однако все ждут Гвиневру и Гарета. Обычно Гвиневра не опаздывает. Она приходит даже раньше, чтобы насладиться чувством собственного превосходства в ничего не значащих мелочах.

— О, Боже, а если она умерла? — спрашивает вдруг Кэй, глаза у него становятся еще больше от неподдельного страха.

— Заткнись, дружок, ты ее тоже хорошо знаешь, она сюда и мертвенькая придет.

Ниветта смеется, но ее смех будто бы не имеет ни малейшего отношения к реплике Морганы. Вот такая у нас компания.

Я принимаюсь смотреть в сад. Высокое и всегда идеально вымытое арочное окно стремится к потолку. Сквозь его стекло до меня доносится буйная, майская зелень, короткие и стремительные полеты стрекоз, движение бабочек между цветами и легчайшее покачивание качелей, будто еще за секунду до того, как мой взгляд туда обратился туда, кто-то сидел и смотрел на всю эту весеннюю красоту снаружи. Сейчас — никого нет. На деревьях висят золотистые клетки для птиц. Иногда для магии нужны кровь и смерть. Мы ловим разноцветных птичек и убиваем их. И хотя лично я никогда не делала этого, мое сердце сжимается от страшной тоски и вины, как только я вижу золотые прутья, золотое зерно и золотые нити магической ловушки, захлопывающей за птичкой дверь.

В остальном, у нас прекрасный сад, он смыкается с лесом, оттого сложно понять, где на самом деле находится его конец. Дикая природа сливается с человеческим представлением о ней, незабудки и розы оказываются вместе с ромашками и чертополохом, сплетаются теснее, чем когда-либо, и создают новую, особую красоту.

Я люблю проводить время в саду. Просто лежу в высокой траве, которая стеной окружает меня, и ко мне заглядывают цветы. Однажды я подумала: вид, как из гроба. Я покойник, а цветы — склонившиеся надо мной скорбные родственники.

Тогда я очень испугалась. Не люблю, когда мои мысли кажутся мне странными.

Вспомнив об этом случае, я отворачиваюсь от окна. Столовая у нас тоже красивая. Нужно понять самое главное: у нас все красивое. Я не знаю, почему. Наверное, потому что

мы все больные, а больных людей должна окружать красота.

Только мы не выздоровеем.

С высокого потолка, изрисованного древними знаками, и в то же время лакированного до блеска, как в 19 веке, свисают хрустальные люстры. Когда наступает вечер, свет так играет в них, что иногда я краду этот свет. Просто потому что не могу удержаться. Я держу его в своих кристаллах, и когда не могу заснуть, достаю их из коробки и смотрю.

Стол у нас один, зато очень длинный, во весь зал. За одной его частью сидим мы, ученики, середина пуста, а на другом конце сидят взрослые. Мордред, нашего директора, еще нет, а вот Ланселот что-то сосредоточенно объясняет Галахаду. Наверное, ужасно смешно, когда в твоём огромном мире всех зовут Джон, Иван, Йохан, Хуан, и так далее, услышать вдруг о ком-нибудь, кто и вправду носит имя Галахад. Я понимаю, что это звучит глупо. Однако, для меня намного более смешным представляется имя Хуан. И все другие имена в целом. Ведь я никогда их не слышала. Возможно я даже неправильно их произношу.

Галахада мы любим. Он мог бы быть хорошим человеком, но его сознание в значительной степени повреждено. Может, это и делает его потрясающим волшебником. Он нас учит, но еще — он наш врач. И если к кому здесь и можно обратиться за помощью, так это к Галахаду.

А если к кому нельзя, то к Ланселоту. Один раз он ударил меня только за то, что я слишком долго шла на обед. С тех пор я не опаздываю. У меня есть подозрение, что Ланселот этого не хотел. Просто его разум тоже поврежден, и ему легко разозлиться.

Но я все равно стараюсь не подходить к нему без повода и не заговаривать с ним. Он учит нас боевой магии, а еще отвечает за нашу безопасность. Лично я не планирую побега, но если бы вдруг планировала, то передумала бы, увидев, как Ланселот патрулирует территорию. Один раз он сказал, что скорее нас всех убьет, чем отпустит.

Галахад — смуглый, высокий человек с нервными чертами лица. У него умные глаза ученого, но синяки под ними придают ему нестабильный и опасный вид. Высокий и тощий, Галахад ни на секунду не прекращает движение, как подвижный хищный зверь вроде ласки или хорька. Одет он всегда неаккуратно, но что самое травматичное — на его белом халате частенько можно обнаружить пятна крови. Мне это, бывает, портит аппетит.

Галахад замечает мой взгляд, махает мне рукой с искренней, ласковой радостью. Я киваю ему, и тут же отвожу глаза.

Ланселот добавляет в фарфоровую чашечку рассеченную золотым узором, что-то из своей простой, поцарапанной фляги. Его типичный, не обращенный ни к кому конкретному оскал становится шире. Он алкоголик, это знают все. Моргана и Гвиневра часто спорят о том, что было в голове у Ланселота до тех пор, пока он не пристрастился к алкоголю. Чтобы впустить внутрь магию, ты должен быть больным. Иначе никак. Нам не говорили, почему так. Может, это древнее проклятье. Или магия и психические расстройства — сцепленные гены. У меня нет ответа. Но когда я вырасту и стану взрослой волшебницей, было бы интересного его найти.

Мордред за столом нет. Он, как и Гвиневра, никогда не опаздывает. Видимо, решаю я, сегодня необычный день. Я люблю необычные дни, потому что тогда можно ждать разных удивительных событий. Я учусь магии в закрытой школе, однако моя жизнь вовсе не так насыщена событиями, как пишут в книгах о волшебстве. А может быть, по крайней мере, я часто думаю об этом, волшебство дается лишь тем людям, которые не могут распорядиться им для своего счастья. Я читала где-то, что безумие открывает разум, делает его

восприимчивым ко всему настоящему в мире, ко всему, скрытому от глаз. Смешное утверждение, потому как мой мир сужен до точки, в которой мне всегда плохо. Мой мозг — открытая рана, которая иногда покрывается тонкой корочкой, и лишь в эти моменты я чувствую себя счастливой. Ниветта, к примеру, кричит и плачет, когда ей кажется, что кто-то хочет забрать контроль на ее разумом. Один раз я видела, как она билась головой об стол, и мы едва ее оттащили. У нее была такая сила. Она действительно хотела выкинуть что-то из своей головы настолько сильно, что готова была проломить свой череп. Кэй с трудом научился читать, не может сосредоточиться ни на чем, и он никогда не станет талантливым волшебником, никогда не станет никем талантливым. А Моргане не интересно ничего, кроме власти и боли, вся остальная ее жизнь, магия, полеты и звезды, созидание и разрушение — ничто по сравнению с миром в ее голове. Я знаю, что в ее взгляде всегда, даже когда она ласкова или весела, есть тот самый огонь, сжигающий все прочие радости и мечты. Она мечтает дойти до какого-то предела, о котором никому не говорит.

Вот что такое магия. Вот что такое мои друзья.

На самом деле я очень люблю своих друзей, правда. Хотя не уверена, что правомерно такое утверждать, когда выборка так невелика. В конце концов, мне все равно абсолютно некуда деваться отсюда и негде искать каких-нибудь других друзей. Моргана сидит, положив ногу на ногу, и ткань все-таки обнажает ее белую кожу. Ниветта раскачивается на стуле, пытаясь усмотреть что-то на высоком потолке, ее взгляд скользит вслед за этим, становясь, кажется, еще прозрачнее. Кэй оживленно рассказывает, как он наколдовал себе сидра, и как сидр оказался крепче, чем задумывалось, но не крепче, чем хотелось, только он отравился. Я слушаю его, будто радио. В этот момент солнце, выхватывавшее идеальные синеву и зелень за окном вдруг исчезает в облаках, и все тускнеет. Даже линии начинают казаться размытыми. Я смотрю в сторону взрослых, однако они как ни в чем ни бывало продолжают о чем-то говорить. Неужели, они не удивлены тому, что Гвиневры еще нет? Впрочем, завтрак не начнут без директора.

Небо все темнеет и, наконец, первые капли срываются вниз. Я слушаю ритмичный стук дождя, вижу, как тяжелые капли прибивают головки цветов. По стеклу путешествует вода, формируя прозрачные узоры, повинующиеся пальцам Морганы. Окно становится похоже на недоделанный витраж. Все краски снова делаются ярче, вода будто придает зелени и цветам насыщенность, питает их красоту.

Иногда в мае случается дождь. Обычно по вторникам, сложно сказать, почему именно так.

Дождь становится все сильнее, и я слышу отдаленный разрыв в небе, гром. Кэй вскрикивает, Моргана смеется, а Ниветта снова перехватывает меня за руку.

— Вот, — шепчет она. — Они разорвали небеса.

Мне становится неуютно оттого, что я подумала о том же, о чем и Ниветта.

— Теперь они проникнут сюда. Только небо нас защищало. Все маленькие существа в их власти. Маленькие существа. Крохотные твари.

Я стараюсь отстраниться, вырвать руку, но пальцы у Ниветты крепкие. Поэтому я радуюсь, когда слышу голос Гвиневры:

— Мне абсолютно все равно, Гарет. Из-за тебя я опоздала на завтрак, это делает меня очень злой старостой. А ты не хочешь видеть злоую старосту.

— Ты же все время злая, — отвечает Гарет.

— Неправда. Я все время добрая. Ты еще не знаешь, какая я злая.

Видимо, от неожиданности Ниветта ослабляет хватку и выпускает мою руку. Гвиневра и Гарет идут к столу. Их частенько видят вместе вовсе не только потому, что их имена начинаются на одну и ту же букву. С ними обоими никто не дружит. Гвиневра ставит своей целью унизить любого собеседника и доказать тем самым свое невероятное превосходство во всем, что касается, ну, всего. Если смотреть на нее не предвзято, можно увидеть высокую девочку с длинными, блестящими и абсолютно прямыми волосами, в которые аккуратно и симметрично вплетены две ленты — черная и бежевая, под цвет формы. У Гвиневры красивые, темные глаза, с блестящими белками, изящные острые скулы и золотисто-смуглая кожа. Она определенно южанка, однако, предположительно, ее черты укладываются в европейские фенотип. Я не совсем уверена. В книжках обычно мало фотографий, а если и есть, то это писатели, с лицами, поросшими жесткой, как иссохшая трава растительностью. Фильмам же доверять нельзя, потому что актеры часто играют персонажей иной национальности, нежели они сами.

Однажды я нашла в библиотеке книгу по евгенике. В мире это теперь запрещенная наука. Именно так мне объяснила Гвиневра. Она помнит не больше моего, те же десять лет, то же новое имя из "Смерти Артура", тот же маленький мирок, где нет ничего кроме книг и кино. В общем, помнит Гвиневра столько же, но знает о мире намного больше. Она читает постоянно. Даже сейчас я вижу в одной ее руке руку Гарета, а в другой — книжку по классической физике.

Мы отрицаем классическую физику, она нам не нужна. Я могу подняться вверх, к самому потолку, и плевать я хотела на гравитацию.

А еще можно совсем ничего не знать, при желании. Кэй справляется.

Гарет, его брат-близнец, такой же удивительно красивый, шмыгает носом, втягивая вязкие капли темной крови. Гарет — вовсе не плохой парень. Но мы с ним не дружим даже несмотря на то, что Гарет — брат-близнец Кэя. У нас есть причины.

— Я просто хотел стать красивее! — говорил Гарет, и Кэй шепчет Моргане:

— О, мой позорный брат. Я надеялся, что ему крышка. Представлял, что на него упал рояль или вроде того.

— Как тупо, — морщит нос Морган. Они оба смеются, а мне не хочется.

Гарет едва не плачет, это для него важно.

— Ты хотел превратить свою голову в лягушачью. Это очень опасная магия, — холодно говорит Гвиневра. — Я доложу об этом директору.

— Но если бы у меня все получилось, меня бы похвалили.

— Но у тебя не получилось. Поэтому тебя накажут. Если бы не я, ты был бы уже мертв. Сосуды твоей тупой головы могли бы лопнуть.

— Это бы того стоило! — говорит Гарет с горячностью.

— И глаза стали бы красные, и лицо приняло бы вид огромной гематомы, — спокойно добавляет Гвиневра.

— Умер бы красавчиком! — смеется Кэй.

— Ага, — подтвердил Гарет, как будто не понимает, в чем подвох. Галахад говорил, что у Гарета дисморфомания. Он хочет изменять свое тело, потому как оно кажется ему некрасивым, чужим. Гарет считает красивое уродливым, и наоборот. Это ужасно смешно, однако Галахад призывает нас уважать друг друга. Однажды он спросил, как бы мы чувствовали себя, если бы наша кожа была испещрена гноящимися язвами, конечности были бы непропорционально длинны, прикус искривлен, а белки глаз казались бы насыщено

красными от болезни.

— Умирающими? — предположил Кэй.

— И нас бы это мало волновало, — сказала Ниветта.

— В общем и целом, — подтвердил Галахад. — Тогда добавим еще одну переменную: вы бы хорошо себя чувствовали. Кто-нибудь из вас решился бы посмотреть в зеркало, чтобы увидеть гноящегося монстра?

Мы молчали. Спустя минуту, не дождавшись ни одного ответа, Галахад сказал:

— Так чувствует себя Гарет. Он себе отвратителен.

А потом он отпустил нас с урока. Мы не стали относиться к Гарету лучше, но, по крайней мере, теперь я вовсе не думаю, что его проблема — смешная. Стараюсь не думать.

Гарет и Гвиневра садятся со стороны Кэя, через стул от него. Это негласное правило. Мы не друзья. Друзья должны сидеть вместе и охранять свою территорию. Так говорит Моргана. Думаю, она вычитала это откуда-то из книжки по этологии стайных животных.

Гвиневра кладет руки на стол, не задевая скатерть локтями, выпрямляется и ждет. Капля крови из носа Гарета, вязкая и тяжелая, срывается вниз, и разбивается о белое дно тарелки.

Мне уже очень хочется есть, но я не решаюсь спросить у взрослых, почему завтрак задерживается.

— Мышонок, — шепчет Моргана. — Может, Мордред, не хочет тебя видеть после твоего провала на дополнительных занятиях?

— И теперь мы все умрем с голоду! — причитает Кэй. — Из-за тебя, Вивиана!

— Повтори это, когда твои глаза западут, кости станут острыми, а распухший язык будет мешать при разговоре, тогда это произведет большой эффект, — выпаливаю я очень быстро. Все смеются, кроме меня. Мне не нравится то, что я сказала. Меня это пугает, и глупости, которые мы мелем становятся вдруг очень серьезными.

В этот момент предельной неловкости меня спасает появление директора. Дверь открывается совершенно бесшумно, с помощью магии. Мордред редко делает что-то, не используя ее. Я слышу свист, легкая, смешливая песенка, обладающая достаточно ритмичной мелодикой. Мы никогда не слышали от Мордреда слов, но насвистывает ее он почти постоянно. По звуку этой мелодии всегда можно определить его приближение. У Мордреда легкая, не сочетающаяся с его характером походка, иногда он два раза делает шаг с одной ноги, поэтому кажется, будто он пританцовывает. Мордред всегда одинаково и хорошо одет. На нем строгий костюм с идеально накрахмаленным белым воротником-стойкой. В кармане позвякивают часы на золотой цепочке. По стрелкам на его брюках, кажется, можно чертить, а блестящие остроносые ботинки ловят в лакированные носки свет, и в них будто сияют два маленьких солнца.

Мордреда можно назвать красивым, однако его лицо всегда имеет неприятное выражение, сосредоточенное и безразличное одновременно. Такое выражение появляется у тех, кто решает сложную и важную задачу, если их отвлечь. Я стараюсь никогда не смотреть ему в глаза. Это мне удастся легко, он довольно высокий, а я совсем небольшого роста, мой взгляд по умолчанию утыкается ему в ключицу. Никто и никогда не видел, чтобы Мордред улыбался. Кэй говорит, что это потому, что вместо пломбы у Мордреда к зубу припаяна крохотная емкость с цианистым калием, магией удерживаемая в герметичном состоянии. Это чтобы в случае чего покончить с собой. Мордред часто говорит о вещах хуже, чем смерть. И когда он говорит, с левой стороны, где коренные зубы (в книгах называемые

молярами), у него действительно поблескивает какая-то штука. Я не уверена, что стоит доверять Кэю, но и объявлять ложью всю его историю я бы тоже не стала.

Мордред прогулочным шагом направляется к столу, садится в его главе и что-то коротко говорит Галахад и Ланселоту. Ланселот скалится и смеется, Галахад хмурится, Мордред же остается безучастным. Мордред и Ланселот чем-то похожи. Тип внешности у них обоих северный, однако если у Ланселота насыщенный цвет волос, уходящий почти в золото, и насыщенный цвет глаз, уходящий в небо, и молочно-белая кожа, то Мордред кажется болезненно-бледным, блеклым, на фоне этой тусклости выделяются только его глаза — холодный оттенок синего, совершенно бесчеловечный и какой-то искусственный.

Некоторое время мы ждем, когда на тарелках появится завтрак. Сегодня вторник, а это значит, что нас ждет яичница с беконом, и я уже предвкушаю ее запах, и тонкие полоски прожаренного до хруста мяса, и желтое сердце яичницы, посыпанное перцем, и тосты с малиновым джемом, и горячий чай.

Я закрываю глаза, и вместо всего этого чувствую запах гнили, крови и земли. Еще я слышу смех Ниветты. Наконец, мне достает смелости открыть глаза. На белоснежной тарелке передо мной, в окружении серебряных приборов и чистых салфеток лежит птичка. Вернее, то, что было ей когда-то. Глаза, потерявшие блеск, широко открыты. Насекомые уже прокладывают свои дорожки в этой плоти, под тусклыми перышками. Ласточка. Я вижу, как деловито снуют туда и обратно маленькие жучки, как извивается опарыш в открытом брюшке. Внутренности птички вывалились на тарелку, и я вижу кишки и сердечко. Крохотное сердечко, на котором сидит здоровая навозная муха и блестит зеленой спиной. Клюв у ласточки приоткрыт. Гнилая кровь похожа на варенье, она гораздо темнее свежей, и издает запах, от которого я бы с радостью упала в обморок, если бы могла. По моей тарелке расползаются любопытные насекомые. Я вижу, что Кэй перед нами несмотря на наши брезгливые взгляды давит маленьких жучков, почти не обращая внимания на свою ласточку. Моргана смотрит на птичку, лежащую в ее тарелке, как на невкусный завтрак, излишнего удивления на ее лице нет, только досада. Ниветта продолжает смеяться, теперь она раскачивается вперед и назад, и я вижу отражающееся в ее больших глазах движение насекомых.

Гвиневра вздыхает, а потом поднимает руку:

— Учитель Мордред, — говорит она. Мордред поднимает на нее взгляд. На тарелках взрослых так же лежат мертвые птички. Ланселот брезгливо отпихивает свою, а Галахад шепчет что-то одними губами, и птичка иногда дергается в такт его словам. Сам же Мордред ведет себя как ни в чем не бывало.

— Да, Гвиневра? — спрашивает он вежливо, так, будто не произошло ничего необычного.

— Птицы...

— Я не понимаю, о чем ты.

— У нас на тарелках мертвые птицы.

— Да. А что?

— Объясните нам пожалуйста, почему мы лишены завтрака? — спрашивает Гвиневра. Самое странное в ней то, что в Гвиневре нет ровным счетом никаких странностей. Она вполне себе нормальная, серьезная девочка, ее сложно смутить и она никогда не теряет самообладания.

Мордред чуть отодвигает тарелку, принимается вытирать руки салфеткой, смотря на

Гвиневру. Затем он говорит:

— Я бы хотел услышать ваши объяснения. Предположения? Умозаключения?

Все сидят молча, только иногда звенит тарелка Галахада, когда его ласточка конвульсивно вздрагивает.

Тишина воцаряется такая, будто перед началом представления в театре. Или перед казнью. Я не была ни там, ни там, поэтому не могу утверждать с уверенностью.

— Хорошо, — говорит Мордред. — Не думал, что я могу выразиться еще яснее. Вы должны были догадаться о том, что это не обычное меню для завтрака и, используя логическое мышление, невиновные должны были подумать, что кто-то провинился, а виновник прийти в смятение.

Тишина становится еще глуше, мертвая ласточка Галахада тоже затихает.

— Я хочу знать, кто это сделал, — добавляет Мордред таким тоном, будто если мы не поняли, почему у нас на завтрак мертвые птицы, то восприятие человеческой речи тоже представляет для нас проблему.

— Это не я! — говорит Кэй. — Теперь поесть можно?

— Разумеется, — отвечает Мордред, и Кэй с отвращением пялится на ласточку, не покидающую его тарелки. — Если хочешь.

Когда, как волнующееся море, снова утихают все звуки, Мордред продолжает:

— Сад полон мертвых птиц. Сегодня утром моя прогулка была этим омрачена. Мне не хотелось бы верить, что кто-то из вас к этому причастен. Я запретил вам использовать боевую магию в неурочное время. Она может вас убить.

— И, — говорит Галахад. — Нанести необратимый вред местной экосистеме. Даже убивая, вы не должны думать только о себе.

Мордред смотрит на Галахада с недоумением и досадой. Мне всегда казалось, что взрослые, Галахад и Ланселот друзья, хотя имена отца и сына из артуровского цикла и вносят некоторую двусмысленность. Однако, Мордред держится с ними обоими холодно и отстраненно. Они примерно одного возраста, от тридцати до сорока, точнее не могу сказать — слишком мала выборка. И они называются себя выпускниками этой школы.

Я с десяти лет слышу ужасную историю о Королеве Опустошенных Земель. Мы ведем живем в действительно большом доме. Три этажа, четыре крыла, бесчисленные комнаты, запертые на ключ, огромная библиотека. Частная школа достаточная, чтобы разместить пятьдесят учеников, а нас — шестеро. И у нас всего трое учителей. Так было не всегда. Прежде наша школа процветала. Учителя собирали волшебников со всей страны, и привозили их сюда. Здесь выучилось множество магов, здесь творилось бесчисленное количество заклинаний, здесь сходили с ума и становились равными богам. А потом пришла Королева Опустошенных Земель. Сколько бы раз Галахад или Ланселот ни рассказывали эту историю, я каждый раз не совсем понимаю, кто она все-таки такая. Сущность. Правильнее всего, наверное, будет назвать ее так. То, как устроены наши головы, это и счастье, и горе. Мы можем творить чудесную магию, превращать воду в огонь, разговаривать с животными, оживлять железо, однако же безумие дает нам не только силу изменять мир. Оно порождает кошмары. Королева Опустошенных Земель была чем-то, что можно назвать интегральным кошмаром. В ней слилось все безумие, весь страх, копившийся в стенах школы годами. Она проникла сквозь головы учеников и учителей, и сделала их безумие реальным. Боявшиеся задохнуться, умерли от удушья. Слышавшие голоса, увидели их обладателей. По-настоящему. Началась резня, а Королева Опустошенных земель ходила по школе, ласково привечая всех

безумцев, чьим символом она являлась. Собирала их души. В ту ночь использовалась настолько сильная магия, что она отрицала сам мир. Так школа оказалась отрезана от всего, что было прежде. Мы часто ходим на пруд, что за ухоженным садом, и за его пределами видим пустоту. Это такое черное, огромное море, в котором нет ничего, даже волн. Мы называем Пустоту Болотом, потому что иначе слишком страшно об этом думать. Если бросить в Болото камень, он исчезнет, будто и не существовал никогда.

Королева Опустошенных Земель насытилась и ушла, не оставив почти никого, кроме трех аспирантов, сумевших сражаться и выжить, по чистой случайности, потому что в этой резне не было правых и виноватых, и шестерых детей, слишком маленьких, чтобы излучать достаточно безумия и достаточно маленьких, чтобы спрятаться.

Раньше у школы было имя, теперь его нет. Раньше у нас были имена, теперь их нет. Мы отрезаны от мира, где-то там выходят новые книги, где-то там снимают фильмы, летают в небесах, но у нас есть только небольшой клочок земли посреди леса. Мы учимся, чтобы стать настоящими волшебниками и выбраться отсюда.

Мы учимся, чтобы стать сильнее наших учителей и пройти сквозь пустоту.

Мордред перекладывает вилку и нож, так чтобы они располагались еще ровнее, а потом говорит:

— Тот, кто это сделал все равно будет наказан. Я даю вам минуту, чтобы признаться. Птицы важны в наших ритуалах. Так что, один или пара, а может быть каждый из вас портите школьное имущество. Это наказуемо. Даю вам тридцать секунд на добровольное признание.

Он принимается считать, постукивая лезвием ножа по тарелке. Я снова смотрю на мертвую ласточку, меня тошнит от страха при мысли о том, что я могла это сделать. Это представление почти становится воспоминанием, иногда со мной такое бывает. Мне хочется расплакаться, когда тридцать секунд истекают, однако я сдерживаюсь.

А потом я чувствую, как в моей голове разрывается какая-то струна, без которой я вся становлюсь обнаженной и уязвимой. Я смотрю на своих однокурсников. Гвиневра сидит прямо, как будто ничего не происходит, Моргана закрывает глаза, на ее губах играет легкая улыбка, Ниветта раскачивается вперед и назад, а Кэй зажимает уши руками. На Гарета я стараюсь не смотреть.

Ощущение незащитности, полной капитуляции охватывает меня сильно и мгновенно, мне приходится покориться ему, потому что сопротивляться чтению мыслей больно.

Я чувствую, как взгляд Мордреда скользит по моим мыслям, перебирает их, отбрасывает ненужные. И я знаю, что он не имеет особенного пиетета перед тем, что происходит в моей голове. Я стараюсь расслабиться.

Наконец, ощущение чужого присутствия исчезает.

— Хорошо, — говорит Мордред, достает блокнот и что-то в него быстро записывает. — Это действительно не вы. В таком случае, вас ожидает внеплановая уборка территории. Доброго дня.

— А еда? — спрашивает Кэй. Мордред хмыкает, а Гарет говорит:

— В смысле, еда? Вот же она.

Я слышу смех Морганы, громкий и залиvistый. Она дергает меня за волосы и заставляет посмотреть в сторону Гарета. Перед ним развороченная тушка ласточки, от которой мало что осталось, кроме перьев, обгаренных свернувшейся за ночь кровью. По обглоданным косточкам совершают променады жуки. Я стараюсь справиться с тошнотой.

Вот причина, по которой мы не дружим с Гаретом. Причина, по которой с ним вообще нельзя дружить.

Птиц оказывается действительно много и все они были мертвы. Среди высокой травы их не сразу удастся заметить. Я собираю ласточек в плетеную корзину, больше подходящую для ягод или фруктов. Все они выпотрошены, причем, судя по позам — прямо в полете. Они падали на землю уже мертвыми. Но ведь ласточки не летают ночью. Что могло заставить их подняться в воздух, чтобы там умереть?

Моргана гладит меня по волосам, когда я отыскиваю в высокой, мокрой от росы и крови траве, очередную птицу. Не сказать, чтобы она мне как-то помогала, однако ее прикосновения приятны.

— Как думаешь, почему он устроил этот спектакль с завтраком? — спрашиваю я.

Моргана пожимает плечами, она срывает головку анемона и устраивает у себя за ухом.

— Не знаю. Когда не нужно платить за завтрак, можно позволить себе его всем испортить.

Мордред говорил, что они могут провести здесь без каких-либо припасов хоть сотню лет, ведь магия позволяет переносить неодушевленные объекты за тысячу миль туда и обратно. Они никогда не испытывали голода. Однако Мордред не спешит использовать столь высокоуровневую магию, чтобы просветить их насчет новостей в мире. Впрочем, может это и бесполезно. Все равно они от него отделены.

— Ты думаешь, это потому, что он вредный? — спрашиваю я.

— Конечно. Теперь у него появился повод морить нас голодом. У меня лично кружится голова.

— Это от запаха сада.

— Давай без твоего неумелого оптимизма, мышонок. А что ты на самом деле думаешь?

— Думаю, он боится. И очень хотел, чтобы это оказался кто-то из нас. Виновник был бы наказан, а инцидент исчерпан. Поэтому он сразу и не полез в наши мысли. Боялся, что ничего не найдет.

Моргана смеется, берет одну из ласточек в моей корзине, рассматривает. Вслед за трупом птички тянутся веревки внутренностей, пахнущие желчью и кровью. Моргана совсем не брезгливая. Она облизывает аккуратно подкрашенные губы — ее помада розовая, как и полагается юным девушкам, губы которых писатели столь часто сравнивают с цветами. В ней есть красота женственности, которая больше не прячется под неуклюжей остротой подростковости. Мне нравится такая красота.

Погода чудесная, солнце смотрит на нас с синих небес, как желток в яичнице. Мой организм все еще голоден, судя по сравнениям, которые приходят мне на ум, однако сознательная часть меня не уверена, что когда-либо снова вернет аппетит.

— Как ты думаешь, чего он боится? — спрашиваю я, чтобы хоть как-нибудь занять Моргану. Мне не хочется, чтобы она прикасалась к трупам птиц. Она может заболеть чем-то и умереть. Не хочу быть в этом виноватой. Ни в чем не хочу быть виноватой.

Моргана подается ко мне, обнимает меня и утыкается носом мне в шею.

— А то ты не понимаешь, мой маленький мышонок? Он всего боится. Человек, который предпочел жить на островке между абсолютной пустотой вместо того, чтобы увидеть, что стало с миром, не являлась ли Королева Опустошенных Земель другим волшебником или даже людям? Ему здесь все нравится, все устроено так, как он хотел. Нарушь кто-нибудь этот покой, он будет очень зол. Но еще он — боится.

— Я тебя не понимаю, ты права, — говорю я. Мне неприятно то, что говорит Моргана. Да, мы заперты здесь. Но, как только мы выучимся, то найдем способ вернуться. Кроме того, наша школа и вправду хорошее место. Я помню об относительности всего в этом мире, однако мы живем в красивом, цветущем месте, полном книг и древних знаний. Окажись я вдруг в большом мире, куда я пойду? Я люблю свой дом. Мне не с чем его сравнить, однако это не мешает мне быть к нему привязанной. Я люблю пыльный чердак со старыми записями, дневниками студентов, тетрадками, переставшими работать приборами для концентрации магии, медными и покрытыми пылью, рунами и картами, потерявшими хозяев, старыми платьями и бессчетным множеством пыльных кристаллов. Я люблю столовую, светлую, с высокими потолками, роскошную и аккуратную, люблю сервизы, в которых подается чай, изысканные, как иллюстрации к книгам про Викторианскую Англию. Люблю гостиную с камином, в котором пылает огонь, создающий иллюзию безопасности, мягким ковром, длинным диваном, креслами и столиком за которым Моргана и Кэй играют карты. Люблю библиотеку, похожую на лабиринт, с бесчисленными полками, на которых покоится столько знаний, магических и человеческих, которые не усвоишь даже, если останешься здесь на всю жизнь.

Да-да, разумеется, библиотека побуждает меня к тому, чтобы так и провести в школе всю мою славную жизнь.

— Ты моя лучшая подруга, но иногда я этому удивляюсь, — почти напевает Моргана, срывая очередной цветок и вдыхая его запах. Я беру очередную ласточку и укладываю ее в предпоследний приют — плетеную корзину. Ласточкам уже ничего не будет, мертвых я не боюсь. Но руки у меня трясутся оттого, что я могу навредить букашкам, ползающим в птичьем теле. Мне кажется, что я их давлю.

— Конечно, ты этому удивляешься. Ведь твой лучший друг Кэй.

Моргана смеется.

— Лучший друг, а не лучшая подруга. Можешь не переживать, тебе никогда не занять его место, у тебя просто нет нужной хромосомы.

Моргана жестокая, и все же из ее голоса никогда не исчезают ласковые, конфетные нотки. Из кармана юбки Моргана не спеша достает сигареты. Тяжелые, мужские, в блестящей синей пачке с живописным мертвым плодом на обороте, надпись над которым гласит "мертворождение".

— Очень концептуально, — говорю я. Моргана хмыкает и закуривает, я вытягиваю из пачки вторую сигарету.

— Я имею в виду, наша школа, как мертворожденный мир, отрезанный от доступа ко всему и медленно разлагающийся на помойке Вселенной.

Моргана затягивается и выпускает дым мне в лицо. Я делаю то же самое.

— А ты говорила, что любишь это место. Забавно получается.

— Я и люблю. Ну, знаешь, я читала, что некоторые больше всего любят своих детей-инвалидов.

— А я читала такое же про мужей-алкоголиков.

Мы смеемся одновременно, вовсе не из презрения к Стокгольмскому синдрому или неполноценным детям. Просто практически обязательным добавлением к любым нашим репликам о чем-то за пределами школы будет "я читала". У нас просто нет необходимого опыта. Наша картина мира, наверняка, сильно повреждена этим отсутствием. С другой стороны нам негде применять нашу картину мира. Моргана толкает меня в колчуги

ежевичные кусты, и ветки остро проходятся по моим коленкам. Мы садимся прямо на землю, я опускаю корзину с птицами и с наслаждением затягиваюсь. Курение — одно из самых больших удовольствий в моей жизни. Я захотела курить, когда прочитала первую книгу о Шерлоке Холмсе. Трубки ни у кого из взрослых не было, поэтому Ниветта помогла мне стащить у Мордредда сигареты. Мне было одиннадцать, и я до сих пор чувствую себя несколько виноватой. Однако же, первая сигарета, от которой кружится голова и разбирает мучительный кашель, осталась для меня незабываемой и прекрасной. Мы частенько ворует сигареты у взрослых, а они делают вид, что этого не замечают.

Мы с Морганой сидим в ежевичных кустах, курим и смеемся. Ягодный сок и кровь мешаются на моих коленках.

— Как думаешь, кто все-таки убил этих птиц? — говорю я сквозь смех.

И тогда глаза Морганы расширяются, ее зрачки пульсируют, а губы растягиваются в улыбке.

— Номер Девятнадцать, — говорит она. — Чтобы нас спасти. Это знак.

Выглядит Морган в этот момент жутковато, и ее красота приобретает особый оттенок и особое значение. Я затягиваюсь глубже, и тут слышу голос Ланселота:

— Эй, курицы, вы собрали ваших дальних родственников на вверенной вам территории?

Мы с Морганой одинаково быстро тушим сигареты, встаем. Ланселот возвышается над нами так угрожающе, что я даже забываю поднять свою корзину. Он скалится и кивает на землю, я хватаюсь за ручку, будто взвешиваю мертвых птиц.

— Так-то лучше, — говорит он. — Поздравляю с удачной охотой.

А потом Ланселот запускает руку в карман на юбке Морганы, вытаскивает пачку и говорит:

— И, кстати, это мое.

— Вам что жалко?

— Вы разве платите за них?

— Нам девятнадцать лет. На пачке написано, что курить можно с восемнадцати.

— Так, — рывкает Ланселот. — Закон в этой школе, это Мордред во-первых, я во-вторых, пачка сигарет в-третьих, и только в четвертых — Галахад. Так что подберите свои правозащитные сопли и марш на урок. Мне еще нужно проверить, сколько еды принесли остальные. Ужин себе из них будете делать, понятно?

Ланселот скалится, потом вытаскивает из пачки две сигареты, одну закладывает за ухо мне, а другую — Моргане. И, не сказав больше ни слова, уходит. Из всех учителей он самый злобный, но на него я злюсь меньше всех. Я думаю, у него именно в этом плане что-то с головой. Один раз он боевым заклинанием рассек Кэю бровь, когда тот попросился выйти во время урока. Ланселот чокнутый, не очень предсказуемый и очень импульсивный, однако дело свое он знает хорошо. Я люблю боевую магию, это весело. Однако я впадаю в истерику, когда нам приходится сражаться в парах. Мне куда больше нравится замораживать и взрывать камни, нежели обжигать, предположим, Гарета. Однако, как выразился Ланселот, он здесь закон во вторую очередь, а я — вообще не закон.

Мы с Морганой бредем к школе, и я с трудом могу рассмотреть в копне ее золотых волос кончик спрятанной сигареты. Майское солнце окончательно вступает в свои права, и я слышу пение птиц, от которого сейчас становится неприятно и неудобно. Мне кажется, этим голосам будут вторить птицы моей корзинки.

Ласточкам полагается символизировать верность и счастье, а не рассыпать

внутренности по весенним садам.

Мы проходим мимо клумб с розами, и Моргана тянется к ним, касается шипов на одном из стеблей. Розы, белые и красные, ее любимицы. Чем ближе к дому, тем больший порядок приобретает сад. У ступеней, ведущих к тяжелой, широкой двери, раскинулись кусты роз, окруженные подстриженной зеленью. Здесь царит порядок, но чем дальше к воротам, тем более хаотично располагаются цветы, садовые и дикие. А дальше дорога поднимается вверх, и за чугунными воротами, литой сетью между двух каменных столбов, уходит еще выше, к пруду.

Снаружи здание школы кажется почти слишком идеальным, слишком строгим. Дом, похожий на замок, с настоящими башенками и поросшими глубокой зеленью каменными балконами, очень строгий снаружи, каменный, давящий, внутри он выглядит как кукольный домик — обои в пастельных тонах, тонкой работы орнамент на мебели, бесконечные хрусталь, фарфор и серебро столовых принадлежностей. В детстве я считала, что мы всего лишь куколки в этом идеальном доме, и что кто-то играет с нами, забавляется. Иногда мне кажется, будто это правда. Я действительно могу поверить во что угодно, стоит мне только достаточно сильно этого испугаться. И эти искорки веры способны вызвать пожар в моем разуме. Я все время будто бы стою у края бездны, и только когда я не смотрю на нее, мне становится легче. Однако она остается у меня за спиной.

Классная комната, где мы занимаемся с Ланселотом располагается на первом этаже. В этом есть смысл, потому как вылететь сквозь стену и впечататься в дерево менее травматично в случае первого этажа, чем второго. Впрочем, я серьезно подозреваю, что существуют контексты в которых такие мелочи уже ничего не значат, а обеспечение безопасности становится простой традицией. А когда вырождается традиция, она становится притворством, а после — шутовством. Никто ведь на самом деле не верит в то, что обмен кольцами каким-либо образом меняет отношения двоих людей между собой, однако это то, что положено делать. Точно так же никто не верит, что урок, где за неделю ты теряешь четыре литра крови, что составляет ее среднее единомоментное количество в твоём теле, нуждается в каких-то мерах безопасности. Сама концепция этому противоречит.

Мы с Морганой последние. Заходя первой, Моргана посылает воздушный поцелуй всем присутствующим (то есть, почти всем, кого я знаю, это забавный факт). Когда я прохожу мимо Ланселота, он выдергивает из-за моего уха сигарету.

— Это что такое?!

— Но вы...

— На место!

Я ставлю корзину с мертвыми пташками на стол, рядом с еще двумя такими же. Одна из трех наполнена до краев, так что верхняя ласточка безвольно, под влиянием собственной тяжести, клонится вниз. Я ловлю ее, перекидываю поудобнее и отправляюсь на свое место.

Классная комната у нас просторная и светлая, я вижу, как в солнечных лучах танцует и кружится пыль, и совершенно внезапно мне ужасно хочется танцевать вместе с ней. Я мало спала, и в то же время я чувствую себя полной сил. Я улыбаюсь Моргане, а она легким и кошачьим движением садится рядом с Кэем. Мне приходится сесть рядом с Ниветтой, таковы правила дружбы в компании. Гвиневра сидит на первой парте, прямая, с копной волос, переброшенной через плечо и книжкой заклинаний, лежащей на краю стола. Кэй задумчиво левитирует ручку, его губы шепчут нужные слова, но когда Моргана оказывается рядом, ручка с невыразимо громким стуком падает

— Лучшая подруга! Я так рад, что ты здесь! Я думал, что ты погибла от отвращения.

Ниветта рядом со мной морщится, а потом берет циркуль для черчения символов и вгоняет крохотную иглу в лопатку Кэя.

— Погибла от отвращения скорее Гвиневра, — говорит Ниветта, почесывая нос, когда Кэй вскрикивает. Она поворачивается ко мне, и прозрачные, как поток ручья глаза, снова обдают меня холодом.

— Гарет не хотел отдавать свою корзину.

— И сейчас не хочу! Они прекрасны!

— Фу, — говорю я, полагая, что это лучшее всего отразит ситуацию. Гарет у нас сидит на последней парте. В детстве так было, потому что у него есть привычка ковырять в носу, и никто не хочет этого видеть. А сейчас, что ж, сейчас ни одну из его привычек не хочется видеть.

Мы переговариваемся, как ни в чем не бывало, а потом Ланселот вдруг ударяет по столу толстенной книгой, и от этого удара расходится такой импульс, что меня отбрасывает назад, и я больно ударяюсь об угол парты Гарета, а Гарет и вовсе слетает со стула. Ниветта закрывает уши руками, Моргана и Кэй вцепляются друг в друга, и только Гвиневра остается прямой и неподвижной.

— Вот, — говорит Ланселот. — Потому что это важно — вовремя использовать защитные заклинания. И потому что вы, маленькие ублюдки, достали меня.

— Простите, — говорю я, Ниветта фыркает. Ланселот закуривает сигарету, которую отобрал у меня, что, впрочем, скорее справедливо, потому что перед этим он дал мне ее. Я слышу щелчок зажигалки, отчетливый, в образовавшейся тишине. Ланселот с наслаждением затягивается и выпускает дым.

Ланселот курит красиво, в нем в такие моменты появляется что-то от мужчин из фильмов про пятидесятые, которые Ниветта иногда кругами гоняет на старом видеомэгнитофоне в своей комнате. Некоторое время мы сидим молча, стараясь не мешать ему, а потом Гвиневра поднимает руку. Она говорит:

— Замечательно. Вас бы обязательно взяли на роль детектива из какого-нибудь прогнившего города. Но вы — учитель. Начнем занятие?

И совершенно неожиданно, вместо того, чтобы разозлиться, Ланселот смеется, весело и как-то изранено, как у него всегда и выходит.

— Конечно! — говорит он. С ним никогда не угадаешь, на что он может разозлиться, и я стараюсь не испытывать судьбу.

— Ладно, неудачники. Давайте по-честному. Случись вам сражаться с кем-нибудь посерьезнее э-э-э, друг друга, ваши мозги тут же окажутся размазаны по помещению. А знаете почему? Вы бесталанны. Ну, так бывает, когда люди тупые и ленивые.

Мы с Ниветтой переглядываемся, она высовывает кончик языка, потом склоняется ко мне и шепчет:

— Хорошо, что они у него за спиной. Надеюсь ему откусят голову.

— Вряд ли, — говорю я. — Не думаю, что это полезная еда для кого бы то ни было.

Включая монстров из воображения Ниветты.

В следующую секунду Ланселот резко щелкает пальцами, выплюнув едва слышный звук, и я чувствую, как мои губы будто стягивают невидимые нити, проходящие через плоть. На всякий случай, если я буду писать книгу, и мне нужно будет включить в контекст читателя, незнакомого с такого рода магией: это довольно больно. Ниветта жмурится от боли, но

выглядит совершенно нормально. Ланселот считает, что магия должна быть как можно более незаметной. И как можно более болезненной. Он продолжает:

— Так вот, жалкие подобию настоящих волшебников. Вы худо-бедно научились справляться друг с другом в парах. Однако, если сюда придет Королева Опустошенных Земель, что крайне возможно...

— Возможно? — спрашивает Кэй.

— Не твоего ума дело. Заткнись. Так вот, вам придется сражаться с порождениями собственной фантазии. И их будет много, очень много.

Один резкий, рубящий жест Ланселота, и птицы из одной корзины, взмывают вверх, будто живые. Только это неправда. Они остаются мертвыми, и их внутренности болтаются в воздухе, а открытые клювики и безучастно уставившиеся в пустоту глаза кажутся даже более тошнотворными, чем кровь. По крайней мере, она свернулась и не капает. Птицы оказываются рассредоточены по всему классу, над нашей с Ниветтой партой парит одна из них, и ее кишечник почти достает до моей макушки. Я отодвигаюсь. Жутковатое зрелище, мертвые птицы, парящие в воздухе, озаренном солнечным светом, в нашей чистой классной комнате.

— Я хочу, чтобы вы поразили несколько целей. Если не сможете этого сделать, считайте уже сдохли. Но более того, я хочу, чтобы вы сделали это одним заклинанием. Одним единственным. Время — это жизнь, ребятки. Расправившись со всеми врагами одним заклинанием или, по крайней мере, замедлив их, вы спасете себя. Распинаясь для каждого, вы открываете спину. Задание понятно?

Гарет поднимает руку.

— Что ты за debil, Гарет? — рявкает Ланселот. — Как можно этого не понять?!

— Я не это хотел спросить! — как ни в чем не бывало говорит Гарет. — Можно потом забрать птиц себе?

— Да, а то тебе не на что дронить с тех пор, как у Вивианы прошли прыщи.

Я, по ощущениям, краснею до кончиков ушей и одновременно ощущаю, что снова могу говорить:

— Н-но, — начинаю было я с возмущением, однако Ланселот меня перебивает.

— Это тебе для спортивной злости, не благодари. Даю вам один академический час, то есть сорок пять минут. Те, кто ничего не сделают, будут оставлены после уроков...

Не успевают эти слова остыть у Ланселота на губах, как Кэй произносит короткую фразу, и одна из птиц в центре загорается. Ланселот совершает движение, как будто отвечает ему подзатыльник, птица затухает, оставив запах горячей плоти и хлопья паленых перьев, а голова Кэя дергается.

— Ты что, тупой? — спрашивает Ланселот. — Хотя это, конечно, риторический вопрос. Конечно, ты тупой! Я сказал, что заклинанием нужно поразить всех птиц!

— Ну я вроде как извиняюсь, — пожимает плечами Кэй и тут же улыбается. — Просто вы сказали, что те, кто ничего не сделают, будут оставлены после уроков. А я — сделал. Пока!

— Остаешься после уроков.

— Но...

— Заткнись. Даже не дыши. Чтоб я вообще забыл о твоём существовании. Понятно?

— Понятно.

За озвучивание своего согласия Кэй получает еще один подзатыльник, на этот раз —

физический.

— Ниветта, — говорит Ланселот. — Твоя очередь.

Ниветта выходит к доске, обзор с ее места хороший, птицы должны быть отлично видны. Может быть, из них даже можно складывать созвездия. То есть, созвездия — не совсем подходящее слово. А слова "соптиция" нет. По крайней мере, я на это надеюсь. Никогда нельзя утверждать точно.

Ниветта некоторое время качается на пятках, взгляд ее обращен совершенно в другую сторону. А потом с ее губ срываются слова заклинания, которые я почти узнаю. А потом узнавания и не требуется, потому что волна, обрушившаяся из воздуха, окатывает нас всех, сбив лишь одну из птиц, ту, что над моей головой. Птица падает мне на колени, и я с визгом ее стряхиваю. До остальных висящих в воздухе ласточек волна просто не достала. Ланселот щелкает пальцами, и все, включая меня, снова становится нетронутым сухим.

— Не так глупо, как могло бы быть, Ниветта. Но и не так умно. Зато ты вывела из строя не только птицу, но и Вивиану.

— Это считается за двух врагов? Я могу не оставаться после уроков?

— Нет.

— Нет, в смысле...

— Ты остаешься после уроков. Гарет!

Гарет стоит у доски долго, а потом, так и не сумев выжать из себя ничего путного, говорит:

— Давайте я сразу останусь после уроков!

— Только не с нами! — выкрикивает Кэй.

— Как ты меня бесишь!

— Ты меня бесишь больше!

— А ты вообще всех бесишь.

В этот момент одна из птиц издает хруст и хлюпанье костей и плоти, а затем осыпает Кэя внутренностями, перьями и осколками косточек. Кэй выставляет средней палец. Моргана подается к нему и снимает с его виска птичий глаз.

— Просто не обращай внимания, — напевает она.

— Это глаз! Это что глаз?!

Моргана лепит его куда-то под парту, как жвачку, с глаз Кэя долой, и принимается очищать его от остатков птицы. Гарет, как две капли воды похожий на Кэя и недовольный, садится на место.

— Моргана, — говорит Ланселот. — Быстро.

На форме Морганы остались небольшие пятнышки крови, которых она совершенно не стесняется. Моргана выходит к доске не спеша, так чтобы все успели оценить ее ноги, запятнанные кровью и ежевикой коленки, подъем невысоких каблучков. Она стоит со скучающим видом, а потом вдруг шепчет что-то короткое и посылает куда-то к потолку воздушный поцелуй. И я знаю, что это значит. Мы с Ниветтой одновременно кидаемся под парту, спустя секунду раздается взрыв. Выглянув, я вижу что по стенам живописными в стиле Джексона Поллока брызгами, растекается кровь. Моргана взорвала одну из птиц, и удар раскидал почти всех остальных.

— Неплохо, — говорит Ланселот. Легким движением он возвращает птиц на место, а тех, что выбыли из строя, превратившись в фарш, заменяет новыми, из другой корзины.

— Ты должна была лучше рассчитать цель. Это вроде бильярда. Какой шарик нужно

толкнуть, чтобы загнать в лунки все. Хорошее заклинание, нормальное исполнение, только одна беда.

Тут Ланселот рывкает:

— Твои враги будут двигаться, идиотка!

Моргана пожимает плечами, потом очаровательно улыбается и говорит:

— Тогда я взорву их всех.

Ланселот фыркает, чуть подталкивает ее в спину, чтобы она села. Моргана подмигивает мне на пути к своему месту.

— Вивиана, — провозглашает Ланселот. И я вся сжимаюсь в ожидании грядущих унижений. Ланселот терпеть меня не может. Впрочем, может быть остальные ощущают его внимание ровно так же.

Я выхожу к доске, сцепляю пальцы и наблюдаю за птицами. Они безжизненно висят в пространстве под потолком, не составляя никакой геометрической фигуры. Моргана выбрала верную тактику, но я вовсе не уверена, что мне достанет сил поразить всех птиц, или хотя бы какое-то значимое количество, одним заклинанием. Я поправляю очки, складываю руки на груди. У любой задачи должно быть очень простое решение. Все решения на самом деле очень просты. И мир подсказывает их нам. Я закрываю глаза, меня трясет от волнения, тошнит от волнения, и я хочу заплакать. Но, ущипнув себя за руку, я возвращаю сосредоточенность. Ланселот сказал, что мы должны поразить врагов одним заклинанием. Что мы должны расправиться с ними или замедлить. Он не говорил ничего о боевой магии. Боевая магия чаще всего однократна и единомоментна. Заклинание это удар или выстрел, но ведь в бою можно использовать не только такую магию. Я вспоминаю о заклинании невидимой нити, которую наложил на нас Ланселот. Самое то, чтобы замедлить врагов и целей может быть столько, насколько хватит нити, а нити может быть столько, насколько хватит силы.

Заклинания это своего рода комбинаторика. Мы долго учились отдельным словам магического языка, вроде "огонь" или "ключ". Это простейшие заклинания, означающие простые магические действия. Иногда требуются жесты, они нужны, чтобы направлять магию. Опытные волшебники способны составлять комбинации сами и производить сложные эффекты. Если смешать слова "огонь" и "внутри" можно, к примеру, сжечь врагу внутренности. Почти того же самого можно добиться смешав "огонь" и "сердце". В составлении заклинаний нужно быть предельно буквальным. Не стоит использовать сочетание огня и сердца, если хочешь, чтобы в тебя кто-нибудь влюбился, к примеру. Некоторые заклинания требуют столько силы, что нуждаются в нескольких волшебниках. Тогда используют кристаллы. Кристаллы позволяют синхронизировать энергию разных магов. Порой можно успеть различить слова в формуле, когда противник произносит заклинание, как я почти узнала слово "волна" в магии Ниветты, однако чаще всего их шепчут и как можно менее разборчиво. Я действительно стараюсь учиться хорошо. И мне нравится теория магии. Мордред преподавал ее нам пять лет, прежде, чем допустил до сколь-нибудь эффективной магии.

Разум должен быть чист, а движения крайне точны. Я вытягиваю руку и указываю пальцем на крайнюю птицу. Затем, вытянув вторую руку указываю пальцем на птицу, висящую в противоположном углу, над Гаретом. Я шепчу "связующая нить". И чувствую, как пальцы начинают покалывать. Магия, это удовольствие, но в то же время оно всегда находится на грани с болью. Я чувствую это удовольствие, и оно мешает мне

сосредоточиться. Оно всегда мешает. Каждый раз нужно преодолевать саму себя, и сосредотачиваться на том, что тебе нужно, иначе магия просто выйдет из-под контроля. Нить, сияющая, вполне видимая, ведь я не скрыла ее в формуле, пронзает птицу за птицей, а мои пальцы ведут эту нить, пока не встречаются. Получается связка ласточек. Как курицы на рынке. Мне хочется хихикнуть, и в то же время как-то это не порядочно. Интересно, считается это осквернением мертвых или нет?

— Готово, — говорю я.

Ланселот вдруг начинает надо мной смеяться.

— О, маленькая самоуверенная Вивиана сотворила сложное заклинание! Смотрите, какая я умная! У меня для тебя новость, заучка. Оно бесполезно. Пока ты медленноводишь пальцы, чтобы связать твоих врагов, они остаются живы. А ты — становишься мертва. Если бы ты сделала это быстро, я бы оценил больше.

— Но...

— Но вы с Морганой не остаетесь после уроков.

— Ура!

— Заткнись. Гвиневра, к доске.

Ланселот разрушает мое заклинание и снова возвращает птиц на место. Гвиневра выходит вперед. Вид у нее самый что ни на есть самодовольный. Я сцепляю пальцы, чувствую, как против воли поджимаю губы. Мне Гвиневра не нравится, и от этого я нервничаю. А вот она, кажется, наслаждается, неприязнью. У Гвиневры очень холодный взгляд, оценивающий обстановку и совершенно равнодушный к человеческим существам вокруг. Ее темные глаза при этом обладают теплым, почти нежным оттенком, поэтому такой взгляд и смотрится неприятно и неестественно вдвойне.

Гвиневра скептически осматривает висящих в воздухе птиц, а потом говорит слишком быстро, чтобы различить хоть слово. Затем одним быстрым и точным жестом обводит комнату. И я вижу, как появившийся из ниоткуда стебель розы, покрытый шипами, пронзает тела ласточек, нанизывает их на шипы, вьется и ветвится. И все это буквально за десять секунд. Я вижу, как стебель с шипами показывается из приоткрытого клюва последней ласточки и, вся эта растительно-животная конструкция падает.

Гвиневра садится на место, и я успеваю увидеть на ее губах легкую улыбку. Гарет хлопает в ладоши.

— Можно я заберу это к себе в комнату?

Ланселот пропускает его слова мимо ушей. Он смотрит только на Гвиневру.

После урока мы с Морганой, Ниветтой, Кэем и оставшимися двумя корзинками с мертвыми ласточками идем к Галахаду. Гвиневра обгоняет нас, а Гарет бредет далеко позади.

— Вы видели? Она просто взяла мою идею! — говорю я, стораю от зависти, потому что у Гвиневры получилось быстрее, изобретательнее и функциональнее, в конце концов. Она была не просто лучшей, она была лучше меня.

— Не переживай, мышонок, — мурлычет Морганна. — Зато у нее нет друзей.

— Из двух заучек, — говорит Ниветта. — Мы выбрали тебя.

— Потому что у тебя лучше характер, — добавляет Кэй.

Какое-то сомнительное утешение, думаю я. Я заучка с более легким характером. Я закрываю глаза и говорю себе, что на языке моих друзей это значит, что я умная и социальная. Одновременно. В отличие от Гвиневры. Потому что Гвиневра более умная.

Я вздыхаю.

— Ну же, мышоночек, прекрати дуться.

— Она украла мою идею. Я уверена, что она ее украла.

— Ну, конечно.

Ниветта говорит:

— Может она вообще за тобой следит.

— Потому что считает, что ты умнее нее!

— Но это вряд ли, Кэй! — смеется Моргана.

— Эй!

— Я в хорошем смысле.

— Слушай, Вивиана, — говорит Гарет, и я в первую секунду путаю его голос с голосом

Кэя. — Может тебе смириться с тем, что Гвиневра — самая умная? И найти себе другое, в чем ты лучше.

— Не могу, — говорю я зло. — Ведь ты уже чемпион по отвратительности.

— Ну это да.

— Ты одновременно унизила себя и его, королева, — смеется Моргана. А я чувствую себя виноватой. Хотя и не такой виноватой, как когда дотрагиваюсь мокрыми руками до выключателей.

Кабинет Галахада находится в подвале. Больше всего этот кабинет похож на морг. Здесь всегда было одновременно прохладно и душно. Просторно и очень тесно. Мне не нравится этот кабинет, здесь пахнет смерть и жизнью. Я имею в виду, всем самым отвратительным в них — кровью, разложением, спермой и плотью. Свет всегда приглушен, так что приходится ориентироваться между столами, накрытыми белыми простынями в потемках. Иногда под простынями что-то дергается, пропитывая их кровью. Иногда оно лежит неподвижно, но издает чудовищные звуки. Сейчас, по крайней мере на вид, все жители столов пребывают в мертвенном спокойствии.

Мы садимся на стулья, расставленные полукругом в небольшом свободном пространстве перед столом Галахада. В кино так выглядят собрания кружка анонимных алкоголиков. Галахад поглощен своими записями. От природы он смуглый и темноглазый. Я бы сказала, южно-европейский типаж. Однако он выглядит, как смертельно больной. У него запавшие глаза, и тени, которые придают им глубину, и он бледен, но вовсе не так, как бывают бледны люди со светлой кожей. На нем эта бледность смотрится неестественно и жутко, она низводит естественный цвет его кожи до тусклого золота. Галахад очень тощий, и когда он ходит, можно заметить, что его шатает, как пьяного. Однако в отличии от Ланселота, Галахад никогда не берет в рот ни капли. Его движения просто несколько раскоординированы, как будто сами по себе. А еще он красивый. Правда красивый, такой южной и живой красотой, оттого его болезненность и страшна. Волосы его всегда взъерошены, и он постоянно курит, будто это единственный его способ дышать.

Когда мы все рассаживаемся, Галахад поднимает на нас взгляд. Глаза его будто видят что-то иное. И в полутьме, один зрачок у него узок, а другой расширен так, что радужки почти не видно. Галахад слеп на один глаз, и мы точно не знаем, на какой.

Он смотрит на нас, и на две корзины перед столом.

— О, малыши и малышки, вы принесли мне дары?

Он облизывается, а потом радушно предлагает:

— Хотите чаю?

— Да? — спрашиваю я. Остальные неловко кивают. Кроме Морганы, она улыбаясь рассматривает Галахада. Я думаю вот что: Галахад мертв. Или был мертв. Он оживляет животных, и иногда его попытки приходится отлавливать по всей школе.

Однажды я проснулась от того, что на мне сидел очаровательный белый кролик. А потом он вцепился мне в горло. От его зубов у меня до сих пор остался шрам.

Галахад говорит, что жизнь и смерть, это одно и то же. Два состояния, между которыми возможен как резкий скачок как в сторону энтропии, так и обратно. Собрать разбитую вещь тяжелее, чем разбить целую. Однако это возможно. Так он говорит.

Все его заклинания по этому поводу, впрочем, работают неправильно. Нас Галахад учит другому. Он учит нас, как из одной вещи сделать совсем другую. Заклинания изменения, трансформации. Мы начинали с алхимии, и теперь я знаю нужные слова для того, чтобы камень в моих руках стал золотом. Я читала о том, как люди посвящали этому свои жизни, столетия проходили в мечтах о совершенном металле. Все оказалось проще простого. Намного сложнее придать одному веществу свойства другого. Например, создать огонь, который замораживает. Однако и это возможно. Нужно лишь представить ощущение, и выразить его в формуле. Иногда я радуюсь, что мой разум работает не совсем правильно. Иногда, когда кому-то рядом больно, и я совсем не хочу ему зла, но в душе чувствую что-то невысказанное и приятное, большое и маленькое одновременно, мне хочется плакать. Тогда я думаю о том, что мой разум дает мне возможность менять мир вокруг меня. То есть, если быть честной, сначала я думаю о том, что я ужасный, плохой человек. Но потом обязательно об этом.

Галахад заваривает нам чай в эмалированных кружках, изгнанных в подвал за недостаток эстетичности. Чай, как и всегда, вкусный и очень сладкий. Галахад помнит, что я пью с лимоном. Он только не учитывает, что все это немного противно, когда вокруг столы, накрытые простынями, пропитанными кровью, под которыми в разной степени разложения пребывают звери.

Моргана спрашивает:

— А ты расскажешь нам, что сегодня произошло?

— Я рассчитывал, что это вы мне расскажете, — смеется он. Когда Галахад переводит взгляд на Моргану, она его не отводит. Я всегда смотрю в пол, когда Галахад на меня смотрит. Мне не нравятся его разные зрачки, и тени под его глазами. Когда Галахад смотрит на Моргану, во взгляде у него что-то особенное, сближающее его с живыми.

Я знаю это. Три года назад мы с Морганой сидели в ее комнате, увешанной фотографиями красивых женщин, пропахшей духами и сигаретами, комнате девушки-подростка, в мелочах все еще остававшейся комнатой девчонки — жвачки в ярких обертках хранились в музыкальной шкатулке вместе с колечками, тетрадки с историями о Номере Девятнадцать в нижнем ящике, запах детского блеска, исходил от ее губ. Моргана сказала:

— Галахад сделал это со мной.

На ней были белые шорты и розовый топик сквозь ткань которого я видела очертания черного, кружевного лифчика. Моргана хотела наколдовать себе бутылку шампанского, но содержимое красивой, как в фильмах бутылки "Кристал" оказалось больше похоже на смесь клубничной отдушки и пива. Моргана пила ее с ощутимым удовольствием, которое ей приносила скорее ситуация, нежели вкус. Ее глаза, однако, не пьянели, они оставались острыми и внимательными.

— Что? — спросила я тогда.

Моргана продолжала, не отвечая на мой вопрос:

— У него длинный шрам, как от аутопсии. Как на трупах в медицинском справочнике.

Он начинается точно посередине. Я теперь знаю, почему он Галахад.

Я засмеялась, потому что забавно было бы выяснить это в постели.

— Он ищет Грааль. И больше его ничто не интересует. У него есть миссия. Он хочет победить смерть.

Моргана резко рванулась к тумбочке, взяла сладко пахнущий блеск и провела им по искусанным, зацелованным губам.

— Но ему нравится не только это. Со мной он чувствует себя живым.

Я заметила, что там, где кончалась ткань ее шорт, начинался синяк. Мне стало ужасно неловко. Я взяла бутылку, отпила ее содержимое и закашлялась. Потом я спросила:

— И как это?

— Как будто он тебя имеет. Когда тебя имеют, это так и ощущается. Я думала это вроде фигуры речи. Как если ты себе больше не принадлежишь.

Моргана облизнула губы и сказала:

— И как будто он принадлежит тебе. Вы меняетесь друг другом. Я менялась с мертвым.

Моргана засмеялась, смех ее был колким и чуточку безумным. А я задумалась над тем, что мы весьма ограничены в выборе партнеров, мужчин или женщин. Я всегда представляла, что когда мне нестерпимо этого захочется, то Кэй мне поможет. Я читала, что такова природа и человек, как существо биологическое, стремится спариваться с себе подобными, а иногда и с некоторыми другими, неподобными, что называется парафилией. Но в тот день неожиданно для себя, я подалась к Моргане и спросила:

— Как понять, что мужчина тебя хочет?

Но знать я хотела не это.

Моргана показала мне зубы, а потом провела кончиком пальца по моей груди.

— Хотя нет, — сказала она. — Так сделала бы скорее женщина.

Мне стало неловко, и мы засмеялись.

Так что я все знаю про Галахада и Моргану. И знаю, что он смотрит на нее, как на что-то свое и что, наверное, ему нравится, что он помнит ее тело без одежды, когда вокруг сидят чужие люди. Он продолжает, все еще смотря на Моргану:

— К сожалению, — говорит Галахад, закуривая новую сигарету, как только старая погибает в пепельнице. — Я знаю не больше вашего. Если бы это оказался кто-то из вас, мы бы так радовались, что даже никого не наказали бы. Если честно, я думал про Гарета.

— Эй!

— Извини, Гарет!

— Ты думаешь, это была Королева Опустошенных Земель? — спрашивает Кэй.

Галахад улыбается, не показывая зубов, и эта улыбка выходит жутковатой.

— Я не могу этого отрицать. Но это худший вариант. Может быть, на нас наткнулся враждебный волшебник. Среди нас много маньяков. И, Вивиана, ты вряд ли одна из них.

Я вздрагиваю. Откуда он знает, о чем я думаю? Кэй шепчет мне:

— Он сказал "вряд ли", а не "точно", подруга.

— Отвали, — шепчу я.

— В любом случае, — продолжает Галахад. — Я бы с радостью поделился с вами любыми новостями, но у меня их просто нет. Ночью мы проведем ритуал и постараемся что-нибудь понять. А вы будете спать и надеяться на лучшее. А теперь, детишки, давайте

спустимся к более насущным проблемам. Возьмите себе по птичке.

Я с брезгливостью беру одну из ласточек в корзине. Кэй и Ниветта своими уже почти дерутся, и лапки бедных птичек безвольно болтаются в воздухе.

— Ты умрешь!

— Ты опоздал, я уже мертва.

Взгляд Галадаха чуть меняется, но я не успеваю понять, что он чувствует.

— Вам нужно изменить эту птицу. Она мертва, однако это органическая материя. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы сохранить жизнь, скажем, червю, превращая его в муху. Работайте с ними, как с вещами.

Никому из нас все еще не удалось изменить живую материю. Галахад у нас на глазах превращал кроликов в лягушек, а лягушек в шариковые ручки, а шариковые ручки в бабочек, а бабочек в рыб, а рыб в котов, но у нас не получалось даже превратить один вид стрекозы в другой.

Даже у Гвиневры. По крайней мере это никогда не перестает меня радовать.

Я смотрю на свою мертвую ласточку. У нее красные перья под горлом, розовое от крови распоротое брюшко, острый хвост и острый клюв. Очень красивая птица, гладкие перья приятно трогать. Ласточка мертва абсолютно и бесповоротно, и все же я чувствую страх из-за того, что сжимаю ее слишком сильно. От нее исходит сладковатый, тошнотворный запах, смешивающийся с другими запахами помещения примерно той же тематики. Меня мутит.

— Смотрите глубже, детишки. У всего живого единая суть. Жизнь, это спираль, от птички до человека пара витков, но от ласточки до, скажем, снегиря не нужно совершать ни единого поворота. Просто следуйте по этой линии и разворачивайте ее. Представляйте.

Я судорожно начинаю вспоминать виды птиц и подходящие под них магические слова. Вороны. Сойки. Сороки. Галки. Грачи. Воробьи. Голуби. Цапли. Альбатросы. Лазоревки. Журавли. Сорокопуты. Я успеваю безнадежно заблудиться в пределах одного единственного витка этой спирали жизни. Я вспоминаю и вспоминаю, пока мозг не начинает выдавать мне одно единственное слово: индейка, индейка, индейка. На ум приходят только их смешные красные хохолки и огромные размеры, а ласточка в моих руках так и остается маленькой, бедной, выпотрошенной птичкой. Я начинаю думать, что мне совсем ее не жалко, и внутри опять что-то обрывается.

— Ты не сосредоточена, Вивиана, — говорит Галахад.

— Извините.

Я поднимаю на него взгляд и вижу, что он строчит что-то в своей тетради. Он тоже не слишком-то сосредоточен. Взгляд у него горит. Галахаду явно пришла в голову какая-то дивная идея, которая намного интереснее уроков. Кэй, наверняка, радуется.

— Точно, — говорит он, — Все просто! Я должен был догадаться об этом раньше!

Моргана просто листает свою тетрадь. Я замечаю рисунок, в золотой рамочке, на розовом фоне, очень девичий котик с синими глазами, красивый и аккуратный, с белой, хорошо прорисованной шерстью. Только вот у этого кота есть вторая голова, четырехглазая, уродливая, нарочито плохо нарисованная и вылезающая за пределы рамки. Девичий рисунок на котором нарисован уродливый, двухголовый кот. Моргана достает из сумки пинал и принимается подновлять ярко-розовым фон. На ласточку она даже не смотрит.

Все сидят молча, Моргана рисует, а Галахад пишет. Еще Кэй то и дело вертится на стуле, ему сосредоточенность дается тяжелее всего. А потом Моргана, совершенно внезапно закрывает тетрадь резким, почти злым жестом, берет ласточку в руки, сжимает так, что у нее

открывается клювик, и этот клювик начинает меняться. Тело птички будто сотрясает невидимая волна, проходящаяся от клюва до хвоста, меняющая цвет перьев, форму костей.

Галахад замирает, его рука останавливается, не дописав предложения. В цепких пальцах Морганы ласточка становится иволгой, с насыщенным, бордовым оперением, и чуть изогнутым клювом, вторая волна сотрясает безжизненное тело, и вот у Морганы на руках уже бежевая сойка с синевато-черным горлом, от которого начинается разрез, а потом сойка превращается, еще быстрее и легче, в бирюзового дакниса, невероятно глубокого, красивого цвета перья блестят при слабом освещении, блестят от крови.

Наконец, Моргана бросает птицу вниз, к своим ногам.

— Смерть неизменна, — говорит она. И я впервые вижу, что Галахад зол, что он борется с собой. Между ними происходит что-то настолько личное, что я почти с приязнью смотрю на мертвую ласточку в своих ладонях.

— Продолжайте, — говорит Галахад. — И оставьте мне корзинки с дарами после звонка, хорошо?

После уроков мы с Морганой идем вдвоем. Стоит ли говорить, что моя ласточка осталось тем, кем жила и умерла. Как и ласточка Гвиневры, впрочем. Магия изменений — самая сложная. Я могу создать бабочку практически из ничего, но сделать махаона капустницей мне все еще не под силу. Как будто я наталкиваюсь на какое-то внутреннее сопротивление. Мы выбираемся на один из балконов, я ощущаю запах плюща, который выводит меня из дурноты. На парапете балкона качается синичка, которая снова вызывает у меня тошнотворные воспоминания. Моргана достает пачку сигарет, вторую за сегодня, и я закуриваю первая. Мы садимся на пол, опираясь на плененный плющом кирпич.

— Как ты это сделала? — шепчу я.

— Зачем мы прячемся? — шепчет Моргана.

— По привычке, — говорю я.

— А у меня — талант.

— Галахад...

— Докуривай и иди. У тебя дополнительное занятие. Давай-давай, проваливай.

Моргана вручает мне пачку, и машет рукой.

— Поговорим вечером.

Мои дополнительные занятия связаны, что довольно предсказуемо, с моим талантом. Я люблю механизмы, они простые и понятные, даже самые сложные из них не бывают запутанными. Может быть, мне так кажется, потому что я работаю, в основном, с часами. И я хорошо умею вкладывать в эти механизмы магию, прятать ее в шестеренках, пластинах, заводных пружинах и мостах баланса. Проще говоря, я умею зачаровывать механизмы. Мордред тоже это умеет. Он научил меня собирать часы. Когда я была маленькой, он просто высыпал передо мной кучу деталей и не выпускал из комнаты, пока я не соберу их.

Теперь я могу справиться с парой-тройкой часов минут за пятнадцать.

Я стучусь в кабинет Мордреда и он, как и всегда, не отвечает. Но дверь открыта, значит я могу войти. У Мордреда просторный, светлый кабинет. Все здесь на своих местах и никогда их не меняет. В детстве я думала, что все вещи здесь приклеены, потому что они никогда не меняли положения.

Мордред сидит за столом, увидев меня, он кивает, потом записывает что-то. Я никогда не спрашиваю, что он записывает. По крайней мере, теперь. Пару лет назад, я сказала что-то вроде:

— Вы записываете время занятия?

— Что? — спросил он. А потом разорвал бумагу.

— Что это за список? — повторила я, больше от неловкости, чем из желания узнать.

Мордред поднял обрывки бумаги в воздух и поджег.

— Какой список? — спросил он.

Так я поняла, что лучше об этом не спрашивать. И что взрослые — такие же ненормальные, как мы.

На первый взгляд кабинет Мордреда настолько нормален, что даже ненормален. Потом начинаешь замечать часы. Они везде, и они все — маленькие, как те что он носит на цепочке. Эти часы развешаны по всей комнате, они смотрят со стен, как маленькие глаза.

И они все показывают неправильное время.

Вот почему Мордред занимается со мной дополнительно. Часовые механизмы, которые я так люблю, имеют для него особое значение. Мне так и не удалось выяснить, какое.

Я сажусь на стул. На столе, передо мной, гора золотых деталей и стеклянных линз, а еще — букет незабудок. Мои любимые цветы. Я тянусь к нему, чтобы понюхать, но пальцы тут же обжигает холодом.

— Нет, — говорит Мордред. — Получишь их, когда закончишь работу. Надеюсь, сегодня ты будешь в лучшей форме, чем в прошлый раз.

В прошлый раз, собрав часы, я так и не смогла зачаровать их. Я потеряла одну из деталей, и мне стало страшно, что это как-то навредит Мордреду, и я расплакалась. Я не могла успокоиться, и мы полчаса вместе искали крохотную пружинку заводного рычага. А потом время занятия закончилось, и Мордред выгнал меня.

Он сидит за столом и смотрит. Взгляд у него неприятный, какой-то жуткий. Он все время будто ждет чего-то. Мы много времени проводим вместе, но я так и не привыкла к этому взгляду.

Я поднимаю детали в воздух, прошептав заклинание и указав направление, так намного удобнее — я могу видеть все нужное перед собой и брать, протянув руку, а на столе ничего не мешает мне скреплять нужные детали. Я облизываю серебряную отвертку с цветочной гравировкой, которую мне подарил Галахад на мой четырнадцатый день рождения, и приступаю.

Сбор часового механизма я осуществляю автоматически, это медитативное занятие, разум не принимает в нем никакого участия. Вот почему Мордред заставлял меня доводить действия до такого автоматизма. Мой разум должен быть занят только колдовством. Вот почему я испортила все в прошлый раз. Я позволила страху помешать мне колдовать. Больше этого не случится.

Я чувствую запах незабудок, слабый и успокаивающий. Подбирая детали, я шепчу нужные слова, формула за формулой, я готовила их долго. Сделать можно все, что угодно. Я делала часы, загоравшиеся, когда их открываешь. Делала часы, способные излечивать крохотные ранки. Единственное, чего я еще не делала — часов, отматывающих время назад. А ведь это самое банальное применение колдовских часов. Я не слишком хорошо владею магией времени. Но я хочу научиться.

Я быстро теряю ощущение времени, когда работаю. Особенно, когда все идет хорошо.

Наконец, вкладывая механизм в основу, я заканчиваю заклинание, прилаживаю крышку, и получают часы черного золота к которым я прицепляю цепочку. Только теперь, закончив, я чувствую, что Мордред все это время стоял у меня за спиной, а я даже не

заметила. Мне становится неуютно, будто бы немного неловко и одновременно тревожно. Я протягиваю часы Мордреду на открытой ладони, быстрым и беззащитным жестом.

— Возьмите.

— Что ты сделала? — спрашивает он. И, видимо, не собирается брать часы, пока я не объясню. Тогда я сама их открываю. Потолок окрашивается черным, и по нему движутся звезды. Так я представляла себе планетарий, в котором никогда не была и, наверное, не буду. Хотя может и буду, если нас всех спасет Гвиневра.

— Симулятор звездного неба, — говорю я. — Его можно настраивать на нужный день месяца. Правда, только мая. Я не смогла запомнить и воспроизвести больше. Но если мне понадобится провести майский ритуал в июне, я просто сяду в своей комнате и включу это. Должно сработать. А если нет, то это просто красиво.

— Красота бесполезна, — говорит Мордред. — Кроме того, у тебя есть ошибки в расположении звезд. И иллюзия релевантна только для мая этого года.

Я молчу и киваю, закрываю часы.

— Это трата силы. Но у тебя, по крайней мере, есть сила.

Я поднимаюсь, обиженная и красная, и тогда он вручает мне цветы. Они больше не жгутся морозом, но пахнут очень хорошо.

— Почему вы не можете просто меня похвалить?! — спрашиваю я, до хруста сжимая букет. — Вам что сложно? Вас кто-то проклял, и вы не можете говорить людям ничего хорошего?! Я стараюсь! Много лет! У меня получается!

— Не понимаю, зачем тебе нужно, чтобы тебя кто-то хвалил, если ты сама в себе так уверена, — говорит он.

— Красивые цветы! — говорю я. — Вот! Пример того, как нужно хвалить.

— Нет, — говорит Мордред. — Не красивые. Мне не нравятся.

— Но вы же...

— Я создал их не для себя.

Я замолкаю. И только в этот момент понимаю, как близко мы друг к другу стоим. Я собираюсь сделать шаг назад, но за моей спиной стол. Мордред всегда много времени проводил со мной, потому что ему был интересен мой талант. Кроме того, я всегда помогала ему во всем, связанном с поддержанием чистоты. Иногда мне кажется, что только я и Мордред во всем этом большом доме, понимаем всю серьезность вопроса о дезинфекции подвала Галахада.

Я прекрасно знаю, что мне девятнадцать лет, что Моргана спала с Галахадом, когда ей едва стукнуло шестнадцать, и все же мне кажется диким то, как мы замерли друг напротив друга.

Я никогда прежде не попадала в неловкие ситуации, однако просто близкое расстояние от особенного близкого расстояния отделялось инстинктивно. Сейчас он рядом со мной не как учитель или начальник, а как мужчина. Что-то другое в его движениях и даже голосе, он как будто стал глубже. Я читала, что с мужчинами так бывает, когда они возбуждаются. И я чувствую, как сильно это меня пугает. Замерев, будто мышь, которой меня дразнит Моргана, я говорю:

— Извините.

А он спрашивает:

— Что ты имеешь в виду?

И вдруг я смеюсь, потому что все это ужасно смешно и еще ужасно страшно. Мордред

смотрит на меня с интересом, как на забавный экспонат. Я подношу к носу незабудки, и вдыхаю их запах. Я веду себя как женщина? А он — как мужчина?

— Ты покраснела, — говорит он, а потом кладет руку мне на грудь. Он даже не ищет для этого предлог. Я снова пытаюсь сделать шаг назад, и это снова оказывается бесполезным предприятием. А потом я отчетливо слышу, как пересекает цифру двенадцать минутная стрелка на моих новеньких часах. И тут же Мордред убирает руку и отходит, этим своим легким и жутковатым шагом.

— Время вышло, — говорит он совершенно безразличным тоном. — У тебя красивая грудь.

— Вы с ума сошли?

— Да. Время вышло. Отправляйся на ужин.

Я смотрю на него еще с пару секунд, прежде, чем он отступает еще на шаг, к окну, и смотрит на медленно тускнеющий день. Мне ужасно неловко, потому что ко мне впервые кто-то прикоснулся в таком, особом смысле. Я чувствую себя странно, так, будто Мордред видел не совсем меня, и я видела не совсем его. И мне не нравится то, что я ему показала. И то, что он показал мне.

— Сэр, вы...

Но он не позволяет мне закончить. Совершенно светским тоном, таким, будто все ограничилось тем, что Мордред подарил мне цветы, он говорит:

— Ты взрослая женщина, я взрослый мужчина. Мы довольно много времени проводим в замкнутом пространстве. Ты несколько недооцениваешь свой возраст, это инфантильная позиция.

— Вы пытаетесь извиниться?

— Нет.

— Вам неловко?

— Нет.

— Вы...

— Что бы ты не сказала: нет.

Я краснею, по ощущениям, до кончиков ушей, до пальцев на ногах, забираю с собой часы и незабудки, хлопаю дверью. Я сама не понимаю, от чего так зла. Отмечаю для себя, что нужно поискать в книгах. Я привыкла сверять свои чувства с ними, потому как других примеров внутренней рефлексии у меня перед глазами нет, а свой собственный я считаю в равной мере неправильным, глупым и злым.

На ужин мне совершенно не хочется, даже мысль о еде вызывает отвращение и мертвых ласточек перед глазами. Я выхожу в сад, и розовые кусты, красные и белые, тут же напоминают мне о триумфе Гвинеvры. В голове моей, внутренний голос, похожий на голос Морганы, провозглашает не слишком удачный день. От злости я срываю одну из роз, шипы впиваются мне в руку, и кровь капает на носок туфли, прямо в то место, где отражается уходящее солнце. Я чувствую себя обманутой и преданной, и сама не понимаю, почему.

Высокие окна столовой демонстрируют мне силуэты моих друзей, но мне совсем не хочется к ним идти. Я сильнее сжимаю в руке розу и выхожу за ворота. Дорога поднимается вверх, и мне ужасно приятно преодолевать сопротивление пространства, как будто так я выражаю свою злость.

Я прохожу сквозь зазеленевшие к лету деревья, и останавливаюсь только у пруда, населенного кувшинками. Они плавают в темной воде, стремясь в никуда, словно

человеческие жизни. В конце пруда начинается пустота. Она растворена в воде, в болотистой земле, даже в воздухе. Берег, где я сижу — последняя гавань. Над водой склоняется ива, щекочет ее безвольными, будто парализованными ветвями. В одной руке я сжимаю незабудки, а в другой белую розу, чьи шипы все еще причиняют мне боль. В кармане тикают часы.

Я думаю о том, почему я так разозлилась. Мордред постоянно говорит неприятные вещи, он действительно очень вредный. Иногда Мордред делает неприятные вещи, к примеру, как сегодня за завтраком. Может, я так злюсь, потому что голодная? Я пускаю незабудки по воде, и их нежно-фиолетовый цвет посреди болезненной для глаз зелени отправляется в путешествие на другой конец пруда. В пустоту.

Я смотрю на темную воду, где иногда чувствуется смутное движение, и я не знаю, рыбки это или же что-то иное.

Мордреда сложно было назвать моим названным отцом или кем-то вроде, я с ним не дружила, потому что никто не может с ним дружить, и он не делал мне поблажек в учебе, однако мы проводили много времени вместе, и я ему доверяла. Я ни разу не видела, как он улыбается, зато знаю о том, что для того, чтобы лечь спать, ему приходится обходить территорию школы по периметру, чтобы убедиться — все в порядке. Еще я знаю, что он страшно не любит грязь, поэтому моет руки всякий раз, когда прикасается к чужим вещам. Я тоже не люблю грязь и тоже мою руки, но по другой причине. Я кажусь себе заразной безо всяких на то причин. Еще Мордред часто говорит, что если умрет, то распоряжения для каждого из нас спрятаны магическим образом в его кабинете, и нам придется постараться их найти, но мы не пожалеем. Он часто думает о смерти. И ему не нравится музыка, но он любит насвистывать мелодии и может воспроизвести любую. Словом, я знаю о нем достаточно, больше остальных. Иногда, когда знаешь о человеке достаточно, ты привязываешься к нему. А потом он ведет себя так, что тебя это ранит, а ты не понимаешь, почему и злишься.

Незабудки медленно плывут в сторону небытия, а я понимаю, что все еще сжимаю розу. Кожа на ладони стала красной от крови. Я смотрю в темноту воды и понимаю, что злюсь потому, что Мордред сделал что-то, чего я от него не ожидала и тем самым меня испугал. Я увидела его в новом качестве, и это мне не понравилось. На самом деле Мордред очень предсказуемый: я даже знаю, что расписание в его кармане планирует время по минутам. Он самый скучный человек во всей видимой мне части Вселенной, впрочем, довольно небольшой. Еще он много врет. Иногда он врет, когда это совершенно не нужно. Если спросить Мордреда, куда он идет, он обязательно соврет. И еще он может говорить с нами очень вежливо, когда мы его раздражаем и достаем, но потом жестоко отомстить каким-нибудь ужасным заданием. В общем-то, Мордред, вряд ли кому-то в своей жизни когда-либо нравился, просто он сильный волшебник, и Ланселоту с Галахадом приходится его терпеть. И чем больше я вспоминаю о Мордред, тем больше понимаю, что то, что сегодня было — вовсе на него не похоже. Может, конечно, я просто совершенно не знаю его с этой стороны. Типичный книжный оборот "эта сторона" и не всегда понятно, что имеется в виду. И все же мне ужасно хочется узнать, почему он вел себя так странно. Я забрасываю розу как можно дальше в пруд, и вижу, что она не тонет, а исчезает, как тускнеющая картинка. Интересно, что чувствовало бы живое существо, пропадая навсегда.

Капли крови дрожат на моей ладони, и рука у меня дрожит, я только сейчас осознаю, что мне довольно больно.

Я нащупываю в кармане часы, открываю их, и подошедшее к закату небо мгновенно чернеет, в нем вспыхивают звезды. Надо мной оказывается небольшой купол, по которому путешествуют созвездия, однако боковым зрением я вижу алое небо заката. Совершенно безумное зрелище. Я настраиваю часы, кручу безель, и созвездия надо мной проплывают все быстрее. Наконец, я дожидаясь убывающей луны, запрокидываю голову вверх и смотрю на ее исчезающий серп. Искусственная ночь накрывает меня, как одеяло. Я больше не ощущаю времени. Возведя руку к небу, прямо к луне, я предлагаю ей свою кровь. Чтобы узнать что-то о ком-то, нужно испросить тех, кто смотрит всегда — луну или же солнце. Нас учили, что луна смотрит за мужчинами, потом что это женская сущность, а солнце смотрит за женщинами, потому что это сущность мужская.

Моя кровь стекает вниз, пока я не сосредотачиваюсь окончательно на остром серпе луны. И тогда я чувствую, что ход моей крови пошел вспять. Капли щекочут мне кожу, взбираясь вверх, а потом взлетают к небесам, сплетаясь в причудливый, кружевной узор. Луна тянет из меня кровь, несколько больше, чем я могу предложить, и я чувствую, как кружится у меня голова.

— Я хочу знать, что происходит с Мордредом, — шепчу я. — Я хочу знать, хочу знать, хочу знать.

Ехидный внутренний голос отвечает, что с ним как раз все в порядке, это со мной случилось неприятие того факта, что я половозрелая женщина, а мы заперты тут в очень узкой компании.

Я отгоняю этот голос и продолжаю шептать, что хочу знать. Мне становится все легче и легче, в какой-то момент я чувствую легкое кружение, а потом ощущение полета сменяется полной темнотой.

Когда сознание ко мне возвращается, надо мной настоящая ночь или, по крайней мере, поздний вечер. Крышка часов упирается мне в лопатку, от этого я и просыпаюсь. Мне мутно и муторно, я выдергиваю из-под спины часы и сую в карман. Ничего не получилось. У меня не было ни видений, ни голоса в голове, который бы все прояснил, ни указующих знаков. Абсолютно ничего. У Гвиневры бы получилось. Я встаю, земля подо мной прохладная, и я немного продрогла. И только тогда я вижу, что под ногами у меня лежит карта. Луна, восемнадцатый аркан. Интуиция, страх, обман, иллюзии, хаос.

Безумие.

Я кладу карту в карман, и отправляюсь назад, в школу. Давай, мышонок, убеди себя в том, что человек обезумел просто потому, что решил потрогать твою грудь. Я начинаю смеяться, потому что и вправду, как же глупо.

И в то же время все кажется мне очень серьезным. Может быть, я обратилась к луне по неправильной причине, но получила правильный ответ.

В гостинной вечеринка. Кэй и Моргана отплясывают под песню из далеких, возможно, шестидесятых, и Кэй поет о том, что если хочешь быть счастливым в этой жизни, никогда не стоит жениться на красивой женщине. У Кэя прекрасный голос, и он отлично танцует. Кэй кружит Моргану, и она смеется. Ниветта и Гарет пьют сидя на диване, и Ниветта говорит:

— Не думай, что мы пригласили тебя, потому что ты нам нравишься. Ты — замена мышонку на случай, если она мертва.

Ниветта протягивает руку в мою сторону, указывает на меня пальцем, мучительно-медленным движением, говорит:

— Извини, но вечеринка должна продолжаться.

Кэй и Моргана не обращают на меня внимания, продолжая петь и танцевать. Они покрасневшие, пьяные и очень красивые. Я сажусь между Ниветтой и Гаретом, Ниветта мне подмигивает.

— Как твои дела?

— Нормально.

Тогда она снова мне подмигивает, потом отбирает у Гарета стаканчик с чем-то остро пахнущим спиртом и передает мне.

— Ты уверена, что это можно пить? — спрашиваю я.

— Нет, но я это пью. Где ты была?

— Гуляла.

— Опять провал на дополнительном занятии?

Кэй распекает:

— Ты будешь счастлив до конца своей жизни, если женишься на уродливой девчонке!

— Довольно иронично, правда? — спрашивает Ниветта. — Что они под это танцуют. Эй, Гарет, что ты здесь все еще делаешь? Вивиана вернулась. Ты свободен!

— Но мне хочется остаться.

— Я знаю.

Ниветта иногда может быть очень жесткой. В такие моменты я ее даже побаиваюсь.

Моргана притягивает Кэя к себе, и они целуются. Мы с Ниветтой смотрим. Они вместе ужасно красивые, почти волшебным образом. Моргана гладит Кэя по волосам, а он подхватывает ее на руки. Пьяные и прекрасные, они кружатся, а мы с Ниветтой пьяные и не очень прекрасные, смотрим.

— Ну же, — смеется Моргана. — Не завидуйте, девочки, тут есть такой же.

Мы смотрим на Гарета и одновременно мотаем головами.

Моя самооценка ныряет поглубже, и я вздыхаю. Я умная, но ничего особенного. Талантливая, но куда менее талантливая, чем Гвиневра. Красотой я похвастаться тоже не могу, разве что тем, на что сегодня обратил внимание Мордред. Рациональная часть меня понимает, что магическое пойло, созданное Морганой слишком быстро пьянит, а мои тринадцать лет, когда я была безнадежно влюблена в Кея давно канули в прошлое.

Я смотрю на Ниветту, и она пожимает плечами, будто я что-то ей сказала. Может, она что-то и слышала. С Ниветтой никогда не скажешь наверняка.

Некоторое время мы сидим молча и поглощаем пойло. Я чувствую, что щеки у меня покраснелись, а музыка кажется громче.

— И как эта вечеринка может стать еще лучше? — вопит Кэй.

— М, — говорит Ниветта. — Стать хорошей?

Я смеюсь, а лицо Ниветты сохраняет прежнее выражение. Что плохо на наших вечеринках, мы всегда точно знаем состав гостей. Впрочем, это и хорошо тоже. Ниветта шепчет мне:

— Вообще-то они не любят громкую музыку.

— Да кто такие эти они? — спрашиваю я, чувствуя, что за меня скорее говорит алкоголь. Ниветта никогда не отвечает на этот вопрос. Впрочем, сейчас за нее, видимо, тоже говорит алкоголь, потому что она тянет:

— Это такие штуки. Они не люди, но и не животные. В них что-то есть.

— Например что?

— Например, — говорит Ниветта. — Большие глаза.

И без паузы шепчет, наклоняясь ко мне:

— Хочешь сделать хоть что-нибудь лучше?

Я смеюсь:

— Предлагаешь мне выйти?

Ниветта пожимает плечами:

— Тогда уж лучше Гарету.

— Эй!

— Заткнись, Гарет, мы тебя и так сюда пригласили. Будь благодарен.

Мы с Ниветтой смеемся, и я чувствую себя жестокой. Гарет смотрит на свой стаканчик, оказавшийся волею судьбы и Ниветты у меня, и вид у него становится мрачный. В один момент Гарет вдруг теряет всякое сходство с Кэем. Ниветта шепчет мне на ухо, и я делаю еще глоток дурацкого напитка, запускаю руку в карман и нащупываю карту.

Луна. Безумие. Ловушки. Кто попался во все ловушки?

— Раз уж ребята упоролись в шестидесятые, почему бы не сделать хиппи-вечеринку?

Иллюзии, это очень просто. Нас учили их создавать, когда нам было по двенадцать лет, и, допустив эту тактическую ошибку, взрослые долго страдали от иллюзорных зверей, героев комиксов и эльфов. А потом Гарет создал иллюзорную саламандру постели у Ланселота, и на том развлечения с иллюзиями были закончены на долгие и долгие годы.

Вдвоем их делать проще, нужно лишь сосредоточиться на одном и том же. Еще один плюс вечеринки вроде этой: возьми любого человека рядом, и окажется, что ты знаешь его так хорошо, что вы легко можете синхронизировать свое воображение.

Мы беремся за руки и закрываем глаза. Я представляю эти смешные дискотечные сферы, переливающиеся под потолком, наивную цветомузыку, разноцветные подушки, раскиданные по углам, огромные миски, наполненные пуншем с Блю Кюрасао, искусственные цветы на полу и запах благовоний. Если уж мы в иллюзии, то придумываем друг другу одежду, чтобы было веселее. Я представляю на Ниветте легкое, ситцевое платье и ковбойские кожаные сапоги, и мысленно дорисовываю ей татуировки на руках, сердца, пронзенные кинжалами, якоря, увитые цветами. Кэя я представляю патлатым и усатым, в расклеванных брюках, в которые заправлена рубашка в цветочек. Может, я все еще не в силах преодолеть свою трехгодичную влюбленность. Гарету я, из жалости, дорисовываю бороду и самый убогий джинсовый комбинезон из тех, что могу воспроизвести. Моргана хотела бы обтягивающее платье такого красного цвета, чтобы глаза заслезились, и высокие каблуки, и чтобы туфли были лакированные. Самое классное в этом развлечении, что я знаю, Ниветта рисует сама, и там где наши мысли встречаются, происходит искра, и рождается магия.

Почувствовав, что картина готова, как будто последний белый кусочек исчез в раскраске, я открываю глаза. Той силы, что мы использовали хватит на час или чуть больше. Все вокруг будто из кино про наркоманов.

— У каждого в голове сидит полицейский, — говорит Ниветта. — Которого нужно уничтожить.

Лозунг студенческих забастовок в Америке, как иронично, думаю я, и улыбаюсь. Разноцветные пятна плывут по стенам, я вижу вулканическую лампу, которую точно не придумывала, красноватые сгустки воска плывут в светящейся жидкости. На Моргане платье, как я и задумывала, но никакой обуви. А у Кэя две пары усов. Моргана начинает смеяться, а Кэй недоумевает.

— Кто из вас не знает, где растут усы? — спрашивает Моргана.

— Усы?! У меня усы?!

— Они воображаемые, — говорю я. Моргана берет нас за руки и тянет в круг. Она ставит новую пластинку, и теперь играет песня "Велвет Андеграунд" про все завтрашние вечеринки. Мы беремся за руки, и кружимся, и невероятные цвета комнаты летают передо мной, ведь я очень пьяна. Мои друзья, наша вечеринка.

— Эй, можно к вам?

— Фу, ты похож на кузена "Оно", — говорит Моргана брезгливо.

— Ага! Можно к вам?

— Это она сказала нет, дурачок, — говорит Ниветта терпеливо.

— А мне всегда нравилась "Семейка Адамс", — говорю я неожиданно. И вправду, из всех разбросанных на чердаке кассет, ее я любила больше всего. Я вырываю руку из хватки двуусого Кэя и протягиваю Гарету.

— Иди сюда. Но только один раз.

— Почему один?

— Потому что ты мерзкий, — говорит Моргана. Одурающие пахнет пачули, усы Кэя продолжают двоиться, и он ощупывает их, и не может нащупать. В камине все еще горит огонь, но для нас камина нет, а есть путешествующий по потолку, как луна, дискотечный шар. Мне очень хорошо, и я чувствую себя так близко к остальным. Забавно: у меня нет ощущения дома. Я, строго говоря, не знаю, что такое дом, потому что я всегда в нем. Мы кружимся, сначала взявшись за руки, а потом и просто рядом, все блесит. Я смотрю на себя. На мне канареечно-желтое платье, как у Твигги. Ниветта, конечно, слегка перестаралась, мне не особенно идет, но в то же время — нравится. Наконец, мы валимся на пол. Я оказываюсь между Ниветтой и Кеєм. Хорошо, что Гарет свалился с какой-то другой стороны.

— Ребята, — говорю я. Иллюзия тает, и я вижу, как блекнут и исчезают сначала пятна света на стенах и потолке, а потом лампы и подушки, последними уходят запахи, и вот мы снова оказываемся в гостиной. Единственной, которую мы видели в жизни по-настоящему. Здесь мы прятались под столами, когда были детьми, здесь впервые напивались, здесь ругались, здесь играли в прятки и прятали сигареты. Вся наша жизнь, думаю я. Я достаю из кармана часы и открываю их, на потолке разгорается звездное небо, такое огромное, и звезды на нем движутся по моим неточным орбитам.

И момент становится совершенно волшебный, хотя вся магия закончилась. Я поворачиваюсь к Ниветте, и мы подаемся друг к другу одновременно, поцелуй выходит мягким и холодным. Ниветта отворачивается от меня, она накручивает на палец волосы Морганы. А меня целует Кэй, и я чувствую, что краснею. У него горячий язык, и он ни на секунду не перестает им шевелить, это скорее смешно, чем приятно, и даже как-то очаровательно. Я понимаю, что если я и влюблена в него, то только чуть-чуть. И еще я понимаю, что люблю его. Может быть, это иллюзия семидесятых так на меня повлияла. Нужно было держаться шестидесятых, тогда было бы больше бунта и меньше любви.

А потом Кэй подается к Ниветте через меня, надавив локтем мне на живот, так что все выпитое из меня едва не выплескивается, и я понимаю, что не люблю его. Моргана высвобождает меня и целует, медленно и с языком. Я чувствую теплый, сливочно-розовый запах от нее. А потом слышу крик Ланселота:

— Вы что охренели, детишки? Ночные, блин, ковбои. Завтра встаете в пять утра, и

делайте с этим что хотите! По комнатам!

Для большей убедительности, он раскидывает нас по разным углам комнаты. Я больно ударяюсь об угол камина, слышу, как вскрикивает Моргана.

— Так-то, — говорит Ланселот. Он стоит на лестнице и очень негодует. Впрочем, его можно понять. Он всегда встает в пять утра, и очень ищет себе компанию. Лично я всегда беру с собой на ночь стакан воды, чтобы не совершать вояжи на кухню. Ланселот может просто взять и усадить человека перед собой, а потом начать говорить с ним о жизни. Особенно достается Кэю. И вот теперь Ланселоту предоставился шанс получить полный пакет общения ровно в пять утра. Представляю, в каком он восторге.

Он разворачивается, уходит и хлопает дверью своей комнаты как можно громче. Я подползаю к своим часам, вижу, что уже безнадежно за полночь, и если я хочу хоть немного поспать, стоит предпринять попытку прямо сейчас. Я захлопываю крышку, и звездное небо исчезает.

Моргана говорит:

— Ну, ребятки, утро вечера мудренее. Кто как, а я наложу на себя заклинание сна и посплю часок.

— Это очень опасно, — говорю я.

— Конечно. Зато если я усну навсегда, мне не придется вставать в пять утра, чтобы бегать по территории и общаться с Ланселотом.

— Мудро, — говорит Кэй, зевая. — Ну что, встречаемся в четыре утра?

Мы расходимся. Комната Морганы последняя, но когда я берусь за ручку двери, она неожиданно проскальзывает в мою.

— Ты хотела немного поспать, — говорю я, зная, что мне это уже не удастся. Сон для меня ритуал, но даже если бы я упала прямо на пол и тут же уснула, мне оставалось спать два часа. Нет смысла и пытаться.

— Забей, — говорит Моргана. — Скажи мне, где ты была?

— У пруда. Сидела и думала о своей жизни.

— Серьезно? — спрашивает Моргана. У нее есть характерное движение, когда она вскидывает одну бровь, и ее лицо приобретает одновременно похабное и скептическое выражение. Что-то вроде "ты идиотка, но может займемся сексом?". Я сажусь на кровать. По всей моей комнате развешаны схемы часовых механизмов. Настенные часы, наручные часы, кварцевые часы, механические часы. Еще у меня обои с бабочками. И плакат с Франклином Рузвельтом, потому что из всех деятелей новейшей истории я уважаю его больше всего. В детстве я хотела выйти за него замуж. Мои занавески покрыты незабудками, и я сделала так, чтобы эти крохотные цветочки светились в темноте. В чистом виде я темноту не люблю. Мне кажется, что в ней я схожу с ума.

Моргана садится на мою кровать, вырывая из пружин тонкий скрип.

Я говорю:

— Мордред ко мне приставал.

— Как? — спрашивает Моргана, облизнув губы.

— Положил руку мне на грудь.

— О, какая трагедия. Самое то, чтобы подумать о жизни.

— Ты не понимаешь? Он наш директор.

— Да, а еще он взрослый мужик, который заперт в окружении взрослых женщин, которых ему, не по своей, кстати, воле, пришлось растить. Был бы он геем, скинул бы нас в

пустоту.

— Что ты лепишь? — спрашиваю я, не надеясь на ответ. А потом запускаю руку в карман и отдаю Моргане карту.

— Луна, — шепчет Моргана, взгляд ее тут же меняется. — Номер Восемнадцать. Знаешь, какой Аркан следует за ним? Номер Девятнадцать, Солнце.

— Нет, Моргана, эта карта оказалась у меня, когда я спросила у луны про Мордреда.

Взгляд Морганы снова становится скептическим.

— Как думаешь, почему именно Луна? — говорю я.

Моргана поднимается с кровати, отдергивает юбку.

— А ты подумай, — говорит она. — У кого ты спросила. В четыре, на чердаке, милая. Не проспи.

Она прекрасно знает, что я не буду спать.

Уснуть мне действительно не удастся. Не скажу, что ожидала чего-либо другого. Мысли бесконечно вертятся в голове, и кажутся слишком значимыми, чтобы их оборвать. Я думаю о том, как могла кому-то навредить, словом или делом, неловким движением, случайным шагом. Кроме того в моей голове стучат и стучат невидимые часы, и я точно знаю, что до четырех остается полтора часа, потом час, а потом и сорок минут. Когда остается лишь полчаса, я встаю с кровати, и медленно, босыми ногами, прохожусь к окну. Занавески излучают слабый свет, и когда я отдергиваю их, на место этого света встает другой, звездный. Я возвращаюсь, беру из-под подушки карту, снова подхожу к окну.

Собака, волк и рак. Наши внутренние тени, которые мы скрываем. Животное, ведомое инстинктами, дикая тварь и что-то третье, чему и названия нет, оно вылезает из воды, из самых темных наших глубин. Самое чудовищное в нас, то, что поднимается со дна, когда мы перестаем заглушать бесконечный зов.

Не пневма, не сома, не сарк. Еще три части, которые мы скрываем от самих себя сколько хватит сил. Звериные желания, дикая злость и что-то совсем иное.

Это то, что мы чувствуем, когда стоим на огромной высоте и ощущаем желание прыгнуть. Или столкнуть кого-то.

То, что мы чувствуем, когда нам хочется закричать посреди урока или высказать приятному, хорошему человеку какую-то страшную дрянь, правду, которая хуже клеветы.

Я верю, что в каждом из нас есть три части. Моя третья часть, вылезающее из воды, нечеловеческое и не звериное даже, вопит во мне так, что из-за этого я часто не могу уснуть.

И единственное, на что я надеюсь — в других она тоже есть. Только их война тихая и незаметная.

Более того, иногда мне кажется, что волшебниками нас делает именно эта часть, именно разрыв, трещина внутри выпускает магию.

Я думаю о Мордред. Есть ли в нем, в глубинах его подсознания, разлад, который может выпустить наружу монстра? Он великий волшебник, и его монстры должны быть страшны. Однажды Галахад обмолвился, что чем больше силы, тем больше безумия. Все находится в равновесии, поэтому слишком быстрая учеба может нам навредить.

Если Мордред застать врасплох, он лжет, даже если это не нужно. Он постоянно моет руки. Иногда он отказывает нам в чем-то просто из вредности. И я не знаю ничего, ни единой вещи, которую он любил бы. Галахад любит проводить вивисекции, танцы и очень сладкий чай. Ланселот любит крепко выпить, футбол и общаться. Взрослые думают, что мы их совсем не знаем. Это неправда. Они для нас учителя, и между нами есть граница, которую не обойти. Однако, мы выросли с ними, и все их привычки, словечки, характерные жесты, черты характера — все впиталось в нашу память.

Они только думают, что мы их не знаем. Я знаю Мордред. Я знаю, что то, что он сделал сегодня ему не свойственно. И я за него волнуюсь. Он может быть ужасным человеком, однако он вырастил нас, не бросил нас, и, оказавшись отрезанными от мира, мы выжили, благодаря ему. Он могущественный волшебник, и ему наверняка было бы чем заняться без нас, но он решил позаботиться о десятилетней Вивиане. И теперь девятнадцатилетняя Вивиана должна выяснить, если с ним что-то не так.

Однажды мы с ребятами играли в прятки. Тогда Гвиневра еще не была такой

заносчивой и злобной, а Гарет — таким отвратительным. Гвиневра водила, а мы с Ниветтой прятались под лестницей. Мы дрожали от страха, тогда все игры казались серьезными. И в то же время мне хотелось засмеяться.

А потом мы замерли, потому что услышали шаги Мордред.

Небольшое пояснение: когда за свою жизнь узнал лишь девять человек — их походку узнаешь всегда, безошибочно.

Он спускался по лестнице, а наверху стоял Галахад, потому что мы слышали его голос: — Нельзя просто отказаться от правды, Мордред.

И Мордред остановился, не завершив шага. Мне казалось, я чувствовала, как его нога качается над ступенью. Он долго молчал. А Галахад продолжал:

— Ты знаешь, что рано или поздно все случится вовсе не так, как ты это задумывал. И не в тот момент. Все случится наихудшим образом.

— Я не нуждаюсь в твоих советах.

— Мне постоянно больно!

— Я тебе не сочувствую.

И шаг продолжился, и мы с Ниветтой сильнее прижались друг к другу, боясь даже дышать.

— Хотя бы попытайся понять, о чем я говорю.

— Я не нуждаюсь в твоих советах.

Галахад швырнул в него что-то, и, судя по звуку, Мордред это поймал.

— Не делай так больше. Я могу счесть тебя опасным, — сказал он. А больше ничего не сказал.

На тот момент диалог показался мне совершенно бессмысленным, но сейчас я прокручиваю его в своей голове. Вот еще как: когда твоя жизнь не слишком насыщена событиями, мелочи запоминаются лучше.

Я открываю окно, и ночной воздух пробирается внутрь, хлесткий, но приятный. Я вглядываюсь в темноту, касаюсь кустов жасмина, растущих прямо перед моим окном. Мы живем на первом этаже, и в детстве я любила вылезать через окно, и смотреть на рассвет, когда мне не спалось. На самом деле мне совершенно не интересно, кем я была прежде. Это понимание легкое, как ночной ветер, и я ему улыбаюсь.

Моя жизнь здесь, я не знаю, кто мои родители, и где я родилась, и как узнала о том, что я волшебница, и искали ли меня, когда мы пропали из мира, отгороженные всеобщим безумием. Ничего не знаю, и у меня нет желания это узнать. Когда мы выберемся отсюда, а это обязательно произойдет, ведь мы станем сильными волшебниками и сможем сделать то, чего не могут наши взрослые, я не буду искать свою прежнюю жизнь, у меня будет новая.

А еще мы можем провести всю жизнь здесь, изолированные от всего, и иногда я думаю, что это было бы даже лучше. Я не знаю, какой мир на самом деле, но он наверняка отличается от фильмов и книг. Люди склонны украшать свою жизнь, подкрашивать ее и лакировать.

Благодаря дешевой философии мне удастся отвлечься от навязчивых мыслей, и я едва не пропускаю легкий шаг Морганы. Она проходит мимо моей комнаты, и это знак. Через пять минут мне нужно выйти и отправиться на чердак.

Я знаю, какой сегодня день, и что будет. Минуты тянутся, как мед, хотя так скорее правомерно говорить о приятном ожидании. Минуты тянутся как смола, вот это намного ближе к истине. Если литературные тропы вообще можно соотнести с критерием

истинности.

Наконец, я, босая и в ночной рубашке, как и была, выхожу в темный коридор. Все тихо. Комнаты Ниветты и Кэя пусты, из-под двери Гвиневры доносится слабый свет, а из комнаты Гарета какая-то музыка, едва-едва слышная. Гарет любит классический рок. И еще группу Kiss. Возможно, из-за макияжа музыкантов.

Вступая на лестницу, ведущую на второй этаж, где живут взрослые, я шепчу заклинание тишины и провожу ладонью над своими ступнями. Мой шаг становится совершенно бесшумным. Я поднимаюсь наверх.

Темно и тихо, и оттого, что я не слышу даже собственных шагов становится еще более жутко. На чердак ведет узкая винтовая лестница, и первое, что я вижу, когда преодолеваю ее — треугольник окна под низкими сводами, освещенный необычайно близкой луной. Я не сразу замечаю остальных. Они стоят, прижавшись к стенам. В центре чердака находится старенький генератор, который уже никогда не заработал бы без помощи магии. К нему подключены электроды с тонкими железными пластинками. Я занимаю свое место у стены, рядом с Кэем. На нем пижама с супергероями, и машинально я начинаю их считать. Я дохожу до пятнадцати, когда слышу голос Морганы.

Она выходит к генератору. На ней белая, короткая ночнушка, кажущаяся почти прозрачной в свете луны. Я вижу, как белеет ее кожа под легкой тканью, вижу очертания ее груди, затвердевшие от холода соски. В руках Моргана сжимает старую тетрадь, ее листья пожелтели от безжалостного времени, некоторые буквы стерлись, но мы помним все наизусть. На самом деле в этой простой черной тетрадке, исписанной неровным от боли почерком больше нет никакой нужды.

Написанное там отложилось так глубоко у меня внутри, что я могу процитировать ее всю. Иногда, когда мне очень плохо, я так и делаю.

Моргана открывает тетрадь ровно на середине, проводит пальцем по сгибу, по губам ее пробегает нехорошая, жутковатая улыбка, белая зубы кажутся острее, чем есть на самом деле.

Я закрываю глаза и знаю, что Кэй и Ниветта делают то же самое. Я помню, как мы в первый раз нашли на чердаке эту тетрадку. Нам было по одиннадцать, и мы все еще верили, что можем выбраться. Нам было грустно и страшно, иногда мы плакали по ночам, и Галахад сидел с нами, чтобы нам не было так одиноко. И вот тогда, в самый нужный момент, мы нашли записи, принадлежавшие мальчику, у которого тоже не было имени и дома. Но у него был номер. Номер Девятнадцать.

Номеру Девятнадцать было одиннадцать, как и нам, и он решил вести дневник, потому что сосредоточенность на письме спасала его от боли. Он был один из некоего множества объектов для исследований в лаборатории, о которой, вероятно, никто не знал. Я думаю так, потому что мир, где общество знает о том, что в безупречно-белых помещениях кто-то мучает и истязает детей ради науки, не слишком похож на мир, о котором я читала. Если Номер Девятнадцать, конечно, не одна из жертв чудовищных экспериментов в период Второй Мировой Войны. Впрочем, скудные приметы времени в записях Номера Девятнадцать говорили о том, что события происходили по крайней мере на десять-двадцать лет позднее.

Моргана говорит:

— День четыре тысячи пятнадцатый.

Номер Девятнадцать считал каждый день своей жизни и описывал их с тех пор, как

научился выводить на бумаге буквы. У нас была лишь одна тетрадь.

Четыре тысячи пятнадцать дней. Ему было одиннадцать. И он, в отличии от нас, никогда не покидал здания, в котором жил, у него не было даже сада.

Моргана начинает читать, напевно и по-своему очень красиво.

— Номер Четыре — умрет. Номер Четыре умрет, потому что слабый и потому что у него внутри слишком много мышьяка. Мне его не жалко. Они проверяют, на что мы способны и, я знаю, что Номер Четыре больше не способен ни на что. Я видел его сегодня, глаза у него запали, а губы были белые, без единой кровинки. Ему было больно. У него болел живот. Он прошептал мне одними губами что-то, но я не понял, что именно. Номер Двенадцать говорит, что мы больше его не увидим. Я не совсем уверен в этом. Номер Четыре непременно умрет, и его живот будет болеть долго-долго, а потом они его разрежут. Но это может случиться не сейчас. Они хотят, чтобы мы показали им класс. Я не совсем понимаю, что это значит, кроме того, что наша смерть не является целью. Цель — что-то другое. Если Номер Четыре умрет, это будет провал. Они не хотят просто убить нас, как считает Номер Двенадцать. Для этого не нужно было бы надевать белые халаты. Я знаю, что вы читаете этот дневник. Тут не будет ничего, за что меня можно было бы наказать. Я не плохой. Я — правильный. Я расскажу, что со мной происходит. Как умею. Мои руки до сих пор трясутся (потому почерк будет оставаться чудовищным, пока двигательная активность не восстановится). Я не помню все слова. Это не так страшно, потому что все слова помнить и невозможно, но все-таки я совершенно забыл, как называется те, кем являемся я и Номер Четыре, и (сомнительно) Номер Двенадцать. Слово вертится на языке, но потом я будто гложу там, внутри. Однако, сложные слова я не забыл. Я могу сказать и написать: дистилляция, конвергенция, экспликация, констелляция. Констелляция, это расположение и взаимодействие различных факторов. Люди называют это стечением обстоятельств. Это набор причин, по которым я расту здесь. У меня до сих пор очень стучат зубы, и путаются мысли. От тока мне плохо. В остальном все в порядке, потому что я жив. Сегодня я слышал песню: Что мы храним от дней любви?

Мы повторяем слова вслед за Морганой. Номер Девятнадцать стал для нас героем, когда мы были детьми. Он очень сильный и смелый, он много вынес, и он выбрался из ада, в котором родился и вырос. Последняя запись, которая завершает наш календарный год написана совсем в другом тоне. Я отлично помню ее, я помню ее наизусть.

"День четыре тысячи сто двенадцатый. Я знаю, что врачи не прочитают это. К тому времени, когда я закончу писать эти строки, они будут мертвы. Это больше не имеет значения. Не осталось вообще ничего, что имеет значение. Но это не заставляет меня переживать, потому что означивание — бесконечный процесс. Я означу что-нибудь еще. Сегодня я слышал песню: За всем наблюдают машины любви и благодати."

Номер Девятнадцать выбрался. Он сбежал. Мы читали его дневник, будто страшную сказку, замерев, все вместе, по очереди. С нами были Гвиневра и Гарет, и все мы волновались, потому что на последней странице по всем признакам должна была быть запись последней из процедур. Или, что еще хуже, страница могла быть пуста. Ниветта расплакалась, когда читала последнюю запись. Мы были счастливы. Номер Девятнадцать стал нашим кумиром, ведь он справился с миром, выбрался на свободу и, мы надеялись, был счастлив. Тогда мы начали играть в его жизнь. Сначала понарошку, по очереди являясь то врачами, то истязаемыми детьми. Но чем дальше, тем серьезнее становились наши игры. Сначала это все было просто способом проверить, кто не трус.

Когда Моргана в первый раз порезала мне спину и вылила на рану кипяток, я визжала, как резанная, но заклинание тишины не давало мне слышать собственный голос. Лишь один раз я играла роль врача. Я душила Кэя, и, кажется, мне очень хотелось довести дело до конца. Впрочем, все прошло хорошо. Кэй упал, задергался, а потом, открыв затуманенные глаза, сказал, что ему что-то снилось, и он чувствует себя хорошо. Прошло меньше тридцати секунд.

В тот день Гвиневра сказала, что мы идиоты, и если так мы оцениваем смелость, то пусть лучше мы будем считать ее трусихой. С тех пор мы считаем.

Гарет ушел через полтора месяца, сказав, что мы — странные. Тогда мы остались вчетвером. Мы самозабвенно предавались воспроизведению жутких историй из дневника Номера Девятнадцать.

Мы прижигали друг друга раскаленным железом, вводили под кожу кислоту, созданную с помощью заклинаний, сдирали куски кожи, ломали друг другу кости. Нам повезло, что Галахад тогда увлекался исцеляющими зельями, создавая новые и новые образцы, которые мы крали для наших игр. Без флакончиков с зельями наши жизни могли бы закончиться весьма рано и безрадостно.

Все стало вдруг очень серьезно для нас всех. Мы не могли отказаться от своих изуверских игр. Они делали нас сильными, они доказывали, что мы не трусы.

Когда нам было четырнадцать, Моргана сказала:

— Номер Девятнадцать выбрался. И мы не знаем, что с ним было дальше. Но он выбрался. А мы — заперты тут.

— Зато нас не мучают, — сказал Кэй.

— Заткнись, — сказала Моргана. — Ты ничего не понимаешь. Незавершенное прошлое всегда может прорваться в настоящее время, дать шанс на спасение. Мы — волшебники. Для нас каждая секунда представляет собой ворота, сквозь которые мы можем пройти.

— Круто сказано, — сказала Ниветта и закурила. Тогда с курением у нас было очень строго, и за него могли наказать, поэтому мы курили только на чердаке, куда взрослые никогда не заглядывали.

— Мы волшебники, — повторила Моргана убежденно. — И кем бы ни был сейчас Номер Девятнадцать, жив он или нет, придав магию его воспоминаниям, мы могли бы выбраться. Он мог бы стать для нас ключом.

— Ты хочешь вызвать дух Номера Девятнадцать? — спросила я.

— Не совсем. Я хочу создать его образ. Образ божества. Так люди проектируют богов, насколько я поняла.

Моргана не играла дурочку, не вскидывала бровь. Она говорила с нами предельно честно.

— Я хочу, чтобы мы обожествили его. Вернее не так. Я просто хочу, чтобы у нас был культ. Мы уже обожествили его. Нам просто нужно больше организации. Богов порождает человеческая фантазия. А люди способные к магии, могут воплощать своих богов.

Мы долго сидели молча и слушали Моргану. Она впервые была абсолютно откровенна с нами. И она нуждалась в нас.

А мы нуждались в Номере Девятнадцать.

И вот, спустя пять лет, мы стоим на чердаке, в разных концах комнаты. Когда Моргана заканчивает читать, она провозглашает:

Номер Девятнадцать, мы не знаем, жив ты или мертв, мы не знаем, гниет ли твой труп в

могиле, скрываешься

ли ты от своих врагов или живешь новой жизнью, которой заслуживаешь. Но мы верим в тебя.

— Верим, — эхом повторяем мы, и наши голоса сливаются в единый.

— Мы зовем тебя, Номер Девятнадцать. Ты нужен нам, потому что нам нужна свобода. Ради этого мы оживляем сцены из твоей жизни, ради этого мы приходим к тебе по ночам. Мы страдаем, как страдал ты, мы чувствуем твою боль, твои отчаяния и безысходность. Мы хотим быть едины с тобой, Номер Девятнадцать. Прими наши дары памяти, прими и приди к нам. Открой нам твою жизнь, как мы открываем тебе наши.

Все заучено до автоматизма. Я, Кэй и Ниветта выступаем на середину комнаты. Каждый день ритуала соответствует определенным мучениям Номера Девятнадцать. Сегодня это электричество. Электродов четыре. Иногда Моргана повторяет действия врачей, а иногда мы мучаемся все вместе. Моргана улыбается нам белозубой, доверительной улыбкой.

— Уже скоро, — говорит она. — Мы повторили цикл множество раз. Он придет.

Глаза у Морганы горят каким-то чужим огнем, и этот огонь делает большее тока или ножа.

— Ниветта, — шепчет Моргана почти сладострастно. — Сегодня ты запускаешь механизм.

Ниветта смыкает пальцы, шепчет что-то, а затем быстро размыкает. Энергия внутри генератора приходит в движение. Он начинает гудеть, и я вижу, как вспыхивают, то и дело, почти синие искры. Электричество не должно быть таким, но магия меняет мир намного сильнее, чем это нужно волшебнику.

Вы встаем в круг, подступая к генератору.

— Номер Девятнадцать, — зовет Моргана. — Мы принимаем твою боль. Мы, запертые здесь, ждем освобождения.

— Мы принимаем твою боль или типа того, — говорит Кэй.

— Мы с тобой, Номер Девятнадцать, — говорю я.

— А ты — с нами, — заканчивает Ниветта.

У меня на внутренней стороне бедра, как и у остальных, татуировка, цифра 19, нарисованная Ниветтой. И сейчас мне кажется, что эта краска под верхним слоем кожи, жжется, как в первый день после нанесения. Мы должны взять электроды одновременно. Мы делали это столько раз, что все выходит автоматически.

В ожидании боли я хватаюсь за электрод, и рефлекторное сжатие мышц заставляет меня сильнее схватить пластину, так что она впивается мне в ладонь. Будто тысяча иголок врываются в тело, и там внутри, эти иголки расцветают, распускаются, как разрывные пули. Все исчезает, вплоть до последней мысли.

Я прихожу в себя на полу. Теперь мои волосы, я уверена, являются референсом к популярной культуре. То есть, я выгляжу, как белый и не кудрявый Джимми Хендрикс. То есть, еще хуже, чем Джимми Хендрикс. Любимая книга Кэя, где вся история рок-музыки описывается в доступных для него выражениях, содержит несколько фотографий, и мне на ум приходит одна из них, где Хендрикс, открыв рот и агониально вцепившись в гитару повествует о чем-то слушателям. Вот так, наверняка, выглядела я.

— Все живы? — слышу я голос Кэя. — Про себя не особо уверен. Эй? Подруги?

— Да ты охерел просто, — говорит Ниветта сонно. — Не мешай, мне через полчаса вставать.

— Но ты не в постели, — говорит Моргана хрипло. — На сегодня мы закончили, ребята.

— Кончили!

— Какая божественная и неповторимая игра слов, Кэй.

Заряд в генераторе кончился, и мы свободны. Я хочу открыть глаза, но понимаю, что совершенно не могу этого сделать.

— Вивиана? — слышу я чей-то взволнованный голос, и не могу определить, чей. Еще кто-то говорит:

— Вивиана! Очнись!

Я очнулась, хочется сказать мне, просто я не могу пошевелиться. А потом я слышу чей-то плач. Плачут дети. Горько и тихо, так что звук этот проносится сквозь мою голову почти незаметно — сначала.

А потом я понимаю: откуда тут взяться детям? Наконец, мне удастся открыть глаза. Белый, неприятный и болезненный, свет бьет мне в голову. Я в лаборатории. По крайней мере, именно так я себе представляла лаборатории. И в то же время я — на чердаке. Это ощущение очень сложно объяснить, не будучи в полной мере сном, оно не является и бодрствованием.

Картинка рябит, как наши самые старые кассеты, в которых звук и изображение иногда сменяются белым шумом. Я вижу своих друзей, склонившихся надо мной, потом по миру снова проходит рябь, и белый, искусственный свет жалит мои глаза опять. Люминесцентные лампы под потолком мигают. На столах громоздятся приборы, назначения которых я не знаю. С облегчением мне удастся определить микроскоп и что-то, похожее на маленькую центрифугу. Исследования крови. Снова рябь, и я вижу генератор, стоящий на запыленном чердаке.

Когда белый шум сходит, этот же генератор стоит в центре лаборатории, новенький, подключенный, рабочий. По углам комнаты, лицами к стене, точно так же, как я, Ниветта и Кэй, стоят трое мальчишек. Они в одинаковых больничных рубашках и брюках, они одинаково дрожат. Щуплые, жалкие, маленькие и совершенно беззащитные. По лабораторному помещению снуют люди, но все они прозрачные, неприметные, кроме одной единственной женщины. Она в таком же белом халате, как остальные взрослые. У нее длинные рыжие волосы, изящные руки и глаза закрыты окровавленной повязкой. Окровавленной настолько, что на блестящий, белый кафель с нее капает кровь.

Женщина подходит к приборам, списывает с них показания, будто слепота совершенно ее не беспокоит.

— Кто вы? — шепчу я одними губами.

Один из мальчишек, самый тощий и самый бледный, с замотанной бинтом головой отвечает.

— Мы — никто. У нее нет глаз, поэтому мы плачем за нее.

— Тогда кто — она? — спрашиваю я. А потом шепчу одними губами:

— Номер Девятнадцать? Номер Девятнадцать, это ты?

В этот момент кто-то выливает на меня как минимум таз ледяной воды. Я вскакиваю, перед глазами рябит, и я бью себя по щеке.

— Вивиана! — шепчет Моргана. Она стоит надо мной, ее руки раскинуты, она создавала воду. — Вивиана, девочка, мы думали, ты мертва.

— Или в коме, — говорит Ниветта.

— Лично я думал, что ты мертва.

А потом Кэй меня обнимает, и я отпрыгиваю, потому что моя ночная рубашка намокла, и мне неприятно и неловко. Некоторое время я не могу произнести ни слова. Моргана гладит меня по волосам, нежно и долго. Мы сидим, привалившись к стене, и я не совсем помню, как я тут оказалась. Наконец, у меня достаёт слов и сил рассказать то, что я видела.

— Ты думаешь, что это был Номер Девятнадцать? — спрашивает Ниветта.

Я глажу, машинально, даже не осознавая, насколько это интимно, татуировку на внутренней стороне бедра Моргану.

— Я не знаю, — говорю я. — Там было трое мальчишек. Они плакали вместо женщины с повязкой на глазах. Я, если честно, понятия не имею, что это значит.

— Значит, что нельзя баловаться с электричеством, — говорит Кэй. И, кажется, это самая разумная фраза, сказанная за всю историю Кэя.

К тому времени, как я окончательно прихожу в себя, начинает рассветать. Нежно окрашенное небо готовится встречать новый день, а у меня песок в глазах от второй бессонной ночи подряд, и в то же время, может быть из-за электрического разряда, прошедшего сквозь мое тело, я чувствую себя болезненно бодрой. Мы с Морганой спускаемся с чердака последними.

— То, что с тобой произошло, — говорит Моргана самым сладким голосом. — Все доказывает.

— Или я схожу с ума. Окончательно, — говорю я. Но сейчас мне по большей части все равно. Мы проходим по лестнице, бесшумно и осторожно, наблюдая, как дом окрашивается в голубовато-серый цвет, готовясь к новому дню.

До подъема остается десять минут. Ниветта и Кэй уже проскользнули в свои комнаты, чтобы переодеться. А я совершенно не чувствую, зачем они так спешат.

— Давай, девочка, — шепчет Моргана. От нее пахнет мятной жвачкой или зубной пастой, у нее мягкие подушечки пальцев, как у кошки. Сейчас все эти детали кажутся мне очень яркими. — Признай, что у нас получилось.

— Слушай, — начинаю я. — Понятия не имею, был ли это Номер Девятнадцать, или я просто слишком вдохновилась твоей проповедью, и увидела жуткое видение, потому что меня жаждало электрическим током. Как ты считаешь, какой вариант логичнее?

Моргана смеется, и в этот момент, совершенно одновременно с ее смехом, я слышу пронзительный крик, далекий и отчаянный, он идет из-за ворот. Моргана замирает, глаза у нее становятся круглые и испуганные.

Кричит Гвиневра.

Мы бросаемся к двери с одинаковой быстротой, даже прежде, чем мне приходит в голову мысль о том, что бежать на чей-то крик может быть опасно, что лучше позвать взрослых. В голове у меня ни единого разумного предположения, крик Гвиневры вытесняет их все. У меня нет ответа на вопрос "почему", ведь иногда я даже хочу, чтобы Гвиневра умерла, и тогда я стану лучшей ученицей.

В саду еще прохладно, солнце не вступило в свои права, и моя кожа мгновенно покрывается мурашками. Мы бежим сквозь заросли кустов, и один раз я едва не падаю, зацепившись за ветку сирени. Моргана хватается за руку, вцепившись ногтями в запястье, и мы снова бежим. Крик не прекращается, и, на удивление, приносит облегчение. Пока Гвиневра кричит, она жива. То есть, если Гвиневра кричит, значит она жива.

Мы добегаем до пруда, где я сидела вечером, и меня охватывает тошнотворная паника — может все из-за меня? Нет, не просто, может быть, а совершенно ясно, что все из-за меня.

Гвиневра одета в форменное платье, видимо, спать она не ложилась. Она стоит по пояс в пруду и, судя по всему, уже не раз ныряла, ее одежда, ее волосы, вся она вымокла до нитки. Вокруг нее кружат птицы, те самые мертвые ласточки, от которых она закрывается руками, пытается отмахнуться. Видимо, Гвиневра не может сосредоточиться, чтобы применить магию. Ласточки мертвы, это очевидно. Их вспоротые внутренности мелькают то тут, то там. Они мельтешат вокруг Гвиневры, целясь своими острыми клювами ей в глаза. Я вижу, что руки Гвиневры уже изранены, но ей удастся защитить лицо.

Очевидно, она просто не может колдовать, если ее руки заняты попытками защитить глаза и шею.

Моргана громко и грязно ругается, потом толкает меня:

— Давай, милая, ты же у нас волшебница номер два! Докажи это!

Моргана с помощью заклинания отрезает ветку ближайшего дерева, перехватывает ее и бросается в бой. Я хочу сказать ей, что это вряд ли может быть эффективным, ласточки и так уже мертвы, а потом понимаю, что если я ничего не сделаю, Гвиневра умрет. И Моргана умрет. И я буду виновата в этом. Одна только мысль заставляет меня остолбенеть. Я пытаюсь сосредоточиться, но ничего не идет на ум, меня трясет так, что я не уверена, смогу ли я сделать нужный жест. Если, конечно, пойму, какой из них нужный. Ласточки перекидываются и на Моргану, которая вслепую старается огреть их палкой посильнее. Моргана и Гвиневра в воде, среди кувшинок, отбиваются от птиц, а я стою на берегу, в полной или, по крайней мере относительной, безопасности и не представляю, что делать.

Мне просто ничего не приходит в голову, как будто все мои мысли специально покинули мозг именно в этот момент. Как будто я это специально. Тогда я бью себя по лицу, больно, так что прямо чувствую, как на щеке зацветает красным прилившая к сосудам кровь.

И мне тут же вспоминается, что делала Гвиневра на занятии Ланселота. Просто, талантливо и изящно. Я не уверена, что смогу это повторить, с другой стороны, у меня ведь на самом деле нет никакого выбора.

Я шепчу заклинание, стараясь совместить в одной формуле слова "тернии", "оружие" и "веревка". Не уверена, что Гвиневра использовала именно эту формулу, но другой у меня нет. Ласточки мельтешат перед глазами, пытаюсь поранить мою лучшую подругу и мою соперницу, и мне никак не удается выделить из этой пернатой, когтистой толпы какую-то одну птицу, чтобы начать заклинание. Наконец, я замечаю птичку поменьше других, молодую особь, на которой могу сосредоточиться. Я вспоминаю, в подробностях, жест Гвиневры, и стараюсь его повторить. Мне не верится, что у меня получится что-либо, я все время отвлекаюсь на то, что происходит с Морганой, вижу ее исцарапанные руки и порванную ткань ее ночной рубашки. Впрочем, может именно это придает мне чувства, а чувство, это важная составляющая магии. Грудь ласточки, которую я заметила пронзает терний, я вижу на одном из шипов, вышедших сквозь нее, крохотное сердечко. А потом все случается слишком быстро, мои движения становятся автоматическими, и я удивляюсь, насколько точно помню то, что делала Гвиневра.

Я вижу, как тернии вылезают из клювов птиц, проходят сквозь их грудные клетки, вползают в их разверстые животы, связывают их друг с другом, крепко накрепко. Я улыбаюсь, прежде чем понимаю, что идея Гвиневры, конечно, была замечательная. Только не для этой ситуации. Моргана и Гвиневра, замирают, чтобы тернии их не задели и, не успевая выбраться, потому что все происходит слишком быстро, они оказываются в клетке. Тернии опутывают их, прилегая почти вплотную и чудом не рая, птицы, насаженные на

шипы и ветки продолжают дергаться, как живые, их крылья колышались, бьются, из раскрытых ртов выходят стебли, но клювы продолжают двигаться.

— О, — говорит Гвиневра. — Великая волшебница. Не самое лучшее время, чтобы украсть чужую идею.

Гвиневра и Моргана стоят тесно прижавшись друг к другу, и Моргана кусает Гвиневру за ухо, видимо, очень больно, но та только морщится.

— Извините! — говорю я, уверенная в том, что специально навредила им, — Я сейчас все исправлю!

В этот момент импровизированная клетка сама собой загорается, я визжу, девочки визжат, теснее прижимаясь друг к другу. Сначала я думаю, что это сделала я, случайно, из-за злости, но обернувшись, вижу Ланселота. Он стоит очень спокойно, как будто не он едва не поджег своих учениц только что. Одним, едва заметным движением, он, видимо, ускоряет процесс горения. Птиц и тернии, все тут же, в секунду, пеплом осыпается в воду, и девочки с облегчением отскакивают друг от друга, Гвиневра без сознания падает в воду.

Мы с Морганой кидаемся вытаскивать ее, пока она не захлебнулась, но Ланселот нас опережает. Взяв Гвиневру на руки, он выходит из воды, рывкает:

— Что здесь происходит, идиотки?!

Мы начинаем сбивчиво объяснять, но Ланселот прерывает нас.

— Крик? Какой крик?

— Вы не слышали?

— Вас трех не было в комнатах, когда я пришел, и я отправился поискать.

Гвиневра все еще без сознания. Лицо и шея у нее исцарапаны, но больше всего досталось рукам. Царапины почти сливаются в одну большую, общую, рану.

— Мы услышали крик, — говорит Моргана. — И побежали к пруду. Может, Галахад опять...

— Заткнись, — говорит Ланселот. — Ни слова больше. Я отнесу Гвиневру к нему, и вам не помешает там побыть. А потом я хочу знать, какого хрена она там делала, и почему только вы это слышали.

Мы подходим к школе. Нам с Морганой, продрогшим, полуголым, приходится семенить за Ланселотом, удерживающим Гвиневру. Я думаю, а вдруг она умерла? Голова ее безвольно повисла, в коже ни кровинки. Вдруг Гвиневра умерла от потери крови. Я громко всхлипываю, и Ланселот рывкает:

— И ты заткнись! Она жива!

Я замечаю, что Ланселот несет ее очень осторожно.

Вокруг школы бегает Ниветта, Кэй и Гарет. У первых двоих унылые, печальные лица людей, которые ни минуты за ночь не проспали. Гарет же выглядит почти бодрым. Увидев нас, все трое останавливаются, но Ланселот рывкает:

— Продолжать!

— Вы слышали крики? — спрашивает Моргана. Ниветта кивает, Кэй кричит:

— Слышали, но нас поймал Ланселот, и сказал, что мы ему врем, чтоб не бегать, и что он ни хрена подобного не слышит, и что мы вас прикрываем!

— Заткнись и беги! — говорит Ланселот.

По крайней мере, возможно, ему очень стыдно. Значит, взрослые не слышали, как кричала Гвиневра. Но почему?

Мы с Морганой снова молча устремляемся за Ланселотом. Таким злым мы его не

видели уже очень и очень давно. При учете того, что обычно он просто очень-очень раздражен, сейчас Ланселот кажется бледным от ярости.

Я очень рада, что мы идем к Галахаду, оставаться с Ланселотом наедине мне совершенно не хочется. И, я уверена, никому бы в такой ситуации не хотелось.

Я ловлю себя на том, что немного завидую ребятам, которые остались нарезать круги вокруг школы, совершенно одни, в самой красивой точке рассвета, лишённые такого сомнительного удовольствия, как компания Ланселота.

Минут через пять, Галахад, растрепанный и сонный, а оттого еще более жуткий на вид, чем всегда, сидит над постелью Гвинеvры в больничном крыле. Он не использует никаких инструментов, кроме шепота и движений. Я вижу, как сначала длинные и глубокие царапины Гвинеvры стягиваются, будто невидимыми нитями, и выглядит это отвратительно. Галахад совершает какую-то тонкую, невидимую работу, он очень сосредоточен. Когда он закусывает губу, она не становится красной от прилившей крови.

Галахад продолжает колдовать над стянутыми невидимыми нитями ранами, и прямо на наших глазах плоть срастается, и вот вместо свежих ран, я вижу шрамы, сначала нежно-розовые, выделяющиеся на смуглой коже Гвинеvры, а потом почти незаметные. Если присмотреться, все еще можно увидеть чуть вспухшие линии, по которым проходил разрез, и все же Гвинеvра выглядит почти как раньше. Галахад щелкает пальцами, и она открывает глаза. Гвинеvра порывается встать, движение инстинктивное, совершенное еще до того, как мозг осознал, где находится и что происходит.

Галахад удерживает ее.

— Я бы не советовал тебе совершать резких движений. Я вложил в тебя достаточно много магии. И мне придется смотреть за тобой весь день. Даже отменить уроки и порадовать тем самым Кэя.

Глаза Гвинеvры постепенно приобретают разумное выражение, она откидывается на подушку, ощупывает себе лицо, потом говорит:

— Спасибо.

Благодарность адресована всем и никому в отдельности.

— А теперь, юная леди, пришло время для обязательного вопроса. Что вы делали в компании ласточек в пруду?

Неожиданно Гвинеvра шипит, в совершенно не свойственной ей манере:

— Может мне стоит спросить, что ваши ласточки делали...

Галахад поднимает руку, улыбается, блеснув зубами:

— О, давай-ка пропустим ту часть, где ты говоришь, что мои монстры не в первый раз выбираются из подвала, и это я во всем виноват, меня стоит лишить права преподавания и подвергнуть остракизму. Ласточки, которых вы передали мне, спят смертным сном в подвале, в клетках. И, когда я проснулся от криков Ланселота, они — не проснулись, что предсказуемо, и в какой-то мере даже скучно. Можно предположить разве что, будто бы эти мертвые ласточки настолько умны, что способны сотворить себе алиби и настолько изворотливы, чтобы пережить сожжение. Сомнительно, правда?

Гвинеvра открывает и закрывает рот, потом хмурится и, наконец, выдает:

— Понятно. Хорошо. Значит, вы вне подозрений.

— Мне неприятно, что ты об этом даже подумала.

Эмоциональный посыл Гвинеvра, как и всегда, предпочитает игнорировать. Она приподнимается на кровати, устраивает подушку под спину, и снова становится той самой

Гвиневрой, которая будто линейку проглотила.

— Я хотела потренироваться. Вдали ото всех. Все равно Ланселот велел нам вставать в пять утра, а я не могла заснуть. Я наложила заклинание тишины...

— Только на взрослых? — спрашивает Галахад. Лицо его не выражает ни сомнения, ни принятия, только застывшую, безжизненную улыбку.

— Да. Мне не хотелось, чтобы меня застали взрослые. А на детей я решила не тратить силы.

Моргана наклоняется ко мне и одними губами произносит "лжет". Мы слишком хорошо друг друга знаем, мне даже не нужно слышать ее шепота, чтобы почувствовать, по движению губ, что она говорит.

Но Гвиневра тоже отлично нас знает. Она бросает в нашу сторону укоризненный взгляд, и говорит:

— Я хотела потренироваться, вот и все. У меня не слишком хорошо получается изменять вещи. Вы и сами знаете.

— Почему ты не хотела потренироваться у себя в комнате?

— Там нет живых вещей. А в саду меня бы увидели.

Гвиневра явно не думала, что ей придется оправдываться за сегодняшнее утро. Мы смотрим на нее, но она упирается взглядом в Галахада. Если Гвиневра на чем-то настаивает, переспорить ее невозможно. То есть, можно получить чисто номинальную победу, если с тобой согласятся зрители, однако Гвиневра никогда не откажется от своих слов.

— Хорошо. Так что случилось с ласточками? — спрашивает Галахад, прекрасно зная об этом свойстве Гвиневры. Он подносит мизинец, испачканный в ее крови ко рту, быстро слизывает каплю.

— Я начала колдовать, и порезалась. Я хотела капнуть своей кровью на кувшинку и превратить ее в розу. После этого все и началось. Они налетели на меня, я начала отбиваться, а потом девочки меня нашли.

Галахад смотрит на нее отсутствующим взглядом, кажется, я даже могу увидеть рябь белого шума в его радужнице.

— Повтори еще раз, — говорит он. — Я прослушал.

— Вы издеваетесь?

— Если бы я издевался, я бы оставил тебе шрамы на лице. Я бываю рассеянным.

Это правда. Галахад бывал не просто рассеянным, он бывал чокнутым. Один раз я видела, как он три с половиной часа просидел на пороге, сжимая в руках оленье сердце. И сначала я думала, что Галахад просто творит ритуал призыва. А потом я поняла, что он о чем-то задумался, и ногти его рассеянно ходили под жилами звериного сердца. Я подходила несколько раз, и лишь в четвертый он заметил меня и помахал. Руки у него были в темной, почти до черноты, крови.

Гвиневра смотрит на Галахада с холодной злостью, потом кивает. Она повторяет все то же самое слово в слово, абсолютно с тем же выражением лица.

Мы с Морганой переглядываемся, Галахад же кивает.

— Хорошо. Тебе лучше остаться здесь, на некоторое время. Раны могут разойтись. Сегодня ты освобождена от уроков.

Я ожидаю, что Гвиневра закричит что-то вроде:

— Нет! Только не это!

Но она только кивает.

— Я хотела бы поспать.

— Конечно.

— Пока, девочки, — говорит Гвиневра, смотря на нас.

Мы выходим.

— Какая неблагодарность, правда? — говорю я. Однако от ситуации я испытываю удовольствие. У нас довольно редко случается что-то из ряда вон выходящее, и мы с Морганой ощущаем одинаковый ажиотаж. Не сговариваясь, мы замираем у двери, но в этот момент она открывается и выходит Галахад. Он приобнимает меня и Моргану за талии, я отхожу на шаг, а вот Моргана нет. Контакт между ними даже на вид кажется больше, чем просто игривым движением. Он слегка прижимает ее к себе, так как и не подумал бы прижать меня, когда приобнял нас обеих.

— Она врет? — спрашивает Моргана.

— Ну, конечно, — говорит Галахад. И я понимаю, что его отсутствующее выражение лица, выпадение из реальности было скорее игрой, способом проверить, что скажет Гвиневра во второй раз.

В книжках все время делают волшебников эксцентричными, странными и иногда безумными людьми. Это потому, что некоторая правда в вымысле все равно сохраняется (нам неоткуда взять реплику, кроме реального мира). Второй распространенный образ волшебника, это человек, который лишь притворяется безумным, а на самом деле единственное болезненное в нем, это рациональность. Я думаю, что эти два варианта не исключают друг друга. Безумие можно использовать. По крайней мере, мне нравится так думать.

— А на самом деле? — спрашивает Моргана.

— А этого никто, кроме нее, знать не может.

— И ты?

Галахад пожимает плечами, говорит:

— Чтение мыслей никогда не было моей специализацией. А она надежно закрывает свою голову. Причем не магией. Она просто сосредоточена на истории, которую выдумала.

Галахад вздыхает, закрывает глаза с досадой, будто сетуя на то, что сказал слишком много.

— Что ж, девочки, вам пора на завтрак. А я еще посижу с Гвиневрой.

Наверное, думаю я, он разоткровенничался с нами, надеясь, что нам станет любопытно, и мы узнаем больше, чем он. И не будем закрывать свои мысли так, как Гвиневра.

Мы спускаемся в столовую. Все уже на местах, пустуют только стулья Гвиневры и Галахада. В блестящих приборах отражает солнце, в белоснежных тарелках покоятся идеально ровные яичные желтки, окруженные почти кружевным белком и снабженные двумя хрустящими на вид тостами. Я не совсем понимаю как мне удастся не захлебнуться слюной, что было бы без сомнения самой позорной смертью, которую видели эти стены, а видели они не одну.

Я вижу, что никто не приступает к еде. Мы с Морганой быстро занимаем свои места. Мордред сидит во главе стола, выражение его лица такое же безразличное, как и всегда.

Как только мы садимся за стол, он берет нож и вилку. Это сигнал для всех — можно начинать завтрак. Некоторое время кроме еды для меня не существует ничего. К основному блюду я прибавляю два тоста с маслом и два стакана апельсинового сока. Только сейчас я понимаю, насколько же я голодна и как устала после двух бессонных ночей. Я слышу, голос

Кэя:

— Она что умерла?

— Нет, придурок, — отвечает ему Ланселот, наливая в сок чего-то из своей вечной фляжки и отпивая из стакана с большим удовольствием. — Говори еще громче, когда в следующий раз захочешь обсудить что-нибудь со своими друзьями.

— С ней все нормально? — спрашивает Ниветта шепотом.

— Я слышал, что там кровь и кишки везде, — говорит Кэй.

— От кого ты это слышал, малыш? — устало спрашивает Моргана.

— От Гарета.

— С Гвиневрой все нормально, — говорю я. — Галахад ее залечил. Она сказала, что ушла тренироваться, и чтобы взрослые не заметили, наложила на них заклинание тишины.

— Вот что случается с заучками, Вивиана.

— Заткнись, Кэй!

— Мне надоело, что мне все время это говорят!

— Может тогда стоит задуматься над своим поведением? — смеется Моргана.

— Словом, — говорю я. — Гвиневра не понимает, что случилось. И это не ласточки Галахада, те, согласно его словам, все еще в подвале. Но я лично этого не видела, поэтому не могу утверждать.

Я люблю сплетничать. То есть, правда люблю. У меня не так много возможностей для этого, но как только они появляются, я ни за что их не упущу.

— Гвиневра врет, я так думаю, но Галахад тоже чего-то не договаривает...

Я говорю настолько тихо, чтобы не слышал никто, кроме Ниветты, но в момент моего наивысшего вдохновения я слышу звонкий стук ножа по тарелке.

— Вивиана, — говорит Мордред. — Если ты стала таким большим специалистом по этому маленькому происшествию, почему бы тебе не отнести завтрак Гвиневре и Галахаду в больничное крыло?

На самом деле больничное крыло, это часть третьего этажа, приспособленная, в основном, для ежегодных простуд Кэя и моих редких ангин. Оно сохранилось с тех самых пор, когда в школе училось полсотни детей. Здесь даже есть операционная, где за ее ненадобностью, давно обосновались Галахад и его мертвые звери. Больничных палат три, и там по шесть мест, шкафчик с лекарствами, тумбочки рядом с каждой кроватью и все очень-очень белое.

Гвиневра лежит на той же кровати, где лежала я, когда болела ангиной в последний раз, полгода назад. Но ко мне ходили мои друзья, а Гвиневра совершенно одна. Ветер треплет белые, почти прозрачные занавески. Рядом с Гвиневрой на тумбочке стакан воды и книги. Она не выглядит одинокой. Гвиневра кажется совершенно самодостаточной.

Руки у меня трясутся и серебряный, покрытый растительным орнаментом поднос, чуть дрожит. Я как можно быстрее ставлю его на тумбочку Гвиневры, выходит шумно. Голова у меня ужасно болит, кроме того, меня подташнивает. Мне очень нужно поспать, но я абсолютно уверена, что не засну.

Я сажусь на кровать и некоторое время сижу молча, пытаюсь справиться с дрожью. В голове крутится мысль, что еда, которую я принесла может навредить Гвиневре, будто я отравила ее, но не помню этого. Это ощущение совершенно нелогично, и ему нельзя противопоставить доводы разума. Когда мне начинает казаться, что я это помню, и страхи подменяют собой реальность, я резко говорю Гвиневре, чтобы отвлечься больше, чем из

желания поболтать:

— Я знаю, что ты не спишь.

— Я знаю, что используешь разговор со мной, как предлог, для того, чтобы не думать о том, что еда, которую ты принесла мне — отравлена.

— Прекрати читать мои мысли.

— Тогда прекрати лезть в мою жизнь.

Мы обе молчим. Гвиневра продолжает лежать с закрытыми глазами. Я чувствую сонное оцепенение, тревога уходит, будто озвучив ее, Гвиневра проложила для нее границу.

— Не за что, — говорит Гвиневра.

— Мы пытались тебе помочь.

— И справились с этим самым невероятным образом.

Мы снова замолкаем. А потом, совершенно неожиданно, Гвиневра говорит:

— Я хотела выбраться отсюда. Я хотела попробовать ритуал. Сама его придумала.

— Но ведь ты знаешь, что это невозможно.

— Взрослые говорят, что это невозможно. Я думаю, они этого просто не хотят. По какой-то причине. Причина меня не волнует. Я просто хочу выбраться отсюда и увидеть мир.

— Мы все хотим.

— Видимо, недостаточно сильно.

Гвиневра, наконец, открывает глаза. Взгляд у нее оказывается жесткий, почти злой.

— Все должно было сработать.

— Ты хотела уйти без нас.

— Нет. Поэтому я наложила заклятье тишины только на взрослых. Я бы вас позвала.

— Ты не доверяешь взрослым?

Гвиневра молчит, потом чуть заметно поводит плечами и, наконец, говорит:

— Это неважно.

— А причем здесь ласточки?

— Ласточки лежали там, когда я пришла. Мне было все равно, это же просто мертвые птицы. Я начала ритуал, и когда мне показалось, что он заработал, они взвились вверх.

— Ты...

— Я больше не буду тебе ничего рассказывать.

Гвиневра берет с подноса свою тарелку и приборы, начинает терзать ножом и вилкой бекон. Отправив в рот первый кусок и старательно прожевав, Гвиневра говорит.

— Тебе плохо. Ты пыталась меня спасти. Я хочу отдать тебе долг, чтобы ты не считала себя такой распрекрасной героиней.

— Моргана сделала больше полезного.

— Конечно, ведь ты занималась только плагиатом. И все же у тебя было доброе намерение. Ты не можешь заснуть. Я могу тебя заставить. У меня отлично получаются заклинания сна.

— Напомнить тебе, что случилось, когда ты колдовала в прошлый раз? И что случится, если я пропущу урок Ланселота?

А потом, прежде, чем я успеваю подумать еще что-нибудь, а тем более сказать, Гвиневра произносит формулу сна, и все становится черным и ровным, как будто мгновенно наступила густая ночь.

Первое, что я ощущаю по пробуждению — холод. Пробирающий до костей, мертвенный

и жуткий. Так может холодить только камень. Открыв глаза, я не вижу ни белоснежной стены, ни тяжелой двери, ни стеклянного шкафа, где хранятся бинты и лекарства.

Я будто бы оказываюсь в средневековой поэме вроде «Песни о Роланде» или «Песни о Нибелунгах». Словом, вроде какой-нибудь песни, но, совершенно однозначно, не Песни Песней. Зал передо мной такой огромный, что конец его скрывается в темноте. На каменных стенах висят гобелены, на которых прекрасные дамы с единорогами чередуются с рыцарскими турнирами. А сады земные с садами небесными, где хищные звери бродят вместе с невинными. Люди на гобеленах — смешные и нелепые уродцы. В средневековье не было понятия о том, что искусство должно быть реалистичным. Глупо думать, что жители Европы лишь пару веков назад стали способны к рисованию. Просто прежде критерии визуальной культуры были совсем другими.

Здесь ужасно холодно, я поеживаюсь. Мое форменное платье явно не приспособлено для таких экскурсий. То, что происходит — сон, я в этом уверена, однако ощущения совершенно не приглушены, наоборот, они кажутся ярче. Некоторое время я рассматриваю тяжелые каменные своды, свечи, вселяющие тени в углы и трещины.

Я рассуждаю: если это сон, то какая разница, что случится, но если нет, то, наверное, я здесь, чтобы что-то узнать.

Замок абсолютно ощутим, цвета, звуки моих шагов и холод, все реально, и в то же время зал производит впечатление чьего-то представления о Средневековье. Никаких гербов, вообще никаких свидетельств о владельце здесь нет, а гобелены, улавливая общие тенденции, на самом деле не соответствуют иконографии ни одного конкретного периода.

Я продвигаюсь вперед, рассматривая их. Чем дальше я иду, тем больше на гобеленах появляется мертвецов. Сначала они едва заметны, затесавшиеся в толпе зрителей на турнирах или плетущиеся в хвосте за бравыми охотниками. Постепенно мертвецов становится все больше, и вот они уже пьют вино вместе с живыми, пускаются в пляс. Иногда мне кажется, будто картинки едва заметно движутся, но стоит мне моргнуть, и все приходит в состояние полного покоя. Сине-черные мертвецы и белесые скелеты завоевывают пространство живых, их становится все больше и больше, и картины перестают изображать "Пляску смерти". На них просто не остается живых.

Последний гобелен изображает мертвецов, бродящих в райском саду. Он оказывается на редкость реалистичным, выбиваясь из рядов своих собратьев. Я вижу разлагающиеся внутренности и соскальзывающую с трупов кожу, анатомически верно прорисованных зверей, бродящих между мертвецами и прекрасные деревья, у которых с каждой ветви свисают вышитые золотыми и алыми нитями плоды.

Я отвожу взгляд, испытывая смесь восхищения и отвращения к происходящему на последнем изображении. Мой взгляд натывается на трон, к которому восходят ступени, скрытые под алым бархатом. Между двух золотых столбов, спускается темная, тяжелая ткань, расшитая хрустальными каплями, как звездами, будто сама ночь укрывает трон. На троне, украшенном драгоценными камнями, сидит женщина. Ее спина болезненно пряма. Рыжие волосы спадают вниз мягкими волнами, расшитое пылающими изумрудами платье блестит в свете свечей. Ее руки в кружевных перчатках покоятся на рукояти длинного меча. Корона венчает ее голову, и рубины, которыми она украшена, непрерывно кровоточат. Алое стекает вниз, и за кровью совершенно не видно ее лица.

Я абсолютно не ожидала ее увидеть, оттого женщина, неподвижная, будто неживая, выглядит для меня как замерший кадр из фильма ужасов. Ровно секунда до момента, где мне

отрубят голову.

Женщина, однако, не шевелится. Ее руки недвижимы на рукояти меча. Только сейчас я замечаю зловоние крови, такое резкое и мерзкое, что меня начинает тошнить. И я вижу, как непрерывно кровоточащие рубины пульсируют, словно что-то живое. Кровь спускается вниз, все платье пропиталось ею, а потом струится дальше, проникая в ложбинки между каменной кладкой, будто кто-то регулирует направление ее движения.

И тогда я вижу все. Весь замок построен на крови, это кровь скрепляет камни. И я понимаю, кто эта женщина, на троне. Понимание приходит не из логики, никакой каузальной связи, предпосылки не формируют следствие. Понимание приходит из затаенных мыслей, которые называются еще иногда интуицией.

Королева Опустошенных Земель.

Я издаю слабый писк. Обернувшись, чтобы бежать, я замечаю мальчишку. Он настолько чужд этому пространству и времени, насколько это вообще возможно. И я уже видела его, или же мне так кажется. На мальчике больничные рубашка и штаны бледно-зеленого, почти мятного цвета. Сквозь ткань проглядывают острые кости, он совсем тощий, маленький заморыш, и в чем только душа держится. Мальчишка сидит спиной ко мне, и я вижу его исколотые иглами руки, вижу браслет с биркой, обхватывающий тонкое запястье.

Мальчик говорит:

— Они когда-нибудь давали тебе Те таблетки?

— Нет, — говорю я мягко. — Кто ты?

Я смотрю на гобелены, потом перевожу взгляд на мальчика в больничной рубашке. Я замечаю, что в руках у него две фигурки — динозавр и космонавт. Одинаково пластиковые и одинаково дурацкие, они мелькают в руках мальчишки, вступая в воображаемую им драку. Наконец, он отбрасывает космонавта.

— Люди никогда не победят, — говорит он.

— Не победят кого?

— Почему тебе не больно? Ты не плачешь и не кричишь? — спрашивает он.

— А почему я должна?

— Все хорошие люди плачут или кричат. Те, кому не больно — хотят причинить тебе вред.

— Я не хочу причинять тебе вред, — говорю я осторожно. Он замирает, а потом начинает дрожать. Я хочу подойти к нему, к испуганному, маленькому, наполовину зверьку, но он отползает, не поворачиваясь.

— Не трогай.

— Номер Девятнадцать, — шепчу я.

— Не трогай. Иначе я убью тебя. Уходи, пока она до тебя не добралась.

Я вижу, как вниз по его затылку идут длинные шрамы, распухшие, будто воспаленные. Мне хочется утешить его, но я не знаю как. Для Номера Девятнадцать все закончилось.

— Сегодня я слышал песню, — говорит он. И напевает что-то мелодичное, нежное о том, что будет, если завтра никогда не придет. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, на месте ли Королева Опустошенных Земель. А она оказывается прямо передо мной. Ее чудовищное лицо скрыто струями крови, как вуалью. Последнее, что я слышу: песенку Номера Девятнадцать, отдающую гулко, будто в пустой палате, а последнее, что я вижу — блеск меча в руке Королевы Опустошенных Земель, и ее неуловимо быстрое движение.

Просыпаюсь я от собственного крика. Меня тут же обнимают, и несколько секунд я,

ничего не соображая, пытаюсь вырваться. Пахнет сладко и горько одновременно — так пахнет Моргана.

— Тшшш, мышонок, не бойся, — шепчет она. Хватка у нее сильная. Я слышу голос Гвиневры:

— Забери ее отсюда поскорее. У меня голова болит от этого визга.

— Что ты со мной сделала? — почти взвизгиваю я.

Гвиневра сидит на кровати, читает "Из праха восставших" Брэдбери. У нее злое и сосредоточенное лицо, впрочем, как всегда.

— Гвиневра, я бы не советовала тебе делать мышонку гадости, потому что это значит, что ты делаешь гадости мне, а если ты делаешь гадости мне, это значит, что твоя жизнь превращается в ад. Дальше сама додумаешь, ты же умная?

На лице Морганы ни на секунду не перестает светиться нежная, приветливая улыбка. Сочетание ее слов и выражения лица заставляет меня поежиться. Я быстро говорю:

— Мне просто приснился кошмар. Все в порядке.

Гвиневра и Моргана смотрят друг на друга долго и испепеляюще. Я выворачиваюсь из хватки Морганы, встаю с кровати и тяну ее за руку.

— Пойдем, я хочу поговорить.

— Пойдем, дорогая. Отдыхай, Гвиневра. Удачного выздоровления. Рада, что с твоим милым личиком все в порядке.

Я тяну Моргану к двери, и, когда оборачиваюсь у порога, вижу, что Гвиневра смотрит на меня, неотрывно и темно.

— Что случилось, милая? — спрашивает Моргана. Мы идем на балкон, привычным движением опускаемся вниз, я дожидаясь, пока Моргана достанет сигареты, и мы закуриваем. Глубокая затычка выдергивает меня из остатков сна. У меня ужасно болит шея, однако, вероятно, это потому, что я неудобно лежала. Некоторое время Моргана терпеливо ждет, пока я успокоюсь. И, только выдав мне вторую сигарету, повторяет свой вопрос.

Я щелкаю зажигалкой, затягиваюсь и выпускаю дым вниз, чтобы, если кто-то из взрослых идет снизу, он нас не заметил. Я не совсем уверена, что могу рассказать то, что видела, и все же я начинаю. К концу моего рассказа глаза Морганы загораются тем особым огнем, который и позволяет ей легко нами манипулировать.

Она гладит меня по кончику носа, говорит:

— Мой милый мышонок, ты что совсем ничего не поняла? Ах да, конечно, ты просто очень испугалась. Сон действительно страшный, но это всего лишь сон. Ты жива. И ты принесла нам чудесную весть.

— О том, что Гвиневра умеет насылать кошмары?

— Нет, дорогая. О том, что Номер Девятнадцать пришел нас спасти. Королева Опустошенных Земель держит нас здесь, но он нам поможет. Мы его призвали. Он может быть нашими представлениями о нем, но это неважно. Он здесь.

— А где тогда она? — спрашиваю я.

Мы обе молчим. Наконец, Моргана признает:

— Она, видимо, тоже здесь.

— И что может наша фантазия о мальчике, который...

Совершенно неожиданно щеку мне обжигает пощечина.

— Не фантазия. Номер Девятнадцать — не фантазия. Он существует. Или существовал.

— Ты сама только что сказала о представлениях...

Лицо Морганы остается таким же ласковым, но голос становится стальным.

— Ты прекрасно знаешь, что я имела в виду.

Честно говоря, не совсем. Однако по поводу Номера Девятнадцать с Морганой лучше не спорить. Ее тщеславие, как автора подросткового культа, стремится к бесконечности. Я потираю щеку, говорю:

— Вообще-то это было больно.

— Прости, мышонок.

За третьей сигаретой я рассказываю ей о том, что сказала Гвиневра. Моргана смотрит на небо, и я смотрю вслед за ней. Солнце застыло в зените. Проспала я прилично.

— Гвиневра — дурочка. Они не хотят возвращаться, это понятно. Иначе давно бы нашли способ. Но с чего бы взрослым держать нас тут? Я бы предположила что-нибудь вроде сексуального рабства, но зачем нам тогда Гарет?

Моргана на некоторое время замолкает, а потом говорит:

— Я им доверяю.

— Ты доверяешь Галахаду.

— Он ни разу не давал повод в себе усомниться. В отличие от Гвиневры.

Я резко, даже слишком, потому что голова начинает кружиться, встаю.

— Мне нужно сходить к Мордреду.

— Так тебе понравилось, как он...

— Нет! — рычу я, а Моргана смеется. — Я хочу спросить у Мордред, что происходит.

Не дожидаясь ответа Морганы, я ныряю под расшитую кружевами штору, и почти бегом устремляюсь к лестнице. Все это одновременно жутко и приятно. Приятно, что в наших жизнях наконец происходит нечто удивительное, загадочное. Я чувствую себя в книге, где я — главная героиня. И мне нравится это ощущение.

Однако, на подходе к кабинету Мордред, оно исчезает. Я не совсем понимаю почему, но неожиданно мне становится просто очень страшно. Я привыкла думать, что единственный страх, который я не могу преодолеть, это страх кому-нибудь навредить. Поэтому, трепет перед закрытой дверью я считаю несерьезным и толкаю ее почти со всей силы, едва не упав на входе.

Не сказать, что я жалею о своей решительности, однако, может быть, лучше было бы применить ее как-нибудь по-другому.

Кабинет Мордред представляет собой руины того порядка, который царил здесь всегда, сколько я себя помню. Вещи разбросаны, книги разорваны, разбиты все часы, висющие на стенах, из некоторых циферблатов вырваны стрелки, кое-где цифры закрашены красным, зачеркнуты, расцарапаны.

Стол тоже весь покрыт царапинами, будто его драли ногтями. На стене над столом кровью, настоящей кровью, а вовсе не кровью из сна, выведена надпись:

— Сегодня я слышал песню: Никогда Не Покидай Меня.

В один момент все становится серьезно и страшно. Я не думала, что Номер Девятнадцать и вправду может быть как-то причастен к происходящему. И что наши игры могут как-то навредить взрослым. Я забываю обо всем, за чем пришла, когда вижу Мордред.

Он стоит перед столом, совершенно неподвижно, и смотрит на стену. Как будто изучает надпись, словно картину в музее. Лицо у него совершенно спокойное, только очень бледное.

Я дергаю его за рукав, и только тогда замечаю, что ладони у него в крови.

— Мордред! — говорю я. — Вы ранены!

— Это сильно сказано, — отвечает он, не отводя взгляд от надписи. А потом поворачивается ко мне, и его глаза изучают уже меня.

Я тяну его за рукав, заставляю сесть на стул.

— У вас есть антисептик?

— В столе. Третий ящик.

Ящики из стола вырваны почти с мясом, я вижу слетевшие петли и выдернутые гвозди. Третий ящик я нахожу довольно быстро, он валяется под столом, антисептик и бинт покоятся там же, в окружении зеленки, парацетамола и валокордина. Только Мордреду пришло бы в голову держать в столе аптечку с лекарствами из человеческого мира, которые мы почти не используем.

Я не умею обеззараживать раны магией, но мне ужасно хочется помочь. Я сажусь пол, перехватываю Мордред за запястье. Он не сопротивляется, как будто занял позицию наблюдателя. Плеснув антисептик на ватный тампон, я начинаю обрабатывать одну из ран. Она глубокая и широкая, я даже не уверена, что самому себе можно такие нанести. Это его кровь на стене? Номер Девятнадцать вселился в него?

Я смотрю, как ватный тампон окрашивается в равномерный алый, и мне очень стыдно. Мордред смотрит куда-то поверх моей головы.

— Что произошло?

— Вчера? Я гетеросексуальный мужчина. Это достаточно точный ответ.

Я моментально краснею, начинаю бормотать:

— Я не об этом.

— А о чем?

Когда я заканчиваю обрабатывать рану, то понимаю, как у меня трясутся руки, и представляю, как сделала что-то неправильное, и что антисептик отравит кровь Мордред, что моя помощь его убьет и всякое в этом роде.

А потом меня вдруг разбирает злость:

— На Гвиневру напали! Ваш кабинет разгромили! Вы правда считаете, что мы ничего не замечаем?

Мордред склоняет голову набок, говорит:

— И ты меня не разубедила.

— Королева Опустошенных Земель вернулась!

Он смотрит на меня, как идиотку, потом вдумчиво кивает. Мне кажется, что он чуть улыбается. Я снова беру его за руку, осторожно спрашиваю:

— Можно?

Долго-долго стоит тишина, так что я собираюсь отпустить его запястье. Но, в конце концов, он говорит:

— Да. Попробуй.

Я шепчу заклинание, которое запомнила еще из детства, когда Галахад обрабатывал нам всем разбитые коленки. Я никогда прежде его не использовала, и если я хочу попробовать, то сейчас, самое время. Отчего-то я совсем не думаю о том, что могу навредить Мордреду. Любопытство пересиливает страх.

И у меня получается.

Я чувствую, как от кончиков моих пальцев течет вниз тепло, сначала едва заметное, а потом почти обжигающее. Я вижу, как края раны стягиваются сначала кровавой корочкой, потом нежной, новой кожей. Шрамы остаются заметными, и я чувствую волнение. Однако

успокаиваю себя тем, что если бы Мордред хотел, он мог бы обратиться к Галахаду, а не позволять мне пробовать заклинания исцеления.

— Вам больно? — спрашиваю я.

— Нет, — говорит он. А потом больно становится мне, я чувствую эти раны на ладонях, сжимаю и разжимаю руки, но моя кожа оказывается неповрежденной. Поморщившись, я смотрю на Мордреда.

Он говорит:

— Неопытный целитель может получить отдачу.

— Вы не предупредили меня.

— А ты не сказала мне, что останутся шрамы. Я думал, мы поняли друг друга, не озвучивая такие очевидные вещи.

Мордред смотрит на свои руки с безразличием. Я стираю остатки крови, и вместо "спасибо", он говорит:

— Хорошо.

А потом он, совершенно неожиданно, начинает расставлять вещи на столе. Мордред почти никогда не делает ничего без помощи магии, но сейчас он расставляет письменные принадлежности по их, строго определенным, местам, будто все остальное в кабинете осталось в порядке.

Я некоторое время наблюдаю за ним, он будто бы не замечает моего присутствия. Тогда я начинаю ему помогать. Я не трогаю вещи Мордреда, мне остается убирать осколки стекла, покрывавшего циферблаты, с пола. Некоторое время Мордред не обращает на меня никакого внимания. Мы будто оказываемся в совершенно разных комнатах, занимаясь разными делами. Он увлечен, и я тоже. Мне нравится наводить порядок. Я уменьшаю энтропию. Пусть это бесполезная борьба с врагом, который переживет меня, как неизменно переживал всех, мне нравится ее вести. Словно у меня есть что-то, что я могу противопоставить самым незыблемым законам мира.

Я забываю о Мордред, и это оказывается очень легко. Он двигается совершенно бесшумно. На некоторое время мы оказываемся вместе, но по отдельности. Я уничтожаю мусор, обломки карандашей, стекло, разорванную бумагу с помощью магии, а он возвращает всему изначальный порядок.

Мы встречаемся взглядами, только когда оба опускаемся на колени, чтобы замыть пятна крови на полу. Я бросаю взгляд наверх и вижу, что начертанная алым фраза на стене исчезла.

— Ты помогла мне ради информации, — говорит Мордред.

Я чуть заметно мотаю головой. Мы замираем друг перед другом, из-под моих пальцев продолжает течь вода, превращающая красные пятна в розовые. Я останавливаю заклинание, потом говорю очень осторожно:

— Я за вас переживаю.

В конце концов, я ему благодарна, и мы много времени проводим вместе.

— Это странно.

— Почему?

Больше книг на сайте — Knigolub.net

Он не отвечает. Салфетки, которыми я вытираю пол пропитываются розовой водой. Я вспоминаю зловоние из сна. Именно в этот момент Мордред все-таки говорит:

— Королева Опустошенных Земель закрадывается в разум. Она, в первую очередь,

королева безумия. Во вторую — смерти. Когда-то, возможно, она была волшебницей. Но скорее она порождение сознания всех волшебников на этой земле. Нам не от чего защищаться снаружи. Она приходит изнутри. Самая хрупкая вещь в любом волшебнике — разум, и она искажает его. Надеюсь, что теперь тебе все понятно. Мы ничего не можем сделать. Почти. Но кое-что я попробую.

— Что?

— Я тебе не скажу.

Мордред смотрит на меня, чуть склонив голову. Взгляд у него неподвижный, крепко вцепившийся в мой.

— То есть, все что происходит, все эти мертвые ласточки, ваш кабинет...

Мои кошмары, думаю я, и прежде, чем успеваю продолжить, Мордред говорит:

— Да. Все это — порождение Королевы Опустошенных Земель. А Королева Опустошенных Земель — порождение нашего безумия.

Мы одновременно поднимаемся, снова оказываясь близко друг к другу и, одновременно, делаем шаг назад.

— Значит, ваш кабинет...

— Я не помню, что здесь произошло. По крайней мере, раны на моих руках свидетельствуют о том, что, загадочную надпись я оставил сам.

Я некоторое время молчу, потом отхожу к чудом уцелевшему окну и выглядываю в него, рассматривая сад.

— А если вы были одержимы призраком? — говорю я слишком быстро, чтобы это не было подозрительным. Спиной, позвоночным столбом, костным мозгом я чувствую его взгляд.

— Призраки — порождение сознания волшебников. И людей.

— Да, — киваю я. — Я знаю.

Как и вампиры, единороги, оборотни. Все, что может себе представить волшебник — способно стать реальностью.

— Но я охотно верю в то, что я был одержим призраком, — вдруг говорит Мордред. — Призраком, который порожден чьим-то сознанием.

Его голос заставляет меня поежиться, он абсолютно холоден, даже не зол.

— Это то, почему ты на самом деле помогла мне, правда, Вивиана? Ты — совестливая девочка.

Он не делает ни шага, не совершает ни движения, но мне все равно становится ужасно страшно. Он знает, что мы виноваты в том, что Королева Опустошенных Земель вернулась. Мы призывали Номера Девятнадцать, и она пришла — в его обличье. Мы виноваты в том, что происходит, но мы понятия не имеем, как это можно было бы исправить. Я закусываю губу, судорожно стараясь скрыть от него свои мысли.

Мордред говорит:

— Все в порядке. Глупости совершают все. Я расскажу тебе одну очень личную вещь.

— Какую?

Мордред покачивается на пятках, потом отходит, садится за стол. Жестом, он приглашает меня сесть перед ним. Ровно как на дополнительных занятиях, будто ничего особенного не произошло. И я тоже играю в эту игру, сажусь, расправляю подол платья и смотрю на него так, будто ожидаю задания.

А потом он говорит:

— Это мы виновны в том, что произошло здесь девять лет назад.

Я открываю и закрываю рот, не зная, что сказать. Взрослые виноваты в резне и в том, что мы заперты здесь? Мне сразу же вспоминаются слова Гвиневры, они отчетливы настолько, что кажется звучат в моей голове.

Мордред говорит:

— Мы проводили эксперимент. В случае успеха, он должен был перевернуть магический мир. Мы хотели отделить наше собственное безумие от нас. Как бы разделить сознание. И уничтожить ту его часть, которая отвечает за наши специфические проблемы, сохранив при этом магию. Эксперимент прошел несколько не так. Вместо того, чтобы обезличить безумие, мы персонифицировали его. Так появилась Королева Опустошенных Земель. Она была всегда. Но никогда прежде у нее было образа и воли. Из столетия в столетие волшебники становились жертвами своего безумия. Название: Королева Опустошенных Земель, было чем-то вроде алхимического обозначения, как Дитя или Королевский Брак. Люди боялись называть это явление. Однако, никогда прежде безумие не отделялось от волшебника, не приобретало собственную, пусть и крайне отличающуюся от человеческой волю, и не могло передаваться другим волшебникам. Мы остались целы, потому что сидели в магическом круге, а вы остались целы благодаря случайности. Вы были слишком малы, чтобы безумие могло поглотить вас полностью. Вы лишь потеряли память. Королева Опустошенных Земель отделила нас от мира, Вивиана. И мы не знаем, как с ней справиться.

Я молчу. Мне ужасно неловко оттого, что я слышу правду. О ней можно было догадаться, в конце концов, взрослые выжили в той резне по какой-то причине. Теперь я знала о том, что причина эта весьма конкретного свойства. Они ее начали.

Ожидая прихода злости, я складываю руки на коленях. Я знаю, что Гвиневра или Моргана на моем месте пришли бы в ярость. Я знаю, что Ниветта не испытала бы никаких особенных чувств. Я знаю, что Кэй ничего бы не понял. И я знаю, что Гарет бы понял и простил.

Со мной же происходит что-то странное. Я как будто не совсем осознаю, что все это касается меня. Мне жаль Мордреда, Галахада и Ланселота. Из-за них погибло столько людей, многие из них наверняка были им близки. Из-за них погибли дети, подростки, молодые люди, мои ровесники. Из-за них мы оказались заперты на крохотном пятачке земли злым духом, порождением нашего сознания. И все же, я не могу воспринять это с праведным негодованием. Все произошло так давно и так случайно, а с тех пор эти люди были моими близкими, лечили меня, когда я болела, заботились обо мне и учили.

— Мне жаль, — говорю я, не уверенная даже в этом. Мордред кивает. Для него это формальность. Ему абсолютно все равно жаль мне или нет.

— То есть, — спрашиваю я, чтобы прервать неловкую паузу. — Королева Опустошенных Земель может принимать любой облик?

— Да. Ее форма определяется ожиданиями того, кто на нее смотрит.

Я впервые замечаю, что у Мордреда глаза человека нет, не безумного, не абсолютно безумного, но того, который вот-вот свихнется. Которого отделяет от безумия один лишь шаг, и оттого его взгляд так крепко цепляется за реальность. Я замечаю его предельную сосредоточенность, позволяющую ему держаться. Мне становится его жалко. Я вспоминаю свои ощущения, когда мне кажется, что я навредила кому-то или когда я уверена, что наврежу, когда мои фантазии почти подменяют воспоминания, и мне хочется плакать от

отчаяния. И в этот момент я знаю, что эти ощущения не сравнятся с настоящим безумием.

Пока. Однажды я стану сильной волшебницей, и все будет намного и намного хуже.

— Но почему она вернулась именно сейчас?

Мордред чуть вскидывает брови, и хотя выражение его лица становится несколько ироничным, взгляд не меняет своего значения.

— Я бы хотел спросить это у тебя. Я был с тобой предельно откровенен.

Не похоже, что он врет. Наверное, я ни разу не видела его таким искренним. Он столько раз лгал мне прежде, но сейчас кажется, будто я вижу его настоящего. И мне очень стыдно перед ним.

Спустя несколько секунд он добавляет:

— Ты будешь откровенна со мной?

Я смотрю на остановившиеся стрелки десятков часов на стене и мне кажется, будто я все еще слышу, как они отсчитывают время. Мордред повторяет, с чуть большим нажимом в голосе:

— Будешь?

— Буду, — киваю я. Отчего-то мне кажется, словно он что-то во мне сломал, легко, как ломают игрушки. Я не знаю, чем вызвано это чувство, и оттого оно еще более тревожнее.

— Номер Девятнадцать, — говорю я.

Мордред склоняет голову набок.

— Наша детская игра. Мы нашли на чердаке дневник какого-то мальчика. Его держали в лаборатории. На нем ставили какие-то эксперименты.

Я закрываю глаза, и все равно чувствую его взгляд. Я цитирую по памяти:

— Сегодня мне сказали, что у меня были мама и папа. Я это знаю. У всех есть мама и папа. Мама это женщина из рекламы хлопьев. На ней халат. Папа в очках. Он смотрит телевизор. Хлопья, это быстрый завтрак для всей семьи, содержащий углеводы. Углеводы расщепляются в нашем организме до глюкозы. Я все знаю. Меня привели в белую комнату (изнутри и снаружи), и передо мной сидели люди. Они спрашивали меня, что я чувствую. Я ответил, что не чувствую ничего. Тогда они спросили: почему? Я ответил, что это потому, что мне не делают больно. К моей голове были подключены провода. Я боялся, что они залезут мне в мозг. Но они только сказали, что мама и папа не хотели меня видеть, поэтому я оказался здесь. Я бы хотел, чтобы мои мама и папа тоже были здесь. Чтобы когда в мой спинной мозг лезли железными, холодными вещами, они держали меня за руку. Или лежали рядом. Номер Четыре сказал, что ему не хотелось бы видеть своих родителей. Номер Двенадцать уверен, что у нас нет родителей, и нам врут, а у него есть, и он их помнит. Я заплакал, когда мне сказали, что мама не хочет меня видеть. Но я не знаю почему, ведь я ничего не почувствовал. Они не пустили ток и не сделали разрез. Это хороший день. Сегодня я услышал песню: Дорога на призрачный город.

Открыв глаза, я вижу неподвижный взгляд Мордреда. Он говорит:

— На чердаке осталось множество разнообразных вещей. Эти записи могли принадлежать ученику. Сюда попадали разные люди из разных мест. Кроме того, эти записи могли быть вымышленными.

— Мы нашли их давным-давно. И мы воспринимали их всерьез. Постоянно читали, прислушиваясь. Нам было жаль Номера Девятнадцать. И он тоже никогда не видел мир.

— Этого ты знать не можешь.

— Почему?

— Потому что ты знаешь о его жизни только на момент написания этого дневника. Итак, вы читали душераздирающие записи какого-то мальчишки и тем самым дали образ Королеве Опустошенных Земель?

— Я не знаю.

— Иначе зачем ты мне это рассказала?

— Недавно мы перечитывали записи.

Я не решаюсь сказать абсолютную правду, но мне не хочется и лгать. Мордред не расспрашивает меня дальше. Он говорит:

— Я не виню вас. Вы не располагали достаточным количеством информации для того, чтобы не делать глупости. Это моя ошибка. Я ее исправлю. Нам всем нужно попытаться закрыть наш разум от духа, которым одержимо это место. Какую бы форму он не принял.

— Мы можем что-нибудь для этого сделать?

— Завтра.

Мы встаем одновременно.

— Спасибо за откровенность, — говорю я. — Я могу рассказать ребятам, что происходит?

— Я расскажу сам. Завтра.

Он взмахивает рукой, и часы на стене снова приобретают изначальный вид, возвращаются стрелки, выравниваются цифры, очищаются циферблаты, поблескивает стекло. Я слышу мерное, многоголосое тиканье, к которому здесь так привыкла. Он легко мог убраться с помощью магии. С самого начала. Но он делал это вручную, чтобы успокоиться.

— Вы защитите нас? — спрашиваю я. Мордред чуть склоняет голову набок, выражение лица у него становится задумчивым. Он говорит:

— Возможно.

Мы выходим вместе. Уже у двери, когда мы оказываемся близко-близко, я чувствую его запах. Он приятный, это горьковатый, почти аптечный запах чистоты. Я слышу, как Мордред вдыхает воздух, как будто он принюхивается к моему запаху. Ощущение секундное и странное, еще более неловкое, чем когда он положил руку мне на грудь. Случайно соприкоснувшись с ним у выхода, я вздрагиваю, резко подаюсь назад, так что прижимаюсь к нему спиной.

— Простите.

Мы вместе спускаемся по лестнице и не говорим ничего. Мордред снова начинает насвистывать свою любимую мелодию. У лестницы я слышу голоса ребят. Ниветта говорит:

— Но ты нам, разумеется, ничего не скажешь?

Я слышу звонкий смех Морганы. И Кэя, который причитает:

— Но мы же все можем умереть! Причем самой тупой смертью!

— Тупой, как ты!

— Заткнись, Гарет!

— Сам заткнись!

Мы с Мордредом одинаково тихо выглядываем из-за угла. В гостиной, на диване, сидит Ланселот. У него в руках гитара, а рядом с ним покоится полупустая бутылка виски, видимо, перенесенная в нашу вечную осажденную крепость из ближайшего большого магазина, которые еще называют супермаркетами.

Он смотрит на огонь, едва справляясь с раздражением, а потом вдруг улыбается во все

зубы.

— Лады, малышня. Чего хотите знать? Что происходит? Сейчас!

Он перебирает пальцами струны, вырывая из чрева гитары мелодичный перезвон. А потом вдруг начинает петь. Прежде я никогда не слышала, как Ланселот поет. У него оказывается глубокий, мелодичный голос. Ланселот поет с чувством, почти так же хорошо, как Кэй. А еще он поет, как взрослый. Взрослые вкладывают в свои песни что-то особенное. На самом деле мы тоже не маленькие, нам по девятнадцать. И все же мы не успели пережить чего-то такого, что сделало бы нас взрослыми.

А Ланселот — успел, и это делает его песню прекрасной. Но поет он не о себе, а о ком-то другом. Это чувствуется. Он поет балладу о Джиме Джонсе, и в то же время — не о нем.

Сначала ребята переглядываются, Кэй даже спрашивает:

— Чего?

А потом и они, и я, заслушиваемся голосом Ланселота. Он поет:

— Однажды ночью, когда этот город будет темен и тих, я убью вас одного за одним. Я дам вам всем немного удивиться, а пока, запомните: настанет время пожалеть, о том, что вы послали Джима Джонса в цепях в Ботани-бэй.

И в этот куплет Ланселот, кажется, вкладывает весь свой голос, и что-то еще, из своего сердца. Когда песня заканчивается, струны на гитаре Ланселота лопаются и режут ему руки. Он громко ругается, я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на Мордреда, но его уже нет рядом.

Заснуть мне удастся неожиданно легко. Я некоторое время думаю обо всем, что сказал мне Мордред, думаю, как рассказать об этом ребятам, и сползаю в приятную дремоту, где все это не имеет никакого значения. Меня будит стук в окно, нервный и аритмичный, будто кто-то кидает камушки. Иногда таким образом нас будит по утрам Кэй, но когда я открываю глаза, за окном еще темно, и в него любопытным глазом заглядывает луна. Я смотрю, как ветви жасмина сплетаются за моим окном, и думаю, что навязчивый стук мне приснился. Как только я собираюсь закрыть глаза и отчалить в прерванную дрему, стук повторяется. Маленькие камешки, друг за другом, три раза: тук-тук-тук.

— Кто там? — тихо спрашиваю я, осознавая всю абсурдность ситуации. Кто бы это ни был, он вряд ли услышит меня. Да и кто здесь может быть?

— Кэй? — зову я. За окном не откликаются. Еще один камушек с треском ударяется о стекло. Я переворачиваюсь на другой бок, зажимаю уши руками и пытаюсь заснуть. Тогда стук становится быстрым-быстрым, нестерпимо громким, будто все звучит у меня в голове. Со мной так бывает: я слышу какой-то звук, а потом мой мозг еще долго воспроизводит его, и я могу уловить в нем слова, которые пугают меня. Ненавижу это состояние. Я резко встаю с постели, подхожу к окну, прямо по лунной дорожке, рассекающей мою комнату надвое.

И все же мне не хочется знать, кто стоит внизу. Я некоторое время изучаю подоконник, прихожу к выводу, что его нужно помыть и только потом смотрю на того, кто ждет меня за окном.

Он стоит в лунном свете, босыми ногами на ровно подстриженном газоне. На нем больничные штаны и рубашка. И я узнаю его, мальчишку из моего сна. Номер Девятнадцать. Я резко щипаю себя за запястье, и боль оказывается совершенно реальна. Я не сплю. Номер Девятнадцать, бледный, тощий мальчик, смотрит на меня. Он довольно далеко, и я не могу разглядеть его лицо.

— Впусти меня, — говорит он. — Я устал. Мне страшно. Тут очень темно.

Реплики у него отрывистые, будто он просто озвучивает свои мысли, а не пытается ко мне обратиться.

Я мотаю головой.

— Я не могу, малыш, — говорю я. — Прости меня. Мы создали тебя. Ты не живой.

— Я не живой, — соглашается он.

— Ты не настоящий.

— Не настоящий.

Он делает шаг, неуверенный шаг ребенка, который никогда в жизни не бегал.

— Пожалуйста, — шепчу я. — Номер Девятнадцать, пойми, я не могу впустить тебя. Прости меня, малыш, прости.

Он делает еще шаг, и я вижу, что из-под воротника его рубашки струится кровь. Он весь дрожит. Ему холодно. Я прижимаю руку ко рту. Номер Девятнадцать стоит передо мной. Глазастый и худой, он почти не похож на человека, маленький призрак без единой живой черты.

— Что за женщина? — неожиданно для себя спрашиваю я. — Слепая женщина, за которую вы плакали. Слепая рыжая женщина.

— Я вырвал ей глаза, — говорит он. Номер Девятнадцать вытирает чистую руку о

грязную рубашку, как будто хочет стереть кровь, но наоборот ей пачкается.

— Это было легко, — добавляет он.

— Это была злая женщина?

— Я не знаю не злых взрослых.

— Я знаю, — отвечаю я. Номер Девятнадцать смотрит на меня своими бездонными глазами, в которых тонет лунный свет. Я сглатываю.

— Нет, — говорит он. — Ты думаешь, что знаешь. Выходи поиграть.

Я вижу, как кровь, вытекающая из Номера Девятнадцать окрашивает в темное траву. Я снова прижимаю руку ко рту, закусываю ногти. Галахад покрывал нам, на пару с Ниветтой, ногти горьким лаком, чтобы отучить от этой привычки. И я отучилась, а Ниветта нет. Но сейчас я вгрызаюсь в свои ногти с такой силой, что один из них трескается.

Меня трясет от страха, и в то же время мне жалко этого мальчишку, которого вызвали к жизни наши недетские игры. Я говорю:

— Только ненадолго, хорошо?

— У меня нет столько времени, сколько долго.

Я выхватываю из шкафа свою куртку, потом открываю окно и вылезаю вниз, забыв обуться. Трава под ногами мокрая и холодная от росы. Когда я подхожу ближе к Номеру Девятнадцать, она становится липкой от крови. Я закусываю губу, стараясь не смотреть вниз. Номер Девятнадцать, такой маленький и щуплый, стоит неподвижно, похожий на мираж. Он смотрит на меня своими бездонными, безразличными глазами. Его губы сжаты в болезненную струну, на шее кровоточат раны от уколов.

Я встаю на колени, чтобы было удобнее и накидываю на него куртку, закутываю его. Он не сопротивляется. Смотрит на меня сверху вниз, изучающим, холодным взглядом, каким эти чудовищные люди смотрели на него. Он и сам весь холодный, и я прижимаю его к себе, мне хочется его согреть.

Но это невозможно. Никто не смог бы согреть его.

— Ты не хочешь, чтобы я входил в твой дом, — говорит он. — Потому что я несу смерть.

Я прижимаю его к себе и глажу по голове.

— Да малыш, — говорю я, и ненавижу себя за это. — Прости меня.

— Но ты дала мне куртку.

— Да.

Он смотрит на меня, потом хватается за руку и говорит:

— Пойдем со мной.

— Куда мы пойдем? Ты хочешь играть?

— Я не знаю, как играют. Я сказал это, чтобы ты вышла. Мы будем смотреть. Я знаю, как смотрят.

Рука у него холодная, цепкие пальцы впиваются в меня почти до боли. Я иду за ним по мокрой от росы траве, и он ведет меня через сад, мы обходим спящие головки цветов, пока он не останавливается возле одной из хризантем. Он срывает цветок, без стебля, и протягивает мне, сжав, смяв испачканные его кровью лепестки.

— За куртку, — говорит он. — Не бывает ничего бесплатного. Я знаю, что ты любишь незабудки.

— Но хризантемы тоже очень красивые, — говорю я вежливо. Он вкладывает цветок в мою ладонь.

Мы идем к пруду и встаем у его кромки. Номер Девятнадцать заглядывает в зеркало темной воды. Он тянет меня за руку, побуждая сесть.

— Что ты хочешь смотреть? — спрашиваю я.

Номер Девятнадцать молчит. Он водит пальцем по воде, потом отдергивает руку, словно ему странно, что она — мокрая.

— Прекрати спрашивать, — говорит он, потом зажимает уши руками, мотает головой.

— Прости.

Номер Девятнадцать еще некоторое время молчит, а потом указывает пальцем вдаль, там где плакучие ивы образуют арку, в которой заканчивается наш мир.

Некоторое время я вижу только темноту. А потом в этой далекой темноте начинают появляться огни. Сначала они кажутся мне светлячками в бесконечной ночи, а потом я вижу, что это где-то далеко-далеко люди несут свечи. Я прислушиваюсь, и слышу песню, но не могу разобрать, о чем они поют.

Только силуэты, крохотные огоньки свечей и далекое пение. Кажется, будто эти люди шагают по воде, потому что я не знаю, где заканчивается пруд.

— Как красиво, — шепчу я. — Никогда прежде я не видела...

Часть мира.

Я нащупываю камушек и бросаю его как можно дальше. Еще в полете он истаивает, не достигнув воды. Огоньки продолжают виться в ночной тьме.

— Это красиво? — спрашивает Номер Девятнадцать. Я говорю:

— Да. Очень.

— Я смотрел в окно. Часто. Я видел другое здание. Там тоже были окна. А внизу стояли большие белые машины. Их называют фургоны. Я хотел, чтобы когда я буду смотреть в окно потом, я видел сад.

— Ты имеешь в виду рай? — спрашиваю я. Он прижимается ко мне, как звереныш, ища тепла, которое я не могу ему дать.

Обняв его, я говорю:

— Так я представляла рай. Когда о нем читала. Эдемский сад.

— Я не верю в Бога и рай. Если бы Бог существовал, он сам убил бы всех злых людей. Но это сделал я. А если бы не я, то никто.

— Ты защищал себя, Номер Девятнадцать.

— Я хотел жить. Номер Четыре умер. А Номер Двенадцать сдался. А я хотел жить.

— Сколько вас там было?

— Не знаю. Этого никто знать не может. Все же мертвы.

Он дрожит в моих объятиях, и я чувствую, что его маленькое сердечко бьется, упрямо и быстро.

— А ты — мертв? — спрашиваю я.

— Да. И нет. Можно по-разному сказать.

Мне хочется чтобы он заплакал, потому что я не представляю, как такое маленькое существо может нести в себе столько боли. Как такое маленькое существо может нести в себе только боль.

Она начинает дрожать сильнее, но слез у него нет.

— Тише, тише, малыш. Все давно закончилось, — шепчу я. — Посмотри вверх.

И он послушно смотрит, не как любопытный ребенок, а как пациент в больнице, которому готовятся закапать атропин в глаза.

— Видишь там две яркие звезды?

— Вижу.

— Знаешь, как они называются? Это Кастор и Поллукс. Как близнецы из греческого мифа. А там — Бетельгейзе, а здесь — Процион. Такие яркие звезды.

— Я называю их просто звезды. Зачем им имена?

— Они очень красивые, поэтому люди давали им имена.

— У меня нет имени.

Я замолкаю, он сильнее обнимает меня в ответ.

— Мне жаль, малыш, — говорю я. Он не двигается.

— Ты знаешь созвездия?

Номер Девятнадцать мотает головой. Я говорю, прочерчивая пальцем дорогу от звезды к звезде:

— Это Лев.

— Это не похоже на льва. Это просто две линии.

— Я с тобой абсолютно согласна. А от это Большая Медведица.

— Глупости. Звезды, это точки,двигающиеся по небу, которые можно соединить произвольно. Почему так?

— Раньше люди смотрели на звезды и представляли картинки. Так повелось.

Он молчит некоторое время, и я чувствую, что начинаю замерзать. Процессия издалека исчезает. Я не вижу больше ни одного огонька, и мне обидно почти до слез.

— У тебя нежные руки, — говорит Номер Девятнадцать.

— Тебе так кажется.

Потому что ты видел только одинаковые руки в латексных перчатках.

— Нет, — говорит он упрямо. — У тебя нежные руки.

— Ты пришел убить нас? — спрашиваю я.

— Не знаю.

Мы одновременно смотрим вверх, на звезды.

— Что это за звезда? — спрашивает Номер Девятнадцать, указав пальцем в небо.

— Не знаю. Я не знаю всех звезд. Их миллиарды, названия всем не дали даже астрономы.

— Нет, — говорит Номер Девятнадцать безо всякой связи с предыдущими репликами. — Я не пришел вас убить. Я пришел за чем-то, о чем забыл. Если чтобы вспомнить придется вас убить, я вас убью.

— Ты не испытываешь жалости?

— Я не умею испытывать этого. Обними меня крепче. Мне страшно.

— Почему тебе страшно, малыш?

Когда я обнимаю его крепче, то чувствую железный, жутковатый запах крови, от него исходящий. Я утыкаюсь носом ему в макушку. Нет такого тепла, которое отогрело бы его, ничто не может успокоить его.

— Здесь темно. Как когда закрываешь глаза. Когда закрываешь глаза, значит будет больно. Спать страшно.

Ночной воздух доносит до меня аромат цветов и травы, причудливо мешающийся с запахом крови.

— Я бы хотел уметь считать время, — говорит Номер Девятнадцать. — До того как они придут.

— Хочешь я подарю тебе часы?

— Дурочка, — отвечает он. — Ты сидишь с мертвым мальчиком на краю пустоты.

— Ты мертвый?

— Я рожден мертвым. В каком-то смысле.

Слова эти, совершенно точно не принадлежащие ему, сказанные каким-то злым взрослым, которые он повторяет так бездумно. почти ранят меня.

— Неправда, — говорю я. Но мне нечем подтвердить свои слова. Я замолкаю. Он, вывернувшись из моих объятий, скидывает измазанную кровью куртку. Его больничная рубашка и штаны блестят в свете луны, они полностью покрыты кровью, из мятно-зеленой его одежда превратилась в алую. И это не только его кровь. В одном щуплом мальчишке просто не может быть столько крови. Но он кровоточит, все тело его кровоточит.

Я отползаю, он смотрит на меня, спрашивает:

— Тебя тошнит?

— Нет.

— У меня такое лицо, когда меня от чего-то тошнит.

А потом он разворачивается к пруду, делает шаг и вступает в воду. Кровь окрашивает лунную дорожку на воде в розовый. Номер Девятнадцать идет все дальше, и я кидаюсь за ним, ругая себя за промедление, которое в этом случае, разумеется, не подобно смерти. Я влетаю в воду, поднимая брызги, но Номер Девятнадцать уже исчезает в темноте. Я не могу найти его, не могу нащупать в темноте, не могу увидеть. Я зову его, зная, как это глупо.

Он просто исчез. Наконец, продрогшая насквозь, ошалевшая от страха и чувства вины, не имеющего ничего общего с реальностью, я вылезаю на сушу. Рядом с моей курткой валяется измазанная кровью головка хризантемы.

Я натягиваю куртку, не переставая дрожать. Мне так холодно, что даже больно. С ночной рубашки, окрасившейся розовым, капает. Чуть подумав, я поднимаю с земли и хризантему, мои дрожащие пальцы конвульсивно сминают ее.

Домой я собираюсь бежать, но ноги едва ходят. И этот неприятный факт оказывает мне неожиданно большую услугу. Еще издали я замечаю огоньки сигарет. Ровно три. В беседке, похожей на клетку для птиц с извилистыми перилами и обнимающими остов прутьями, увитыми плющом, сидят взрослые.

Красные точки их сигарет, будто маячки, сигнализируют мне остановиться. Я ныряю под терновый куст, больно поранив ладони. Я не хочу, чтобы они заметили, что я шляюсь куда-то ночью. Или, если быть совсем честной, я хочу знать, почему ночью шляются они.

Я слышу их голоса. Довольно отчетливо, я не так уж далеко от них. Однако не вижу их, исключая огоньки сигарет, в темноте, сквозь ветви куста. Мне ничего не остается, кроме как слушать. Говорит Галахад:

— Успокойтесь. Мы должны подумать о том, как действовать дальше. Потому что, сюрприз, если мы не подумаем об этом, нам конец.

— Какая рациональная мысль, — рывкает Ланселот. — А то бы мы без тебя не додумались. Не зря помирал, если получил такую вечную мудрость.

— Ладно, я передумал. Если ты не заткнешься, я воткну этот скальпель в твою башку.

— Хватит силы?

— Хватит злости.

Только затем я слышу голос Мордреда:

— Мне надоело.

И Ланселот, и Галахад сразу замолкают.

Через полминуты, Ланселот говорит:

— Нам нужно им сказать.

— О, и как ты себе это представляешь, гений?

Они с Галахадом ругаются, однако настоящей злости в их словах нет. Скорее они по-своему теплы. Мордред остается холоден.

— Они ничего не должны знать. По крайней мере, пока. Я не собираюсь нарушать наши планы из-за какой-то случайности.

— Но это не случайность, — говорит Галахад. — Что-то происходит, и ты это знаешь. Ты это чувствуешь.

— Да.

— Так вот, — говорит Ланселот. — Мы твои друзья. Нас беспокоит то, что с тобой происходит.

— Со мной все в порядке. Происходит здесь.

Я слышу стук, это Мордред ударяет по перилам.

— То, что происходит здесь не может не касаться тебя, — говорит Галахад как можно более мягко.

— А то, что происходит с тобой не может не касаться нас! — рявкает Ланселот.

— И детей, — добавляет Галахад.

— Они уже не дети, — говорит Мордред.

— И кстати, мистер Очарование, если ты забыл, то моя жизнь зависит от того, что происходит.

— В таком случае присмотри за тем, чтобы все оставалось сокрытым. Это твоя главная забота. Она напрямую связана с нашим выживанием.

— Продолжай делать вид, что не понимаешь, о чем я, и...

— И что? — спрашивает Мордред. Галахад и Ланселот молчат.

— Я втянул вас в это, — говорит Мордред. — Зная, что я справлюсь. Мое мнение не изменилось, а ваше — да. Только никто уже не может сделать шаг назад. Его просто некуда делать. На сегодня все. Я больше ничего не хочу обсуждать.

Они еще некоторое время ругаются, по большей части грязно, и все же истинной злости в голосах Ланселота и Галахада не появляется. Я впервые понимаю, что они — большие друзья, чем мы думали. И что они любят Мордреда.

Я слышу шаги, Ланселот и Галахад продолжают переговариваться. Когда их голоса затихают, я собираюсь подняться на ноги, но в этот момент меня вздергивают вверх. Мордред стоит прямо за мной.

— Что ты здесь делаешь? — спрашивает он. Голос у него спокойный, но глубоко внутри в этом голосе злость. Он держит меня за воротник куртки, потом отпускает. Мордред смотрит на мою мокрую ночную рубашку, и на секунду, только на секунду, мне кажется, что он сейчас сорвет ее с меня. Что-то в его взгляде говорит об этом, и мне становится стыдно, хотя еще секунду назад я и не думала, что выгляжу неприлично. Я быстро застегиваю куртку, продолжая дрожать.

— Извините, — говорю я. — Я купалась.

— Что?

Я говорю первое, что пришло мне в голову и, к сожалению, это первое не является хоть сколько-нибудь разумным.

Мордред головой кивает в сторону дома.

— Пойдем, — говорит он. И я чувствую больше, чем вижу — он очень зол.

Я молча иду впереди, чувствую спиной его взгляд. Он ни о чем не спрашивает, и я очень благодарна ему за это. Я думаю о разговоре взрослых, который я слышала. Я стараюсь как бы сопоставить его с тем, что говорил мне Мордред, будто наложить одну картинку на другую, и увидеть, как выбиваются контуры.

Что должно оставаться сокрытым? Их участие в ритуале, материализовавшем Королеву Опустошенных Земель?

— Прекрати, — говорит Мордред.

— Прекратить что? — спрашиваю я. Но он не отвечает. Возможно, он говорил вовсе не со мной. В доме тихо, мы вступаем в темноту. Мордред позади меня начинает насвистывать свою вечную мелодию. И несмотря на то, что мы идем по темному холлу, где не горит камин и куда с трудом заглядывают даже звезды из-за плотно задернутых занавесок, меня этот свист успокаивает. Приятная мелодия, думаю я, совсем не жутковато. Я почти достигаю безмятежности, но спустя пару секунд этот свист начинает двоиться. Будто абсолютно в ту же секунду, абсолютно с той же нотой и неизменно ту же мелодию начинает насвистывать кто-то еще.

Я сплываю. Почти против воли мой взгляд обращается к коридору, ведущему к комнатам. И я вижу Номера Девятнадцать, которого я потеряла в пруду. Он насвистывает песенку Мордреда, лунный свет выхватывает его окровавленную рубашку. Номер Девятнадцать идет, широко раскинув руки. Кровь капает с его пальцев, и он оставляет полосы на дверях комнат моих друзей.

Я бросаюсь было в коридор, за ним, но Мордред перехватывает меня за воротник куртки.

— Это лишь фантом. Твои страхи.

Неожиданно для себя я говорю:

— Вы лжете!

Ровно за секунду до того, как камин вспыхивает золотым пламенем, которое почти ослепляет меня. Я выворачиваюсь из хватки Мордреда, оставляя окровавленную куртку у него в руках, бегу в коридор, но Номера Девятнадцать уже и след простыл, коридор пуст. Прежде, чем мне удастся себя остановить, я стучу в первую дверь на моем пути, дверь Кэя.

— Эй! Тут вообще-то человек спит, если кто не знает!

— Кэй! — зову я.

И уже через пару секунд он выглядывает, растрепанный, сонный и все еще очень красивый.

— Что случилось? — спрашивает он взволнованно, а потом видит, что моя ночная рубашка мокрая и розовая от крови, делает большие, круглые глаза и распахивает дверь настежь.

— Здесь Номер Девятнадцать! — шепчу я.

— Блин! Вот блин! Блинский блин же!

— Ты очень помогаешь, Кэй, — говорю я.

Мы вместе бросаемся к двери Ниветты. Когда мы распахиваем ее, Ниветта стоит у стены и грызет ноготь на большом пальце. Заметив нас, она поворачивает голову, уставившись своими бесцветными глазами в какую-то глубину, куда я никогда не решалась смотреть.

Она говорит:

— Теперь он здесь.

Мы смотрим на нее, открыв рты.

— В холл, — рывкает она с неожиданной резкостью. — Нужно держаться вместе!

Мы поддаемся этому командирскому тону, пулей вылетаем из комнаты, ломимся к Гарету.

— Что вам надо? — спрашивает он. — Отвалите!

— Мы хотим спасти тебя, тупой ты идиот, — говорит Кэй.

— Сам идиот. От чего спасать?

Я смотрю на стены и двери. Они совершенно чистые. На них никакой крови. Но стоит мне моргнуть, и я вижу, как кровь проступает, будто через бумагу, сквозь дерево. Я пишу:

— От ужасной смерти! Наверное!

Это заставляет Гарета выглянуть.

— Насколько ужасной? — спрашивает он. Кэй выдергивает его за воротник пижамы. Комната Гвинекры пуста, и мы бежим к Моргане, но она открывает дверь сама.

— Привет, мышонок, — говорит она. — И привет, красавчик. Вас очень сложно не услышать. Хорошая ночнушка, Вивиана. Еще лучше прежней.

Я думаю о том, что Мордред мог остановить меня в любую секунду. Но он позволяет нам с Кэем сеять панику. Наверное, Мордред хочет, чтобы я собрала всех. Наверное, он не видит другого выхода.

— Нужно пойти за Гвинекрой, — говорю я. И прежде, чем находятся какие-либо добровольцы, я беру за рукав Кэя и тяну за собой.

— А с чего это мы? — спрашивает Кэй.

— Потому что мне страшно!

— Так мне тоже!

Мы взбегаем вверх по лестнице, я оборачиваюсь, и вижу, как Морган и Ниветта ведут Гарета за собой в гостиную.

— Я тоже хочу туда!

— Заткнись, бесполезный кусок Кэя, — говорю я.

Бесполезный кусок Кэя — ругательство, которое мы придумали еще в детстве. Ирония заключалась в том, что все, что кажется нам бессмысленным было бесполезным куском Кэя. Однако Кэй был нашим целым, бесполезным и любимым Кэем, оттого страдал от данного ругательства намного реже остальных, лишь в моменты абсолютной бессмысленности.

— Ты злая какая! — говорит Кэй недовольно, а потом мы оба замолкаем. Свет в коридоре мигает, и это вовсе не теплый, золотистый свет наших ламп в прозрачных бутонах люстр. Это больничный, белый, неприятно-хирургический свет, окрашивающий устеленный ковром холл в несвойственные ему цвета. Освещение так не сочетается с обстановкой, что это на пару секунд заставляет мои мысли зависнуть, будто механизм, приводящий их в движение натолкнулся на какую-то лишнюю деталь, сломанную шестеренку.

Когда свет в очередной раз вспыхивает, мы видим в его режущем глаза ореоле надпись, видимо, тоже выполненную кровью. Буквы в ней меняются, так что каждый раз я замечаю иное слово.

Я вижу: поглоти своих врагов.

Я вижу: вместе навсегда.

Я вижу: куколки уснут.

Я вижу: прилив неизбежен.

Я вижу: корми их ненавистью.

Я вижу: безымянное, бесконечное.

И вижу: друзья до конца.

Надписи меняются так быстро, что далеко не все я могу рассмотреть. Кэй вцепляется мне в руку почти до боли, и я понимаю, что ему еще страшнее, чем мне.

Краем уха я улавливаю сигналы, пищание каких-то приборов, как в фильмах про больницу, которое мешается с звуком кардиографа, показывающего ровную-ровную прямую. Выдохнув, я делаю шаг вперед. В этот момент дверь со скрипом открывается, мы с Кэем визжим одинаково громко и высоко. Свет перестает мигать, в коридоре воцаряется темнота. Прижавшись друг к другу мы с Кэем продолжаем голосить, пока не слышим голос Ланселота.

— Да заткните уже хлебала, Господа ради!

Первой выходит Гвиневра, она не в ночнушке, а в юбке и блузке, вполне готовая к перемещениям. Вслед за ней выходят Ланселот и Галахад, похожие на ее охрану.

— Спускайтесь вниз. Не на что тут глазеть, детишки, — говорит Галахад.

Вместо ужаса, хватавшего меня за горло до сих пор, меня вдруг с головой накрывает ажиотаж. Я чувствую, что мы все вместе, и что все происходящее страшно скорее в приятном смысле. Будто мы все оказались в фильме ужасов, но я знаю, что мы выживем.

Впрочем, тут же отзывается часть меня, где это ты видела фильмы ужасов, в которых выживают абсолютно все. Некоторые части композиции нельзя отместить без потери самости жанра.

Мы с Кэем подходим к Гвиневре, но она вскидывает голову. В ее глазах мелькает что-то вроде "я же говорила", но я не совсем понимаю, к чему относится это надменное выражение ее лица. По крайней мере, о Номере Девятнадцать Гвиневра прежде не говорила ничего, кроме того, что это все глупости, которыми мы занимаемся, чтобы проявить свою звериную сущность в условиях абсолютно замкнутого общества и легитимизировать и ритуализировать агрессию.

— Ты в порядке вообще? — спрашивает Кэй.

— В большем, чем вы думаете.

Даже в темноте я могу разглядеть тонкие, едва-едва заметные белые шрамы, оставшиеся на ее лице. Скоро и они исчезнут.

— Ты видела... — начинаю было я.

— В моей палате билось стекло и летали книги. Мне пришлось спрятаться под кроватью. Достаточно унижительных подробностей для тебя?

Я замолкаю, мы с Кэем переглядываемся. Взрослые идут вслед за нами, и мне становится спокойнее. Все тихо, эта безумная ночь вдруг превращается в обычную, и я почти жалею об этом.

Мы спускаемся в гостиную, где на обоях замерли в вечном полете бабочки, окруженные завитушками растений, где теплый и пушистый ковер на котором мы с Морганой так любим валяться, где ребята и свет камина, и все то, что я привыкла вспоминать при слове "семья".

Очень похоже на обычные посиделки вечерами, однако слишком много взрослых и все слишком напряжены. Мы с Кэем махаем Моргане и Ниветте, Ниветта авторитетно кивает, а Морганка чуть вскидывает бровь и совершает едва заметное движение головой в сторону взрослых. Я вижу, что ей очень тяжело сдержаться. То, о чем она мечтала — исполнено.

Номер Девятнадцать здесь.

Только, кажется, вовсе не для того, чтобы нас спасти. По крайней мере, у меня такого впечатления не сложилось. Я занимаю свое место на полу, рядом с Морганой, Кэй садится на диван, а Гвиневра встает у кресла, где сидит Гарет. Около камина, смотря в огонь, стоит Мордред. Он не отводит взгляда от пляшущих языков пламени, говорит:

— Время довольно позднее, и мне не хотелось беспокоить вас до утра. Я полагал, что это может подождать.

Ответом ему является только тишина. Мы все впериваемся в него взглядами, неотрывно глядя ему в спину.

— Очевидно, я ошибался.

Моргана берет меня за руку, мы переплетаем пальцы. Я чувствую, как дрожит ее рука.

— Кто из вас видел его?

Моргана, я и Ниветта поднимаем руки. Чуть подождав, это делает и Гвиневра. Мордред не оборачивается, чтобы посмотреть, кто из нас столкнулся с Номером Девятнадцать лично.

— Вы должны понимать, что он не реален в полном смысле этого слова.

— Но он настоящий! — говорит Моргана со страстью, которую она редко выражает при взрослых. Мордред наконец оборачивается. Лицо его сохраняет спокойное выражение, глаза остаются безразличными.

— Да, Моргана. Чем больше ты веришь в его присутствие, тем больше силы он приобретает. Из-за того, что вы слишком часто обращались к этой истории с чердака все и началось.

Я чувствую, как Моргана впивается ногтями мне в ладонь, издаю слабый писк. Мордред, кажется, замечает это. Он говорит:

— Вам стоило бы читать друг другу что-нибудь другое, когда вы были детьми.

Хватка Морганы чуть ослабевает, она понимает, что я не сказала всего. Я оборачиваюсь, чтобы увидеть взрослых. Ланселот и Галахад стоят у стены, довольно далеко от нас. Они тоже смотрят на Мордреда, смотрят с ожиданием.

Я вырываю руку из хватки Морганы, вижу три наполненных кровью лунки от ее ногтей. Как полумесяцы, думаю я, сочащиеся кровью.

Мордред говорит:

— Так называемый Номер Девятнадцать, это лишь одно из проявлений Королевы Опустошенных Земель. Которой вы открыли врата. По незнанию, и все же, это сделали вы. Но вы не первые, кто допустил такую ошибку.

Мордред рассказывает нам ту же историю, которую рассказал мне. Я смотрю на Ланселота и Галахада. Галахад задумчиво кивает, погруженный в свои мысли, а Ланселот смотрит в окно. Им стыдно, думаю я, похоже на то.

Однажды Галахад рассказывал нам, почему мы все носим эти имена из "Смерти Артура". После резни никто из выживших не помнил ничего о своей жизни, даже собственное имя. Мы ничего не помнили. Они взяли первую попавшуюся им книгу, и назвали нас. И назвали себя, потому как их старая жизнь закончилась.

Теперь Мордред впервые открыто говорит о том, почему их воспоминания сохранились. Ниветта неотрывно смотрит на него своими жуткими глазами, Кэй пытается со всеми переглянуться, чтобы выяснить, как относиться к новости, Гвиневра поджимает губы, скидывает брови, монолог явно не удовлетворяет ее полностью и все же открывает какие-то ответы. Моргана сидит с отсутствующим видом, кроме Номера Девятнадцать ее ничто в этой

истории не волнует. И только Гарет продолжает просто внимательно слушать, сиюсь понять.

Мордред говорит:

— Завтра мы проведем совместный ритуал, чтобы закрыть свой разум. Королева Опустошенных Земель не опасна, пока вы не накормите ее до отказа. Для нашей же безопасности мы проведем ритуал, чтобы быть невосприимчивыми к ее влиянию.

— Вы имеете в виду, — говорит Гвиневра. — Что мы не будем видеть и слышать проявления ее активности. Но не сделает ли это ее еще более опасной?

Мордред смотрит на часы, приподняв их за цепочку.

— Только незапятнанный получит силу, — говорит он так тихо, что мне кажется, будто это слышу только я.

Мордред снова оборачивается к огню, а потом добавляет:

— Она не опасна до определенной стадии. Если в нужный момент отрезать ей доступ к нашим страхам и фантазиям, она зачахнет. Она ничего не может сделать.

Именно в этот момент огонь в камине гаснет, будто его мгновенно задул кто-то очень большой, кто наблюдал за нами все это время. Мордред стоит неподвижно, будто все еще наблюдает за несуществующим огнем. Мы с Морганой прижимаемся друг к другу, я от страха, она от возбуждения. Кэй сползает к нам, как и Ниветта. Чуть подумав, пару шагов вперед делает Гвиневра, а Гарет пулей слетает с кресла.

— Ребята!

— Отвали, Гарет! — говорит Морган, когда он ее обнимает.

Я чувствую, что дрожу.

— Галахад! — зовет Морган.

— Мордред прав, — говорит Галахад ласково. — Сохраняйте спокойствие. Все будет в...

Наверное, он хотел сказать "в порядке", но мне на ум приходит другое словосочетание, потому как именно в этот момент в окна начинают биться мертвые ласточки. Они оставляют пятна собственной крови на стекле, но не могут его разбить. Гвиневра кричит, и я протягиваю ей руку, за которую она тут же хватается.

Мы превращаемся в один большой, испуганный комок. Ласточки продолжают биться о стекла, так что окна становятся красными от крови с редкими сгустками налипших внутренностей. Ласточек вокруг даже не огромная стая, их целый рой, как насекомых. Я с легкостью представляю, как они застилают весь наш довольно просторный особняк, так что не остается ни клочка неба над нами. Они вьются, бьются, их голоса наполняют гостиную. Ласточки поют, кричат и трещат в пародии на свои живые голоса, однако она выходит атональной, неправильной, вызывающей внутренний трепет своей инаковостью.

— Сделайте что-нибудь! — говорит Гвиневра, но взрослые не двигаются. Впрочем, это не значит, что они ничего не делают. Окна полностью окрашиваются красным, однако остаются целыми.

Я думаю о том, что будет если этот птичий рой ворвется внутрь. Какая страшная смерть, думаю я, от кровопотери из маленьких ранок, заставляющей слабеть все сильнее с каждой секундой. Впрочем, меня утешает, что скорее мы все умрем от удушья, когда черно-красная армия ворвется внутрь. Гвиневра вцепилась в меня безо всякого такта, я чувствую ее хватку, сжимающую мои ребра, и мне даже становится тяжело дышать.

А потом, в один момент, все заканчивается. Будто дирижируя, Мордред хлопает в

ладоши, а потом резко разводит руки. Тяжелые шторы тут же снова смыкаются, заглушая звуки ударов, но ничуть не утихомиривая крики мертвых ласточек. Свет мгновенно зажигается, и я вижу, почему Мордред так и не отвернулся от камина, даже когда огонь погас, почему он ни на секунду не отвел взгляда.

Над камином, там где бабочки сплетаются с цветами на наших белых обоях, выведенная детским, кривым, дурацким почерком, подведенная цветными карандашами чьей-то старательной рукой, красуется надпись: испугались темноты?

Точка под знаком вопроса большая и разрисована всеми цветами радуги, которые переходят в друг друга в ее зыбких, неровных границах. Кто-то явно старался нас удивить, используя понятия ребенка о красивом. Так я нарисовала бы открытку маме лет в одиннадцать, если бы только мама у меня когда-нибудь была.

— Ланселот, Галахад, мы должны начать готовиться к ритуалу, — говорит Мордред так, будто на его глазах кто-то только что испортил обои, прихлопнув на них комара.

Удары ласточек о стекло не прекращаются.

Пока взрослые готовятся к ритуалу, вытаскивают кристаллы с чердака, чертят схемы и ругаются, Моргана задумчиво смотрит на меня, Ниветту, Кэя и, наконец, берет за руку меня.

— Быстрее!

— Эй! — говорит Кэй. — Куда вы?

— Расскажу потом, милый, — шепчет Моргана. — Если мы все уйдем, это будет подозрительнее. Мне нужен кто-то один. Быстро, Вивиана!

Я не чувствую особенных порывов вдохновения в сторону бунтарства Морганы, особенно если учитывать, что ласточки до сих пор пор быются в окно, и я даже не знаю, расцвело ли, и голова у меня тяжелая, и больше всего на свете я хочу, наконец, поспать. Однако Моргана, если уж вбила себе в голову что-нибудь, никогда не отступит. Она тащит меня наверх, пока Ланселот расставляет кристаллы, а Галахад чертит на полу печати. Мордред сидит в кресле, закрыв глаза, выражение лица у него очень сосредоточенное, и я рада, что он не видит, как мы уходим.

Мы идем в комнату Морганы. Здесь нежные, глазировано-розовые обои на которых цветут белые лилии, розовое постельное белье, косметика и книжки, разбросанные по комнате. Все тут удивительно детское, по крайней мере выглядит таковым, но я знаю, что у Морганы полно тайников с ножами и иглами, нужными для служений Номеру Девятнадцать, так что в этой девичьей глазури скрываются все наши самые страшные тайны. Я вижу на кровати, рядом с подушкой, "Дельту Венеры" Анаис Нин. На обложке женщина, чьего лица совершенно не видно, подтягивает чулок. Я знаю, что "Дельта Венеры" это поэтическое название женской лобковой области и знаю, что Анаис Нин пишет порнографические романы, которые, тем не менее так красивы, что восходят к искусству. Мои щеки заливают краска, Моргана хмыкает:

— Дам почитать, если выживем.

Я смотрю в окно. За занавесками с парящими птичками, стекло измазанное птичьей кровью едва пропускает солнце, и ласточки продолжают ударяться о него. Комната Морганы сейчас выглядит сюрреалистично — девичий интерьер, порнографический роман у изголовья кровати и окна, измазанные кровью.

Моргана лезет под кровать, долго копается там, среди шкатулок и тайников. Я слышу ее приглушенный голос и вижу открытую, белую кожу ее бедра, оттого что юбка смялась. Я не знаю, будет этичнее поправить ее или дожждаться, пока Моргана встанет, поэтому просто смотрю.

— Как мы могли не догадаться про ласточек, мышонок? — спрашивает Моргана. — Это ведь с самого начала было очевидно!

— Очевидно? — переспрашиваю я, облизнув губы.

— Конечно! Ласточки!

Моргана вытягивает из-под кровати шкатулку, белую, блестящую, с нарисованными на ней танцующими балеринами и маленьким, позолоченным замочком. Ключик Моргана долго ищет в связке, которую хранит в кармане. Перевязанные атласной ленточкой ключи от ее шкатулок кажутся мне совершенно одинаковыми, но Моргана всегда безошибочно определяет, какому замку они принадлежат.

— Три тысячи девятьсот девяностый, — говорит Моргана напевно. — Мои птицы,

которые свили гнездо под крышей и иногда сидели у моего окна и даже просовывали головки до красных горлышек сквозь решетку, мертвы. Сегодня человек в белом халате, которого я не видел прежде, принес их мне. Они были в контейнерах, где на пластиковом дне растеклись их внутренности. Им провели вскрытие. Но когда вскрывают людей, их органы обычно вынимают, взвешивают. Мне стало жалко моих птиц. Они смотрели на меня, когда мне было больно или страшно. Я доверял им. Мужчина спросил меня о том, что я чувствую. Он открыл контейнер и больше не задавал вопросов. Я протянул руку и засунул пальцы в разрез на брюхе одной из птиц. Там было липко, и я понял, что она больше не запоет. Я не ответил на вопрос мужчины в белом халате. Кровь была холодная и липкая, я вытер ее о рубашку и обернулся к окну. Нельзя было показывать им, что я уязвим. Я спросил, что это были за птицы. И он ответил: ласточки. Когда он понял, что я не отвечу ему языком, то подсоединил ко мне проводки. Было не больно, он снимал показатели электрической активности мозга. Мне стало обидно, потому, что я не могу ничего скрыть. Мужчина мог подумать, что мне грустно из-за ласточек. Сегодня я слышал песню: Колыбельная в птичьей стране.

Моргана заканчивает говорить, и голос ее тут же меняется:

— Вот мы идиоты! Мы должны были понять сразу. Он пришел. Он пришел за нами. Потому что мы звали.

— Это абсолютно точно, — говорю я. — Только не уверена, что он пришел нам помочь.

— Заткнись, мышонок. Мы близки к свободе. Как никогда. И мы не можем позволить взрослым все испортить.

Я закрываю рот. Далеко не всегда Моргана не отличается особенным стратегическим мышлением, но я не могу ее не слушать. Моргана открывает шкатулку и достает оттуда сиреневый, светящийся кристалл на цепочке. Я не сразу понимаю, что сам кристалл — абсолютно бесцветный, а сиреневым в нем переливается какая-то жидкость, прозрачная и наполненная цветом одновременно, чуть светящаяся в полутьме.

— Что это? — спрашиваю я.

— Защита от магии. Это мне подарил Галахад. Но я уверена, что он узнает, когда я ей воспользуюсь.

— Узнает?

— Да. Он ее сделал. Он это почувствует. Я хочу, чтобы ты скопировала это. В часы или куда там, как тебя учил Мордред. И мы разделим заклинание вместе. Этого хватит, чтобы продолжать видеть и слышать.

Я не уточняю у Морганы, хотим ли мы продолжать видеть и слышать. И все же, часть меня абсолютно уверена в том, что ответ не в слепоте и глухоте, не в молчании. Что Мордред и остальные хотят что-то от нас скрыть.

— Не уверена, что у меня получится скопировать заклинание. Я ведь не знаю, как оно создавалось.

— Попробуй. Давай, мышонок, ты можешь.

Я беру кристалл на тонкой серебряной цепочке. Он тяжелый и холодный, в моей руке будто зажат кусок не тающего льда, который почти причиняет мне боль.

— Будет легче, если заклинание распространится только на тебя, — говорю я.

— Нет, — отрезает Моргана. — Я не хочу, чтобы ты осталась за бортом. Ты мне помогаешь, а поэтому заслуживаешь знать.

Я пожимаю плечами. На самом-то деле я очень хорошо понимаю, чего хочет Моргана.

Или, вернее сказать, чего она не хочет — оставаться один на один с тем, что увидит. То, что делают взрослые может быть не совсем честно, но довольно милосердно.

Ласточки, думаю я, и пытаюсь вспомнить, что еще может показать нам Номер Девятнадцать. Что он любил, что ненавидел.

— Сейчас, — говорит Моргана и лезет в тумбочку, опять роется в поисках чего-то. А я снова и снова прокручиваю в голове дневник Номер Девятнадцать. Что он любил? Таблетки, потому что от них переставало быть больно, а иногда даже становилось хорошо. Ему нравилось, когда приносят таблетки в крохотном пластиковом стаканчике, он любил складывать из них слова, играть ими. Еще он любил железные инструменты, они блестели и казались ему самым красивым, что есть на свете. Хирургические инструменты, которыми резали его тело заменили ему восхищение цветами и небом. Еще ему нравились сросшиеся близнецы, которых он иногда видел. Над ними тоже ставился эксперимент, но, судя по всему, иной, чем над Номером Девятнадцать, Четыре и Двенадцать. Номеру Девятнадцать нравилось, как они выглядят и нравилось, что они никогда не бывают одиноки.

— Что еще нравилось Номеру Девятнадцать? — задумчиво спрашиваю я.

— Опухоли, — легко отвечает Моргана. — Номер Девятнадцать восхищался способностью раковых клеток преодолевать сопротивление живых организмов. Адаптивность, способность прорасти где угодно. И еще он любил банановый пудинг и шоколадное молоко.

— Не думаю, что нам стоит опасаться призраков бананового пудинга, — говорю я.

— Совершенно точно не стоит, — смеется Моргана, хотя я вовсе не была намерена пошутить. — Нам стоит опасаться Маленьких Друзей. Я, если честно, сколько не перечитывала, так и не поняла, что это за штуки.

— По-моему, его воображаемые друзья, которых он мучил и наделял разными болезнями.

Моргана пожимает плечами, а потом, наконец, достает то, что искала. Я вспоминаю эту вещь сразу же и невольно улыбаюсь. Карманные часы, которые я подарила Моргане на ее тринадцатый день рожденья. Одни из первых, которые я собрала. Они позолочены, с резной крышкой, где тонкие-тонкие нити металла сплетаются в узор, похожий на восточную вязь. По краям крышки следуют друг за другом рыбки с завитыми хвостами. Я беру у Морганы часы, смотрю на них. Надо же, Моргана их сохранила, хотя ни разу не носила с собой. На обратной стороне моей рукой выцарапано "Лучшие друзья навсегда".

— Немного портит красоту, правда? — спрашиваю я.

— Нет. Это самая лучшая их часть, мышонок.

Я снова верчу часы в руке. Они все еще ходят, моя магия до сих пор поддерживает ток времени в них, и, сверив черные, витые стрелки со стрелками на своих часах, я убеждаюсь, что заклинание до сих пор работает без перебоев — ни на секунду не отстают, ни на секунду не спешат. Хорошие часы, думаю я, хорошая работа, Вивиана.

— Они связывают нас. И тебе привычно работать с часами.

Я кладу перед собой часы и кулон, мы с Морганой сидим на кровати, похожие, наверное, на маленьких девочек со своими сокровищами. Моргана ободряюще улыбается мне и, видит Бог или любая другая сила во Вселенной о которой в книгах не пишут, ничего красивее я в жизни своей не видела и ничто не мотивировало меня сильнее. Я почти злюсь на то, какую власть надо мной имеет Моргана.

Я пытаюсь сосредоточиться и почувствовать хоть что-то о заклинании Галахада.

— Есть нюанс, — шепчу я. — Если перенести заклинание в часы, его нужно будет обновлять. К полуночи действие закончится.

— Давай, мышонок. Мы нужны нашим друзьям и Номеру Девятнадцать.

Я понимаю, что порядок приоритетности не был соблюден и фыркаю. Я беру кулон, где переливается фиолетовая жидкость, подношу его ближе к себе, рассматриваю крохотные пузырьки посреди светящейся воды. Я чувствую, что это заклинание было сделано человеком, который очень любит Моргану. Ощущение это отчетливое, пришедшее из ниоткуда накрывает меня с головой. Любовь, нежность и желание защитить существо, которому адресован подарок мешают мне вскрыть его. Отчасти я даже ревную Моргану к Галахаду или, может быть, завидую их любви. Я ведь ничего не знаю о любви, и понятия не имею, узнаю ли. Если вдуматься, это большое везение, встретить кого-то, кто очень сильно полюбит тебя и кого полюбишь ты, находясь в столь ограниченном обществе, как наше. Впрочем, я не уверена, что Моргану любит Галахада так, как он любит ее.

— Принеси мне отвертку из моей комнаты, — говорю я.

— Только быстрее, мышонок. У нас мало времени, — напевает Моргану.

Через полминуты в руках у меня оказывается моя рабочая отвертка, и я принимаюсь разбирать часы, которые собрала шесть лет назад. Я раскладываю детали на простыни вокруг фиолетового кулона. Моргану ходит по комнате туда и обратно, в какой-то момент она закуривает, совершенно не стесняясь, только старается разогнать рукой дым.

Я закрываю глаза. Фиолетовый продолжает гореть у меня и под веками. Его нужно разложить на составляющие, разобрать, распотрошить. Я предельно сосредотачиваюсь на сути заклинания. Защита, определенно. Защита от чужого магического воздействия. Почему фиолетовый? Это должно было быть отражено в формуле. Я вспоминаю, где я видела этот цвет, оттенок, в точности повторял что-то в реальном мире. И воспоминание приходит ко мне незамедлительно. Нарциссы. В нашем саду растут цветы, чьи разверстые пасти окрашены абсолютно в тот же цвет. Нарциссы — любимые цветы Моргану, после орхидей. Я шепчу слово, и заклинание в кристалле на него отзывается. Удовлетворенно улыбнувшись, я начинаю собирать часы, находясь все в том же предельно внимательном состоянии.

И когда мои пальцы касаются кристалла, я вдруг вижу перед глазами Галахада. Он сосредоточен и шепчет что-то, над его открытой ладонью витает цветок, нарцисс, охваченный пламенем. Но он не горит, а плавится, будто воск, стекая в стакан с чистой водой, чтобы напоить ее своим цветом.

Галахад шепчет что-то, и наряду со словами заклинания я различаю имя Мордред.

Перед тем, как поместить стекло на циферблат, я притягиваю Моргану за руку к себе. Она показывает мне острую, серебряную иглу.

— Откуда ты...

— Я тоже умница, мышонок.

Мы прокалываем пальцы, и наша кровь смешивается, ее размазывает по циферблату секундная стрелка. Лучшие друзья навсегда, думаю я. Теперь заклинание должно работать на нас обеих.

Жидкость в кристалле чуть тускнеет, свечение становится слабее, а цвет прозрачнее.

— Его хватит дня на два-три, — говорю я, накрывая стеклом циферблат и привинчивая крышку.

— Это уже кое-что.

Я беру ее за руку, Моргану тушит сигарету в стакане на тумбочке у кровати, садится

рядом. Она без слов понимает, что нужно делать. Моргана хорошая волшебница, а это значит — она доверяет интуиции. Я кладу часы на ладонь, и Моргана накрывает их сверху рукой. Мы оказываемся связаны, и я чувствую, как прошивает меня сила, магия Галахада, которая предназначалась Моргане.

Лучшие друзья навсегда, бьется у меня в голове, навсегда-навсегда.

В этот момент я слышу голос Ланселота. Он рявкает:

— Быстро в холл! Готовность три минуты, курицы!

Моргана стремительно прячет часы в карман, а кулон под подушку, однако Ланселот и не думает заходить. Ланселот, бдительный и осторожный, даже не заглядывает к нам в комнату. Я практически чувствую, что он остается за дверью не случайно, и все же мне нечем этого доказать.

Моргана перепрятывает часы и кулон обратно в шкатулку, закрывает ее на ключ, а я кладу в карман отвертку. Мы бежим вниз, в холл, где все уже готово для ритуала.

Я вижу ребят, стоящих в центре треугольного остова печати, окруженной кристаллами, наполненными магией, сияющей и сильной. Мне становится страшно. Моя магия далеко не такая сильная, как магия взрослых. И если я сделала что-то неправильно, то магия Мордред, Ланселота и Галахада может совершенно непредсказуемо повлиять на нас с Морганой. Я начинаю дрожать, думая о том, что допустила ошибку специально и даже не понимая, какую именно.

Мордред резко манит нас рукой.

— Сюда, — говорит он. — У нас не так много времени.

— Мы прям точно уверены?

— Да, Кэй.

— Точно-точно?

— Точнее не бывает, Кэй, — говорит Галахад. — Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие.

— Я так и думала, что этим закончится, — говорит Ниветта, и Кэй с Морганой смеются, а я краснею.

— А я не понял эту шутку.

— Да, Гарет, как и все предыдущие, — говорит Гвиневра. — Давайте сделаем это быстро.

Я ловлю взгляд Гвиневры и думаю, неужели она просто ждала, пока ее лишат части происходящих вокруг событий.

Когда мы с Морганой встаем в круг, Кэй смотрит на нас заговорщически, и я старательно отвожу взгляд.

— Идиот, — шепчет Моргана. Впрочем, интонация у нее такая, будто она говорит "все хорошо".

Галахад, Ланселот и Мордред встают по углам треугольника, в котором мы находимся, так что внешние стороны печати захватывают и их. Кристаллы рядом с ними загораются ярче. Они уже напитали их своей магией.

— Готовы? — спрашивает Галахад.

— Да плевать, — говорит Ланселот. Я закрываю глаза, надеясь, что никто не заметит следов магии на нас с Морганой.

Сначала я чувствую легкое покалывание в глазах, потом, открыв их, вижу, как струятся по линиям печати силы. Это ужасно страшно. Как будто тебя окружили оголенные

электропровода. Я боюсь толкнуть кого-то и сама задеть эти жуткие силы, запершие меня здесь.

Мордред, Ланселот и Галахад совершают совершенно одинаковые и абсолютно синхронные движения — возводят руки к потолку, и что-то снисходит на них, сияющее, сверкающее, золотое, и оно струится к нам через линии печати, а потом бьет внутрь. Эта сила ослепляет меня, оглушает, и вместе с тем приносит невероятный экстаз. Магия прекрасна, я это знаю, однако я никогда прежде не испытывала желания упасть на колени, захлебываясь от удовольствия, пока чужая сила хлещет в меня.

В этом есть что-то от секса, что-то неправильное и очень правильное одновременно. Я чувствую, как дрожит рука Морганы и не слышу, но могу абсолютно точно сказать — она стонет.

И все же край моего сознания удерживается за фиолетовый цвет нарциссов в нашем саду.

А потом все постепенно стихает, ощущения притупляются, и остается только бессилие. Я падаю, кажется задев Ниветту. Темнота накрывает меня с головой, как одеяло, и я рада ей, будто долгожданному сну. Меня приводит в себя Ланселот, в основном, своим ором.

— Ну же! Очнись, давай!

— Я здесь, — говорю я невпопад, стараясь снова ощутить собственный язык. Открыв глаза, я вижу ребят. Кэй потирает глаза, будто только что проснулся, Гарет зевает. Видимо, они тоже отключались, вид у всех потерянный.

Я оборачиваюсь в сторону окон, и вижу запекшуюся кровь, которой они покрыты, будто смотрю изнутри заживающей раны. Я облизывая губы, смотрю на Гарета, который тоже повернулся к окну.

— Ну вот, — говорит он. — А мне как раньше больше нравилось. В смысле как сегодня...

Ему не дает договорить оглушительный взрыв хохота. Я смеюсь, и все смеются, кроме Мордреда. Он говорит:

— Занятий сегодня не будет.

Мы с Морганой переглядываемся, когда он уходит. Моргана кивает на окно, я отвожу взгляд. Мы друг друга понимаем. Все сработало. А потом мои глаза пронзает, будто иголками, и угол зрения мгновенно сменяется. Я вижу перед собой Кэя, он говорит:

— Ну вообще-то неплохо. Солнышко на дворе. А если он будет как полтергейст швыряться книжками, мы тоже не увидим?

— Нет, Кэй, — говорит Ниветта. — Ты что правда настолько тупой?

Я сжимаю руками виски, не понимая, что происходит. Я сижу рядом с Гаретом, а вижу Кэя. Реальность будто уходит у меня из-под ног, и я слышу голос Морганы, громкий, будто раздающийся у меня над ухом.

— Все в порядке, Кэй, милый.

А потом лицо Кэя становится ближе, и я слышу, как Моргана звонко целует его в щеку, прядь светлых волос, длинных и волнистых, застывает у меня перед глазами, а потом белые пальцы Морганы убирают ее.

— Так, — говорю я. — У меня проблемы.

— Какие? — спрашивает Ланселот, до того убиравший кристаллы и не обращавший на нас никакого внимания.

— Месячные, — говорю я. — Живот очень болит. Моргана, проводи меня.

Ланселот издает звук, который произвела бы очень недовольная чем-то собака, а Моргана быстро встает, и Кэй у меня перед глазами пошатывается.

— Сейчас, дорогая.

Ужасно сюрреалистичное ощущение, я вижу себя саму. Вот она я, вот они мои две косички, покоящиеся на плечах, вот моя форма, вот мои руки с обгрызенными ногтями и очки в толстой оправе. Со стороны я выгляжу еще большей простушкой, чем в зеркале. Я читала, что ученые выяснили: люди видят сами себя в пять раз красивее, чем они есть на самом деле. В таком случае у меня для меня плохие новости.

Моргана склоняется надо мной, и я вижу, какая я бледная, и что мои светлые глаза полны слез, и что косички совсем растрепались. Меня начинает подташнивать, вовсе не от собственного вида, что уже может расцениваться как достижение.

Моргана вздергивает меня на ноги, и я закрываю глаза. Так намного лучше, думаю я. Моргана ведет меня по лестнице, вслед за нами идет Ниветта.

— Эй! Не оставляйте меня с отстойниками!

— Подождешь, — говорит Ниветта. — Мы тебе все расскажем о том, как это истекать кровью раз в месяц.

— Фу, не надо!

— А я хочу знать!

— Гарет, заткнись!

— Сам заткнись!

— Я тебя сейчас побью!

Я стараюсь прислушиваться к их разговору, чтобы отвлечься, но он затихает у меня за спиной. Моргана ведет меня очень осторожно. В конце концов, судя по усилившемуся запаху ее духов, мы снова оказываемся в ее комнате.

Моргана укладывает меня на кровать, судя по всему она и Ниветта садятся рядом. Я пробую открыть глаза, и снова вижу саму себя, очень испуганную саму себя, к слову сказать.

— Я вижу...

— Мертвых людей? — спрашивает Ниветта.

— Нет. Себя саму.

— О, — говорит Ниветта. — Сочувствую. Не хотела бы я видеть себя саму.

Моргана гладит меня по щеке, и я вижу ее руку, лежащую на моей скуле большой палец.

— Это из-за действия заклинания, мышонок. Видимо, побочный эффект. Галахад делал его для меня, оно настроено на меня, видимо, ты скопировала это вместе с...

— Его намерением, — говорю я. — Защитить тебя.

— Например, — тянет Моргана. — Хотя это не все объясняет.

— Закрой глаза, — говорит Ниветта. Кто-то вставляет мне в рот сигарету, кто-то подкуривает, я слышу, как Моргана роется в тумбочке.

— Надо все забрызгать духами, — задумчиво говорит Моргана.

— Так вы все видите? — спрашивает Ниветта.

— Да, именно. Можно сказать с одной точки зрения, — говорю я. Мы смеемся. Ласточки затихли, кровь однако осталась. Я вижу ее, когда открываю глаза. Моргана, видимо, стоит у окна. Сад, докуда его можно рассмотреть сквозь кровавую пелену, усеян птичьими трупами.

— А что видишь ты? — спрашивает Моргана.

— Как всегда. Цветы там, солнце всякое. Ничего необычного.

— Невероятно, — говорю я. — Думаю, это все же было не худшим решением.

— Не огрызайся, мышонок, — говорит Моргана. — Зато мы видим правду, а они нет.

— Да, видеть, что все нормально — жутковато. У нас там наверняка птичье кладбище, а для меня тюльпанчики распустились, — говорит Ниветта задумчиво. — Красивые все-таки цветы.

— Может мне поможете? — спрашиваю я без особенного энтузиазма.

— Думаю, — говорит Ниветта. — Кое-что сделать можно. Жди.

Я жду, в конце концов, что еще я могу сделать. Ниветта, судя по звуку, долго что-то записывает. Иногда я открываю глаза, и вижу ее макушку, склонившуюся над блокнотом Морганы.

— Я видела Галахада в минуту, когда он составлял заклинание, — говорю я. — Он думал о Мордредде. Я думаю, Галахад понимает, что происходит. Попробуй выяснить. Если кто из нас и может подобраться ко взрослому настолько близко, так это ты.

— Это точно, — хмыкает Ниветта.

— Разузнай у него все, — говорю я, больше от досады, чем из искреннего любопытства. — Ведь это же причина, почему мы сохранили зрение.

А не твое желание посмотреть на Номера Девятнадцать, лучшая подруга навсегда.

— Именно это я и собираюсь сделать, мышонок, успокойся, — смеется Моргана. Открыв глаза я вижу ее перед зеркалом. Она красит губы бесцветным блеском, любит себя, взбивает пышные волосы. Позади нее в зеркале отражается Ниветта, она поднимает голову, говорит:

— Почти готово.

Ниветта делает небольшую паузу, а потом говорит убежденно, почти воинственно.

— Но я уверена, что за всем стоят они.

— Кто они?

Но Ниветта снова не отвечает, возвращаясь к своей работе. Я закрываю глаза и рассказываю девочкам все о моей встрече с Номером Девятнадцать. Моргана, кажется, даже забывает дышать. Когда я открываю глаза, то вижу пустое пространство между потолком и стеной. Моргана уставилась в одну точку куда-то у меня над головой, думаю я.

В этот момент Ниветта давит ладонью мне на грудь.

— Приготовься. Немного пошатает.

Она начинает шептать что-то, но у меня не хватает сосредоточенности разобрать, что именно, потому что внутри что-то и вправду переворачивается. Когда я читала о самолетах, то именно так и представляла себе ощущение, когда эта огромная железная машина взлетает, унося тебя в своем брюхе. Пустота под ложечкой, легкая тошнота и заложенность в ушах, и я слышу собственный пульс, который нестерпимо колотится в голове.

— Ее не стошнит? — спрашивает Моргана, голос ее становится далеким-далеким.

— Не должно, — говорит Ниветта. — Я не вкладывала этого в формулу.

Я ожидаю, что когда я открою глаза, то снова увижу все с собственной точки зрения. Однако я вижу все так, будто смотрю сверху, и в фокусе остается Моргана. По крайней мере, этот вариант не вызывает у меня тошноты, голова больше не кружится. Зрение будто перестает быть связанным с телом.

— Я попыталась сменить твой внутренний фокус.

— Теперь я вижу мир от третьего лица, как в фильме.

— Но это лучше, чем смотреть чужими глазами, — говорит Ниветта. — С тебя подарок.

— Хорошо. Но он будет не слишком хорошим. Как и мое прозрение.

— Так, девочки, я вас оставлю и велю Кэю входить в королевские хоромы, — говорит Моргана.

Смотреть на все со стороны удивительно, я вижу намного больше, чем прежде. Вижу себя и Моргану, и как Моргана наклоняется ко мне и целует в щеку. Меня обдает ванильным запахом ее духов, и отчего-то именно сейчас он кажется скрывающим запах плоти и крови. Гнилостно-ванильная, удушливая пелена окутывает меня.

Номер Девятнадцать, думаю я, он близко.

— Всего до полуночи потерпеть, мой мышонок. А потом мы с тобой придумаем что-нибудь получше. Не скучай.

— Уж она не будет, — говорит Ниветта. — Удачи тебе.

Моргана не отвечает, она упархивает за дверь, а вместе с ней упархивает и мой угол зрения. Я снова закрываю глаза, чтобы голова не закружилась.

Ниветта садится на край кровати.

— Не переживай так, — говорит она.

— Я хотела все видеть, а вместо этого все видит Моргана, а я вижу Моргану.

— Ну, я думала, что ты всю жизнь только этого и хочешь.

Ниветта хмыкает, я вздыхаю.

— Зато ты теперь как слепая провидица. Круто. Ну, вроде того.

— Вроде того, — соглашаюсь я. — Есть хочу.

— Сейчас принесу тебе что-нибудь пожевать.

Минуты через три в комнату врывается Кэй.

— Ты принесла мне пожевать Кэя? — спрашиваю я.

— Да. Кому он все равно нужен?

— Эй, Ниветта!

Кэя плюхается на кровати, так что едва не отдавливает мне руку, я улавливаю запах сэндвича с сыром и огурцом. Мои любимые сэндвичи, Ниветта и Кэй помнят. Сэндвич оказывается в моей руке, и я ем его с закрытыми глазами.

— Тебе помочь? — спрашивает Кэй.

— Я слепая, а не безрукая.

— Собирай крошки, Кэй, — говорит Ниветта. Они смеются, и щекочат меня, а я пытаюсь не отвлекаться от своего сэндвича.

— Я не слепая, — говорю я, прожевав последний кусок. — Я вроде провидицы.

— И что сейчас делает Моргана?

Я медлю прежде, чем открыть глаза. Но, в конце концов, у меня есть много времени до полуночи. Можно занять его моей новой суперспособностью. Наконец, я открываю глаза. И не вижу ни Ниветты, ни Кэя, хотя слышу их голоса и смех, чувствую, как они собирают крошки с моего платья, как валятся рядом со мной на кровать. Я протягиваю руку и за нее хватается Кэй.

— Ну? — говорит он.

Я вижу, как Моргана спускается в подвал. Шаг у нее нервный, такой она никогда не была при мне и, наверное, никогда не была ни при ком другом. Такой ее вообще никто не должен видеть. Моргана некоторое время мнется у порога.

Я говорю:

— Она в подвале.

— Ух ты, вот это да! — восторгается Кэй.

— Э-э-э, не особенно впечатляет.

— Не мешайте мне. Я смотрю. Потом я расскажу все.

— Расскажи сейчас.

— Моргана берется за ручку двери, — начинаю я. — Она заходит и...

Я замолкаю, потом говорю:

— Так, если все заткнутся, я попытаюсь послушать. Думаю, я смогла бы.

Сначала голову мне на плечо кладет Кэй, следом за ним точно так же поступает Ниветта. Они замирают и ждут. Кто-то водит пальцами мне по запястью, и я постепенно успокаиваюсь, сосредотачиваюсь на том, что происходит в подвале.

Моргана прямо с порога говорит что-то, но я совершенно не слышу, что именно. Будто кто-то выключил звук в кино. Я стараюсь сосредоточиться. Моргана проходит между столов, накрытых белыми простынями, едва-едва касаясь их. Шаг ее становится ровным, чуть кокетливым, она надевает привычную маску.

Галахад стоит у одного из столов, на котором, распятая, распоротая, лежит свинья. Небольшая, симпатичная свинка, думаю я, может быть прежде она была шариковой ручкой. Галахад говорит что-то Моргане, и я не слышу. Зато, отчетливо поморщившись от отвращения и еще от чего-то более приятного, я слышу, как под прикосновением Галахада ломаются кости грудины, раздвигаются, впуская его внутрь.

Видимо, отвращение (и что-то еще, чего я не называю из трусости) оказываются достаточным стимулом, и звуки приходят. Я совсем забываю о том, что рядом со мной Ниветта и Кэй, я оказываюсь наблюдателем там, в подвале.

Моргана говорит:

— То есть ты совсем не скучал, милый?

— Почему же? — говорит Галахад. — У меня сердце горит, когда тебя нет рядом.

Он лезет руками внутрь свиньи, достает не бьющееся уже сердце, запускает в него пальцы, и я вижу, как венозная сетка на нем начинает пульсировать, чуть светиться от магии. Галахад смотрит только на это сердце, но я вижу, как ему хочется посмотреть на Моргану. Она подходит ближе, садится на пустой соседний стол, болтает ногами.

— А я не вижу, чтобы ты был рад, — тянет она. Галахад опускает сердце обратно, в тушу свиньи, и она вдруг начинает дрожать в агонии, так что Галахаду приходится удерживать ее двумя руками. Моргана наблюдает за этим с усмешкой. Борьба продолжается около двух минут, а потом свинка враз затихает. Галахад бросается к своему письменному столу, руки у него влажные от слизи и крови, и он нашаривает ими ручку и замызганный блокнот, принимается что-то записывать.

— Меня бесит, что ты не обращаешь на меня внимания, — говорит Моргана. — Смотри на меня.

Галахад поднимает на нее взгляд, продолжая писать.

— Я не понимаю, зачем ты пришла.

— Не зачем, а к кому, — говорит Моргана, и ее девичье обаяние сменяется чем-то женским, томным, сладким, чем-то, что заставляет тугой ком свернуться и у меня внизу живота.

— Смотри на меня, — повторяет Моргана, и я бы подумала, что она использует магию, но никаких заклинаний и жестов, только ее голос.

— Ты могла бы не мешать мне некоторое время? И тогда мы обсудим абсолютно все, что ты захочешь.

— А разве ты не хочешь ничего, милый?

Моргана закидывает ногу на ногу, и движение получается совсем не женское, а по-девичьи нелепое, дурацкое и этим сексуальное вдвойне.

— Моргана, дорогая, ты вышла из возраста Лолиты около семи лет назад. Мы будем играть в эти игры?

— А ты больше не хочешь в них играть?

Галахад возвращается к трупку свиньи. Взмахом руки он поднимает со стола железные инструменты и движением пальцев, измазанных кровью, направляет их в тело свиньи. Они начинают свою хирургическую работу будто бы без участия Галахада, но я знаю, что он предельно сосредоточен.

Галахад смотрит на Моргану, пока инструменты глубже вгрызаются в плоть свиньи. Щипцы для грудины раздвигают кости, впуская скальпель.

— Я не должен был даже начинать.

— Но ты начал.

Моргана облизывает пахнущие вишневым блеском губы, а Галахад шевелит измазанными кровью, как вишневым вареньем, пальцами, и в руке у него оказывается все еще пульсирующий, живой, кусочек сердца. Совсем не большой, лишенный всего, что его окружало, но живой.

— И теперь, Галахад, я хочу, чтобы ты поговорил со мной. Уделил мне внимание. У тебя нервный день, правда?

— Можно сказать и так, моя милая.

— И ты хочешь побыть один?

— Ты подбираешься к самой сути.

— А я хочу узнать, что с вами происходит.

Резким движением Галахад проводит рукой по воздуху, и со шкафа слетает, едва не задев горло Морганы пила для трепанации. Моргана подается назад, не издав при этом ни звука, но едва не упав со стола.

— Испугалась, малыш? — спрашивает Галахад.

— Ничуть.

Пила вонзается в череп свиньи и начинает свое жужжащую симфонию, другие инструменты, железные и жуткие, из хирургического набора Галахада продолжают свою работу во чреве свиньи.

— Чего ты хочешь?

— Я волнуюсь за тебя. И, наверное, хочу знать, что происходит.

Галахад смотрит на нее со спокойной улыбкой, потом касается кончика своего языка окровавленным пальцем и говорит:

— Ты лжешь. По крайней мере, насчет первого.

Вид у Галахада скорее задумчивый, нежели злой.

— Да, разумеется, я лгу. Я же сплю с тобой только потому что ты взрослый и единственное, что мне от тебя нужно — доступ к этой вашей взрослой жизни и знаниям, которыми вы с нами не делитесь. Что касается секса, я предпочитаю Кэя. Что касается всего остального, я предпочитаю Вивиану.

Я чувствую, будто мне передали привет в какой-то телепрограмме, даже краснею

немного.

Моргана злит его, но я не понимаю, зачем. Если она хочет получить какую-то информацию, не легче ли ей быть ласковой, как и всегда.

— И да, Галахад, разумеется, я пришла сюда узнать не как продвигаются твои безнадежные эксперименты сдохлыми зверушками, которых ты клепаешь из всякого мусора.

В один момент вся симфония стихает, циркулярная пила с такой силой вонзается в голову свиньи, что не только проламывает череп, но и раскидывает вокруг сероватый мозг, а железные инструменты, орудующие внутри впиваются так глубоко, что показываются с другой стороны.

Галахад оказывается рядом с Морганой, точно так же, как Мордред оказался позади меня недавно. Он берет ее за горло, пачкая кровью и укладывает на стол, совершенно безо всяких усилий.

— Зачем ты это делаешь, моя любовь? — спрашивает он почти печально, но я вижу, что он сжимает горло Морганы слишком сильно, чтобы это игрой.

Моргана не сопротивляется, я вижу на ее губах мучительную улыбку. Галахад смотрит на нее грустно и задумчиво, будто не он сейчас душит ее. Он смотрит на нее с невероятной любовью. Моргана нащупывает на столе скальпель и втыкает ему в руку. Темная кровь Галахада мешается со свернувшейся кровью свиньи, но хватку он не ослабляет. До тех пор, пока Моргана не проворачивает скальпель. Он слегка улыбается, будто ему совершенно не больно. И в этот момент лицо Галахада приобретает красоту, которую, если верить книгам, приобретает лицо всякого человека, который влюблен очень серьезно. И Галахад целует ее. Он склоняется на ней, как над принцессой, и я могу поспорить, что чувствую, как запах вишневого блеска для губ мешается с запахом крови и еще с тем резким, химическим духом, который всегда царит в подвале у Галахада. Они целуются долго и болезненно, кусаются, как дикие животные. Галахад вырывает у нее из рук скальпель, и на секунду мне кажется, что сейчас он срежет с нее школьную блузку.

Но вместо этого Галахад раздевает ее нежно, продолжая целовать, в губы и шею. Мне хочется закрыть глаза, и в то же время не хочется. Я никогда прежде не видела Моргану такой, не знала, что она может быть такой. Она как хищница, как кошка, дикая и очень злая. Она царапается и кусается, и Галахаду приходится ее удерживать. Я слышу, как из его горла вырывается почти звериный рык. Они оба злы и оба хищны, в них будто и нет ничего человеческого. То, что я вижу вовсе не напоминает романтическую сцену из фильмов, на которых скучает Кэй.

Чтобы раздеть Моргану, Галахаду приходится ее удерживать, и вовсе не потому, что она хочет сбежать, а потому, что она хочет сделать ему очень больно. Галахад стягивает с нее форменную блузку, расстегивает лифчик и обнажает ее грудь. У Морганы красивая грудь, упругая, с острыми сосками. Моргана красуется, движением слишком нарочитым, оттого почти детским, откинувшись назад, демонстрируя себя. Я вижу, что под грудью вниз спускаются горизонтальные линии подживающих порезов, которые замирают над краем юбки. Галахад легко, едва касаясь ее лезвием, вскрывает один, тот что выше всех, слизывает кровь, удерживая Моргану. Она запрокидывает голову, и выглядит в этот момент на редкость беззащитной и такой же чужой и новой для меня, какой выглядела несколько минут назад, когда бесновалась, целуясь с Галахадом.

Галахад тоже будто совсем мне незнаком. Никогда я не видела его одержимым чем-то, кроме его чудовищных созданий, не живых и не мертвых окончательно. Сейчас он, по-

звериному легко удерживающий Моргану, одержим только ей. Для него будто существует только она. И в поцелуях, которыми он покрывает ее шрамы, есть что-то от преклонения святым и что-то от животного, неразумного желания, и всему этому я не знаю названия, потому что о таком не пишут в книгах.

Глаза у обоих затуманенные, и я вижу, что руки у Морганы дрожат, от возбуждения или же от страха. Она стонет, протяжно и театрально, а потом совершенно искреннее всхлипывает, когда Галахад опускается на колени, подтягивает ее к себе за бедра, задирает ее юбку и стягивает белье. Моргана откидывается назад, оперевшись ладонями о стол, едва не поскользнувшись на разлитой крови. Галахад целует ее бедра, и я вижу, что на них тоже порезы. Перехватив скальпель поудобнее, он оставляет новый, и, слизывая кровь, поднимается выше.

Я не могу отвести взгляд, и в прямом смысле и в переносном смысле, я будто очутилась в каком-то новом и запретном мире. Я не чувствую стыда, когда мне не дурно от страха, я привыкла смотреть на свои чувства, будто на текущую воду. Они есть и они такие, и я ничего не могу с этим сделать. То, что Галахад творит с Морганой кажется мне возбуждающим, и то, как она закусывает губу от смеси боли и удовольствия, заставляет что-то внутри меня, какую-то пружину, сжиматься все сильнее.

Галахад проникает в нее языком, и Моргана почти вскрикивает. Она вцепляется одной рукой ему в волосы, заставляя быть ближе. Кажется, что она командует им, но я вижу, что Галахад удерживает ее, впившись ногтями в нежную, белую кожу ее бедра. Другая его рука, сжимающая скальпель, гладит ее живот, и я вижу, как она останавливается, вижу, как лезвие упирается Моргане в живот, ровно там, где должна быть матка, сосредоточие всего женского в ней. В какой-то момент я почти уверена, что он воткнет лезвие, и я смотрю на все, как будто оно не существует в реальности, хотя существует и совсем близко, всего этаж вниз. Я фиксирую свои ощущения, как течение воды, как ток крови в висках, и признаюсь себе, что меня возбуждает происходящее, и возбуждают собственные мысли о том, что может произойти.

Моргана снова вскрикивает, протяжно, по-кошачьи, ее острый язычок скользит по губам. Галахад перестает удерживать ее за бедро, он грубо сжимает ее грудь, лаская и в то же время делая больно.

— Да, — шепчет она. — Да.

И я понимаю, что ей это тоже нужно и не понимаю, зачем. Она выглядит уязвимой и незащищенной, но незащищен с ней и он. О таком в книгах я тоже не читала — они оба предельно и постыдно открыты друг другу, не в физическом, очевидном смысле, а какой-то другой, невидимой обычно частью себя. Может быть, это то, что называют страсть.

Я ожидаю, что когда Моргана кончит, она будет кричать, как в фильмах, царапаться, как уже царапалась и, может быть, даже вопить его имя. Но лицо Морганы становится испуганным, совсем детским ровно перед тем, она вскрикивает от удовольствия в последний раз. Лицо ее в этот момент почти страдальческое, будто боль это то, что можно делить, а удовольствие делает ее уязвимой.

Моргана тяжело дышит, как после долгой пробежки, она закрывает глаза, и позволяет Галахадку стянуть с нее юбку. На ощупь, вслепую, руками, которые не переставали дрожать, она удивительно ловко расстегивает на нем рубашку. И я вижу тот самый шрам Галахада. Он идет от центра грудины вниз, до лобка. Шрам от аутопсии, его вскрывали. Он был мертв. Я смотрю на него, бледного, на его обескровленные губы и понимаю, что не уверена в том, что

в нем есть внутренние органы, что он не живет исключительно за счет магии.

Впервые до меня доходит, что, может быть, он оживляет живых существ и их части не из веры в то, что все преодолимо, даже смерть. Может быть, он хочет вернуть себе то, что было у него отнято.

Галахад расстегивает брюки и заваливает Моргану на стол, она поддается со звериной покорностью и, оказавшись под ним, выхватывает его скальпель. Я вижу порезы на спине Галахада, длинные, неровные, в отличие от ровных порезов на теле Морганы, они нанесены неаккуратно, тем, кто не думал ни о чем.

Моргана дает Галахаду раздвинуть ей ноги, впускает его в себя, голодно целуя. Он шепчет ей что-то, чего я не слышу, что-то нежное, но движения его жесткие, почти жестокие. Моргана подставляет ему шею, и он кусает ее, оставляя отметку, которая скроется за форменным воротником. Она закрывает глаза, позволяя ему делать с ней все и в отместку проходясь лезвием скальпеля по его спине.

Я знаю, абсолютно точно знаю, что Моргана знает о том, что я все вижу. И я знаю, что отчасти она этим наслаждается. У Галахада затуманенный взгляд, такой, будто для него не существует никого и ничего, кроме нее. Будто целый мир мог перестать существовать, пока он трахает ее. Если это любовь, то она некрасива, болезненна и жестока, думаю я.

Галахад оставляет синяки на ее коже, но иногда на него нападает нежность, и он гладит ее только кончиками пальцев, целует ее шею и грудь, и тогда Моргана режет его сильнее.

Они наслаждаются друг другом, но есть в них и отчаяние. Галахад берет ее, наслаждаясь ее телом, прижимает ее к себе, и все же ему этого как будто мало. Все, что между ними происходит не затрагивает пустоты, которую может оставить в сердце Моргана.

Это ощущение, одно из всех, что я вижу в них, я понимаю очень хорошо. Моргана умеет заставить человека чувствовать себя самым счастливым на свете, как солнце, которое греет летом, когда все обычно становится хорошо, но потом солнце уходит, и уходит Моргана, и эту пустоту не заполнить уже ничем.

Ощущение ее утраты, постоянное, терзает и Галахада, и меня, и, я уверена, Ниветту и Кэя.

Мы любим ее, мы хотим ее и мы ее не получаем.

Моргана кончает первой, награждает Галахада, все ещедвигающегося в ней, долгим поцелуем. Когда кончает и он, они надолго замирают. Он гладит ее влажные от пота волосы, она облизывает скальпель.

— Почему ты это терпишь? Когда я режу тебя, — спрашивает Моргана, слизнув кровь. Голос у нее хриплый, надорванный, больше женский, чем девичий.

— Я ничего не чувствую, — говорит он.

— Я чувствую все, — говорит Моргана.

Они долго молчат, будто сказали друг другу больше, чем хотели. Наконец, Галахад слезает со стола, и Моргана вытягивается на нем, как объект для препарирования, как девушка из журнала.

Галахад любит ее, а потом резко берет из шкафа антисептик. Он раздвигает ей ноги и начинает обрабатывать порез на бедре. Моргана шипит, будто боль от порезов ничего не значит для нее, в отличие от боли, которую она испытывает сейчас.

Галахад стоит перед ней на коленях, обрабатывая один порез за другим, а потом принимается вытирать салфетками кровь. Моргана ждет, пока он оденет ее, и он одевает ее.

Наконец, когда Галахад застегивает верхнюю пуговицу на ее блузке, которую Моргана

обычно держит расстегнутой, она спрашивает еще раз:

— Что происходит? Объясни мне. Попытайся объяснить, Галахад.

— Доверься Мордреду. Он знает, что делает.

— Ты ему доверяешь?

Галахад отходит чуть подальше, потом закуривает сам, вставляет Моргане в рот сигарету и щелкает пальцами, подкуривая ей огоньком, взявшимся из ниоткуда.

— Послушай, Моргана, не знаю, что вы себе напридумывали, но все вовсе не так ужасно. Мордред не хороший человек, у него никогда не было шанса стать хорошим человеком, но он спас мне жизнь.

Я вспоминаю его шрам и думаю, что скорее вернул.

Моргана слушает внимательно, привычная резкость из нее улетучивается, она кажется сытой кошкой, довольной происходящим.

— Как? — спрашивает Моргана.

Галахад некоторое время молчит, слышно даже потрескивание сигареты, когда он затягивается.

— У меня внутри звериные органы, Моргана, малыш. У меня сердце лисицы, волчья печень, и даже не помню, чьи легкие.

— На самом деле помнишь.

— На самом деле помню. Легкие человеческие. Но не мои. Он собрал меня заново из лесных зверей. Всего этого недостаточно, магия поддерживает мою жизнь и работу этих органов. Однако ничего лучше я пока не придумал. И не уверен, что смогу. Я благодарен ему.

— Ты не сказал, доверяешь ли ты ему.

Галахад надолго замолкает. Наконец, он говорит:

— Да, доверяю.

— У тебя тоже нет другого выбора? Потому что иначе ты умрешь?

— Глупости. Просто он никогда меня не предавал и много для меня сделал. У меня нет причин ему не верить.

— Эксперимент, это правда? — спрашивает Моргана резко, видимо, надеясь на эффект внезапности.

— Абсолютная, малыш, — говорит Галахад легко, он тушит сигарету в наполненной кровью миске, где покоилось свиное сердце.

— Значит, это вы виноваты в том, что мы здесь заперты.

— Мы не хотели подобного эффекта. Вам даже сложно оценить, насколько мы на самом деле перед вами виноваты. Вы ведь не знаете, чего мы вас лишили.

— Догадываемся, — мрачно говорит Моргана.

— Мой тебе совет, моя милая, данный по наитию, но, полагаю, резонный. Не лезь в это дело, Моргана и друзьям своим не давай в него лезть.

А потом он неожиданно подается к ней и берет за подбородок.

— И если ты уверена, что я не заметил вашего с Вивианой маленького маневра, то это ты зря. Его не заметил Мордред, и вам очень повезло.

Моргана выдыхает, взгляд ее только на секунду становится или кажется испуганным, а потом она шипит:

— Почему этого не заметил Мордред? Почему, Галахад? Ты ведь сам говорил, что мистер Очарование знает все обо всем. Так почему он не заметил очевидное заклинание двух не слишком подкованных в магии малолеток.

Я даже обижаюсь. Мои представления о себе и своих магических умениях далеки от того, что сказала Моргана.

— Он несколько не в форме, — говорит Галахад. Он замолкает, Моргана смотрит на него в упор.

— Ты добрый человек, — говорит она. — И ты любишь меня.

— Я не добрый человек, милая.

— Но ты любишь меня. Скажи мне, Галахад.

Галахад смотрит на нее, закуривает новую сигарету, и протягивает Моргане оставшуюся пачку.

— Оставь себе. Моргана, ты ведь любишь книжки. У тебя ведь нет ничего, кроме книжек. Слушай внимательно, очень внимательно и прямо сейчас: живой король обладает реальной властью прежде всего или даже исключительно потому, что является функционером культа мертвых. Это цитата. Распорядись ей так, как считаешь нужным. А теперь попытайся отвлечься от аффектов, риторики, частных интересов и подумать. Я и так сказал тебе слишком много. И это неправильно.

Моргана тушит свою сигарету о стол и, ничего больше не говоря, по-кошачье мягко слезает с него.

Она отдергивает юбку, потом потягивается, и все это время Галахад неотрывно наблюдает за ней. Моргана оборачивается к нему только у двери.

— Ты никогда не говорил мне, как тебя звали до всего этого.

Галахад пожимает плечами, по губам его скользит легкая, ничего не значащая улыбка. Он говорит:

— И никогда не скажу.

Я закрываю глаза.

— Ну что там? — шепчет Ниветта. И я чувствую, как затекли у меня плечи, потому что Ниветта и Кэй почти не двигались все это время.

— Она его трахнула? — спрашивает Кэй.

— Нет, — говорю я быстро. — В основном они разговаривали. О том, что происходит и о Мордред. Галахад знает, что мы применили заклинание. Но Мордред не знает. Он вроде как не в форме, но я не слишком поняла, почему именно. Может быть, ему слишком тяжело поддерживать безопасность иллюзий Королевы Опустошенных Земель, а может быть...

— А может быть, — говорит Моргана с порога. — Он сам помогает Королеве Опустошенных Земель. Что-то вроде того несла Гвиневра. Привет, котята.

— И, — добавляет Моргана. — Я трахнула Галахада.

И сводит тем самым, прямо с порога, на нет всю мою ложь. Ниветта и Кэй смеются.

— Так что ты обо всем этом думаешь? — спрашивает Ниветта.

— Секс, это здорово, и вам все обязательно нужно попробовать.

— Думаю, Ниветта не это имела в виду.

— Надо же, — смеется Моргана. — И я тоже так думаю, какое совпадение.

Она выглядит еще более злой и радостной, чем раньше. Моргана ложится где-то у меня в ногах, как кошка, щекочет мне большой палец.

— Я думаю, — говорит Моргана. — Что Номер Девятнадцать реален, просто Мордред и остальные взрослые не хотят этого признавать. Он наверняка был волшебником.

— Точно, — хмыкает Ниветта. — Иначе ему было бы затруднительно всех убить.

— Но мы же точно не знаем, — пожимает плечами Кэй. — Может он никого и не убил,

только написал, что всех убьет.

— Убил, — говорю я. — Он сам мне говорил.

— Это наша фантазия, — говорит Ниветта. — Если взрослые не лгут, то Номер Девятнадцать покажется нам именно таким, каким мы его представляли.

Кэй слезает с кровати и включает музыку, какой-то развеселый рок-н-ролл, кассета с которым была в магнитофоне.

— Умно, Кэй, — с уважением говорю я.

— Ну а то чего мы так скучно сидим, — говорит Кэй.

— Беру свои слова обратно.

Я чувствую запах вишневого блеска, которым мажет губы Моргана. Она говорит:

— Поймите, Мордред затрачивает столько усилий только для того, чтобы убедить нас в том, что Номер Девятнадцать нереален, что это даже подозрительно.

— А Галахад? Думаешь он знает правду?

— Определенно. Только он ее никогда не скажет. Он слишком благодарен Мордреду за то, что тот напихал в него требухи из лесных зверушек.

Мне кажется странным, что Моргана может говорить о Галахаде настолько резко, хотя еще двадцать минут назад они занимались любовью и были друг перед другом максимально открыты. Впрочем, я не уверена, что разбираюсь в любовных отношениях настолько, чтобы судить Моргану.

— А Ланселот? — спрашивает Кэй.

— Тоже знает, я уверена, — говорит Ниветта. — Они — одна компания. Но я, если честно, запуталась. Номер Девятнадцать реален или нет?

— Реален, — говорит Моргана. Я очень плохо себе представляю, откуда она взяла этот вывод, ведь ни на что такое Галахад не намекал, даже между строк усмотреть это было трудно. Однако, если Моргана так хочет думать, что Номер Девятнадцать не порождение нашего коллективного сознания, то я не против.

— Загадка, — говорю я.

— А, да, точно. Галахад возомнил себя великим волшебником, который загадывает загадки юным ученицам. Живой король обладает реальной властью прежде всего или даже исключительно потому, что является функционером культа мертвых. Как думаете, что это значит?

Мы замолкаем. Я стараюсь прокрутить эту фразу в голове, но мне мешает страх того, что я раздавила какое-нибудь маленькое насекомое, будучи слепой. Страх этот затягивает меня настолько глубоко, что я почти готова заплакать, но, стараясь сохранить лицо, напряженно смотрю в потолок, а вижу моих друзей, как будто смотрю с потолка. Ребята думают, или же, делают вид, что думают, занятые своими собственными проблемами.

Мы молчим, и комнату заполняет развеселый голос человека, который заполучил девушку и машину, недоступные для его рабочего класса. Кэй мелодично подпевает, и никто не возвращает его к умственной работе. В конце концов, от Кэя гениальных идей никто не ожидает. Но, неожиданно, именно он говорит первым:

— Культ мертвых это же культ тех чуваков, которых закапывают?

— Да, Кэй, — снисходительно хмыкает Ниветта. — Именно.

— Может тогда все, что нам нужно — в саду? Ну, закопано. Как дохлые чуваки.

Снова западает тишина, разбавленная лишь рок-н-роллом, повествующим о любви к самой клевой девушке, которая не перестает жевать жвачку. А потом Моргана говорит:

— Ты знаешь, Кэй, довольно неплохо. По крайней мере, это рабочая версия. Еще предложения? Вопросы?

Мы с Ниветтой молчим, Моргана свою лепту тоже не вносит. Для меня фраза, сказанная Галахадом, звучит как полная бессмыслица. То есть, в сборнике научных статей, она, конечно, чувствовала бы себя как дома, однако в качестве загадки вызывала в уме больше вопросов к формулировке, чем концептуальных идей.

— Ладно, — говорит Ниветта. — Вопрос к тебе, Кэй. Как мы собираемся копать, чтобы этого не заметили? И, самое главное, что мы собираемся перекопать? Весь сад?

— Нет, — говорит Моргана. — Лилия и роза — цветы королевской власти, детишки. Так что мы наколдую себе лопаты и посмотрим, что находится под нашими милыми клумбами!

— А приколись — вход в ад!

— Ой, заткнись, Кэй!

Моргана целует меня в щеку, говорит:

— Не переживай, мышонок, мы скоро вернемся.

— Вы что оставите меня здесь в абсолютном одиночестве?

— Почему же? — спрашивает Моргана. — Твое умозрение будет с нами. Просто ты сейчас несколько недееспособна, и если нам придется, скажем, быстро убежать и прятаться, выдашь нас всех.

— Как плохой разведчик в фильмах про войну, — говорит Ниветта. — И будет драматичный момент. И весь отряд погибнет. Опционально: кроме тебя, а ты будешь страдать.

— Так что полежи здесь, мышонок.

Я одновременно обижена и довольна. Обижена, потому что они бросили меня, оставив в комнате Морганы, а сами пошли выяснять великие тайны нашего бытия. А довольна, потому что я устала, мало спала, а когда спала видела чудовищные сны, и теперь я могу просто полежать в спокойствии, в тихой комнате. Я и не надеюсь, что засну. Любое, даже легчайшее нервное потрясение способно лишить меня сна. Я стараюсь просто расслабиться и отдохнуть. Открыв глаза, я вижу, как Кэй, Ниветта и Моргана выходят из школы. На ступеньках курит Ланселот. Сад обезображен мертвыми птицами, облит кровью, и невероятная красота цветов в ровно высаженных, ухоженных клумбах кажется неправильной, я вижу набухшие капли крови на анютиных глазках, придавленные мертвыми птицами хризантемы. Яблоневый цвет из белого стал красным. Сад кажется прекрасной картиной руки ментально исковерканного художника, цветы и кровь, и соответствующий запах, витающий в воздухе. Ланселот свистит Моргане, Ниветте и Кэю.

— Эй, вы куда? — спрашивает он.

— Курить, — говорит Кэй.

— Но-но!

Ланселот отвечает Кэю подзатыльник и чуть толкает в спину. Он ведет себя, как ни в чем не бывало, будто перед его глазами не полный птичьих трупов сад, а самый обычный майский день, и солнце пригревает распустившиеся цветы. Я уверена, что Ланселот видит все это, однако он остается ровно тем же, кем был всегда — ужасным придурком.

Я вижу, что Моргана кривится от вида нашего сада, а вот Кэй и Ниветта остаются безмятежными.

Они сворачивают за угол, где притаились лилии и, дожидаясь пока уйдет Ланселот,

закуривают. Ниветта своим типичным движением прислоняется к стене, скользкой от крови, и Моргана машинально останавливает ее. Под ногами у них покоятся раскидавшие свои внутренности ласточки. Лилии, щедро украшенные каплями крови, кажутся какими-то иными, экзотическими цветами. Наконец, Ниветта выглядывает за угол и, видимо, не увидев Ланселота, говорит:

— Начинаем.

У всех кроме Кэй с первого раза получается перенести себе лопату из кладовки. Кэй еще долго мучается, а Ниветта и Моргана начинают копать. Земля мокрая от крови, вязкая, и грязь тесно мешается с кровью, образуя нечто склизкое, легко поддающееся и отвратительно хлюпающее. Ниветта, не видя мертвых птиц, обезглавливает одну из них лезвием лопаты, Моргана кривится. Девочки копают землю с яростью, Моргана не обращает внимание на отвратительное месиво, которое представляет собой удобренная кровью земля, а Ниветта его даже не видит.

Я закрываю глаза, мне совсем не хочется смотреть на их работу дальше. Раз уж они не взяли меня, я могу лишиться себя столь сомнительного удовольствия, как соприсутствие в окровавленном, испорченном саду.

Блаженная, нежная темнота накрывает меня, и я стараюсь ни о чем не думать. Мысли о том, что я могла задеть ранку на пальце Кэя, и у него будет столбняк крутятся в моей голове еще довольно долго, но постепенно оборот их сужается и сужается, и я чувствую, как напряжение покидает мои руки и спину.

Я будто впадаю в какой-то транс, я слишком долго не спала, и теперь не могу отключиться полностью, но часть меня все равно норовит передохнуть, отстраниться от непрерывного потока мыслей. В какой-то момент я ощущаю, что стало холоднее, а потом слышу аромат влажного после дождя леса. Под моими руками оказывается мокрая трава. Пахнет горько и свежо, мне хочется накрыться одеялом, но одеяла нет рядом. Открыв глаза, я вижу только Моргану, Ниветту и Кэя, раскапывающих землю под кустами. Я не в комнате, думаю я со страхом, я в лесу. Здесь темно и холодно, здесь вовсе не май. Я слышу крики ночных птиц, перестукивания сверчков. Привстав, я ощущаю спиной ствол дерева. Снова начинается дождь, ливневый и очень холодный, стегаящий меня, как плеть.

Я слышу сквозь шум далекие голоса детей. Кто-то говорит:

— Долго мы еще будем идти? Я есть хочу.

— Долго, — отвечает ему голос Номера Девятнадцать.

— А куда мы идем?

— Не знаю.

— А что мы...

— Номер Двенадцать, — говорит Номер Девятнадцать. — Я не знаю.

— Ну и ладно, — говорит Номер Двенадцать жизнерадостно и почти тут же добавляет:

— А ты знаешь, где мы?

Я пытаюсь идти на звук их голосов, не видя ничего, на ощупь. Дождь хлещет все сильнее, и мне почти что больно от его холода. Мальчишки уходят куда-то, я слышу, как что-то тяжелое будто волочат за собой, и я слышу голос Номера Двенадцать:

— Что делать с Номером Четыре?

— Не знаю, не знаю, не знаю.

— То есть ты вроде как вообще ничего не знаешь?

— Ничего не знаю, — соглашается Номер Девятнадцать. А потом я слышу его плач и

слышу, что Номер Двенадцать начинает ему вторить. Шаги стихают, наверное, они устраиваются где-то под деревом.

— Тяжело было тащить? — сквозь слезы спрашивает Номер Девятнадцать.

— Ну нет, легко довольно, он же пустой.

А потом они заливаются слезами еще горше прежнего, и мне хочется утешить их, но я даже не могу их увидеть. Несчастные, одинокие дети, которым некуда идти. И никто не может им помочь.

Я знаю, что не сплю, я прекрасно осознаю, что происходит и могу в любой момент очнуться. Происходящее похоже скорее на грезу, очень подробную и сильную. Запах трав и мокрой земли поднимается ко мне, и я вдыхаю его, совершенно не чувствуя запах духов Морганы в комнате, и все же часть меня знает, что я ее не покидала.

Я нахожусь в полной темноте, но звуки и запахи, ощущения так невероятно реалистичны, что мне снова кажется — реальность пытается от меня ускользнуть.

Или, может быть, это я пытаюсь ускользнуть от реальности. Номер Девятнадцать говорит, отплакав свое:

— Мы пойдем и найдем укрытие на ночь. Иначе мы заболеем и не сможем идти. А если мы не сможем идти, мы умрем.

— А если мы умрем, то будем разлагаться, а если мы будем разлагаться, то...

— Заткнись. Нам нужно согреться. Давай попытаемся построить себе убежище.

— Ты ведь это можешь. Ты же у нас все можешь.

— Я не знаю. Я не понимаю, как.

И я думаю, что Номер Девятнадцать вообще ничего не понимает, и это очень грустно. В этом лесу, пустом и холодном, некому подсказать ему, что делать и куда идти дальше. И я кричу ему:

— Номер Девятнадцать!

Но он не слышит меня, потому что это его жизнь, которую я никак не могу изменить. Прожитые, утекшие минуты.

— Номер Девятнадцать! — кричу я снова, уже зная, что это совершенно бесполезно. Я ведь даже не вижу его мира.

А потом я чувствую легкость, ощущение кружения возвращается с новой силой, я будто летаю, и мне почти хорошо. Кто-то невидимый гладит меня по голове, и от его прикосновения становится легче, будто что-то заземляет меня, и дождь перестает стегать меня так болезненно и сильно, и влажная земля под ногами не застревает между пальцами.

Отчетливее всего я ощущаю чей-то поцелуй, удивительно нежный, почти невесомый и в то же время собственнический — меня еще никто так не целовал, будто мы уже любовники.

И тогда я понимаю, что, наконец, сплю.

Когда я открываю глаза, луна уже заливает комнату своим ласковым, холодным светом. В детстве Кэй говорил, что луна холодная и ласковая, как руки у мамы. Это он придумал, мы ведь не помним, какие у наших мам были руки.

Я приподнимаюсь, потом потягиваюсь. Не сразу до меня доходит, что комната не моя, а Морганы. Во тьме силуэты ее бесконечных шкатулок, флакончики с духами и рассыпанная косметика кажутся мне такими родными, что я даже не отслеживаю их присутствие.

В доме тишина, и я понимаю, что сейчас далеко за полночь. Звезды переливаются, как крохотные драгоценные камушки на браслете Морганы, оставленном на тумбочке. Я беру его в руку, рядом с застежкой болтаются две крохотные розочки. Очень красивая и очень простая вещь, Моргана любит ее даже несмотря на то, что ей не нравится, когда все просто.

Я улыбаюсь и, наконец, просыпаюсь в полной мере. Я чувствую себя отдохнувшей и свежей, и понимаю, что давным-давно не чувствовала себя так спокойно и правильно.

Наверное, думаю я, Моргана оставила меня спать здесь, а сама ушла в мою комнату. Она не хотела меня будить, может быть, погладила по волосам, пока красилась перед зеркалом, а потом ушла. Может быть, она еще не спит. Можно пойти проверить. Именно это я и намереваюсь сделать, по крайней мере я точно решаю, что загляну к себе в комнату, послушаю у дверей других. Еще они могут быть на чердаке.

Мысли текут лениво и спокойно, как волны океана в какой-то идеальный, книжный день.

Я вглядываюсь в зеркало на шкафу Морганы, но темнота поглощает мое лицо, и я мало что могу рассмотреть. Над зеркалом болтается на веревочке бабочка, которую Моргана поймала еще в детстве. При жизни она была очень красивая, с лазурного цвета крыльями, и гибкими, тонкими, как тени, лапками. Моргана любовалась на нее, пока бабочка жила в банке, и мы каждый день пробивали в крышке новые дырочки, боясь, что она задохнется.

А потом, как-то раз, совершенно неожиданно, Моргана достала ее и проткнула булавкой. И я спросила Моргану, зачем она это сделала, и почувствовала, что она сделала это из-за меня, потому что я ее не остановила или не хотела остановить.

Моргана ответила мне, рассматривая блестящий кончик иглы, вышедший из тельца насекомого:

— Она скоро умрет, и краски осыпятся с крыльев. Хочу, чтобы она была моей.

— Но она же будет мертвая.

— Ага, — сказала тогда Моргана и отправила в рот клубничный леденец на палочке. Ей уже тогда нравились мертвые вещи.

Я до сих пор чувствую себя виноватой перед той бабочкой.

Я поднимаюсь и по лунной дорожке иду к окну, выглядываю в сад, вдыхаю запах ночных цветов, смотрю, как блестят от воды листья. Как чудесно, думаю я, глядя в небо, где зарождается лето. Мне хочется улыбнуться, и я улыбаюсь. А потом, как пуля, которую вовсе не ожидаешь получить в голову, выходя в магазин за хлебом (сравнение из книги, которую я читала, сама я не много понимаю о путешествиях за хлебом), в мой мозг вонзается мысль.

Луна, и ночной сад, и капли дождя, и вся идиллия мая, и теплая ночь, все это неправда. Полночь минула, абсолютно точно. Наш двор усеян маленькими пернатыми самоубийцами, и капли на листьях вовсе не дождь, и это не плющ распространяет такой одуряющий запах. Я

отступаю от окна, снова по лунной дорожке, которая не должна проникать сквозь заляпанное окно. Захлопнув его, я закрываю окно на защелку, чтобы не дать гнили проникнуть внутрь. В этот момент я ощущаю легкую щекотку под коленкой. Будто чьи-то лапки перебирают по моей коже, стремясь вверх. Тонкие-тонкие лапки. Я отчего-то ожидаю увидеть бабочку, ту самую бабочку из нашего жестокого детства, которая сквозь столько лет все-таки добралась до меня. Щекотка не прекращается, но я не вижу никого. И в то же время ощущения настолько яркие и реалистичные, что я и думать не могу о том, что мне кажется. Кто-то невидимый взбирается вверх, и я очень боюсь, что он укусит меня. Я бросаюсь под кровать Морганы, достаю ее шкатулки, и пытаюсь найти ту, в которой спрятаны часы. Я должна, должна ее помнить. Белая, с балеринами, тоненькими и акварельными, в пачках, похожих на облачка во время заката. Что-то взбирается вверх по моей спине, и я неудержимо боюсь, что оно доберется до моей шеи или головы, что оно заползет мне в нос, я пытаюсь стряхнуть его, но ничего не получается. Моргана, я уверена, не одобрит моих действий. Я имею в виду, я собираюсь совершить нечто противоправное, однако в экстренной ситуации для того, чтобы спасти себя, иногда можно заниматься вредительством. Я уверена, что не найду ключ от крохотного замочка, и поэтому я разбиваю шкатулку. Осколки фарфора летят на пол, обнажая кучу всяких мелочей, пуговицы, жемчужинки, таблетки, засохшие лаки для ногтей, складной ножик и детский рисунок, где есть четыре сердечка с нашими именами, а вместе с этими мелочами выпадают и часы с кулоном. Я режусь об острые осколки, пытаюсь схватить их, и одновременно скинуть существо. Оно снова скользит вниз по моей ноге. Я открываю крышку часов, перевожу их стрелки ровно на сутки, проворачивая полный круг. Крепко сжав амулет и часы, я стараюсь сосредоточиться, но меня отвлекает движение существа по моему телу. Мне ужасно страшно, больше от неизвестности, чем от того, что происходит нечто неестественное. Я волшебница, я готова к разным вещам, но мне хочется их видеть. И когда это желание, желание видеть — достигает своего апогея, кулон на секунду вспыхивает, а потом становится совершенно прозрачным, сила в нем закончилась, ушла из него, будто и не бывала там, теперь это просто безделушка. Я так хотела видеть, но когда это желание исполняется, я не спешу в полной мере им насладиться. Нарочито медленно, будто стараясь отдалить момент встречи с тем, что ползает по мне, я захопываю крышку часов и перевожу взгляд на живот, где ощущается движение. И я вижу существо, сотканное, кажется, из одних только теней. Я даже не совсем уверена в том, что это насекомое, такое оно быстрое и такое неправильное. У него, наверное, с десятков лапок, все они постоянно подергиваются, и совсем нет глаз. Это слепое, несчастное существо, его скорее хочется пожалеть, чем убить, и в то же время чувствую подкатывающую к горлу тошноту, мне не нравится, что оно прикасается ко мне. Я пытаюсь стряхнуть его с живота, и оно уцепляется за руку, начинает свой путь вверх по моим пальцам. Существо размером меньше мыши, но мне вдруг становится ужасно страшно. Я стараюсь стряхнуть его с одной руки, и оно перебирается на другую.

Паучок. Паучки живут в тенях, поэтому они из тени. Мне очень страшно, но есть кое-что намного страшнее. Я слышу шорохи и скрипы, и знаю, что если обернусь, то увижу еще что-то. Не что-то. Я знаю, что именно. И, я оборачиваюсь. На залитом луной, пробивающейся сквозь кровавую кашу на стеклах, пространстве стоят они.

Они стоят передо мной, невидимая армия маленького мальчика, никогда не встречавшего живых зверей. Калечные, маленькие, глазастые зверьки. Я вижу щенка с перебитой лапкой, его зубы длиннее, чем полагается нормальной собаке, он не

пропорционален, как детский рисунок. Я вижу лисичку, в чей открытой груди бьется сердечко, как на детских рисунках, совершенно не анатомичное, но истекающее кровью. Я вижу кота с порванным ушком, он ближе всего к своему прототипу в природе, наименее искажен. Быть может, Номер Девятнадцать видел настоящих котов. Однако все тело этого маленького существа покрыто раковыми опухолями, истекающими гноем и вздувающимися при каждом шаге. Я вижу двухголовую мышку, и слышу ее непрерывное, болезненное попискивание. Я вижу лягушку, из плоти которой торчат провода, которые, казалось, только и связывают части ее тела. Чудовищные, несчастные, искалеченные существа. Я прижимаю руку ко рту.

Енот, чья челюсть вырвана капает кровью на пол. Я вспоминаю двухголового кота, которого рисовала Моргана. Мы часто представляли себе Маленьких Друзей. Номер Девятнадцать был их создателем и их мучителем. Он представлял, как мучает этих зверушек точно так же, как мучили его. Они все подрагивают, конвульсивно, испуганно. Невидимая армия взирает на меня, по крайней мере у части этой армии действительно есть глаза. Я издаю нелепый писк, встаю. Мне хочется попятиться, но позади меня кровать. Обе части змейки, разрубленной напополам устремляются ко мне.

В этих зверях нет ничего страшного, скорее они несчастны, и в то же время так оглушительно, невероятно неправильны. У тех из них, у кого есть глаза, они тусклые, неживые, не видевшие света. Это все жертвы Номера Девятнадцать, и в то же время это все — Номер Девятнадцать.

Пораженные раковыми опухолями, растерзанные, обвязанные бинтами, лишённые конечностей, они все — его боль. И они смотрят на меня, воплощенные детские фантазии, страдающие от боли и дрожащие от страха. Они смотрят на меня, а я смотрю на них, залитых лунным светом, приобретающем, проходя сквозь алые стекла, красноватый оттенок.

Меня тошнит, это так отвратительно, что я чувствую, как ком подступает к моему горлу вверх, и разбухает там.

А потом все эти существа мгновенно бросаются ко мне. Я закрываю глаза руками, мне нужно произнести заклинание или бросить в них что-нибудь, мне нужно сделать что угодно, но в этот момент я ни до чего не могу додуматься. Теплая, шерстистая, влажная от крови волна сбивает меня с ног. Я ожидаю, и почти готова к этому, что чьи-то зубы вцепятся в мое горло, что меня будут рвать на части, что вся та боль, которую Номер Девятнадцать выместил на этих зверьках, будет вымещена теперь на мне.

И мне безумно страшно, как будто я оказалась в эпицентре бури, и мне негде укрыться. Я пишу, пытаюсь отползти, а потом понимаю, что эти зверушки не кусают и не царапают меня. Они ласкаются ко мне. Вот кот трется о мои ноги, и я чувствую, как отслаиваются куски его кожи, щенок облизывает мои пальцы. Мышка, или лучше сказать мышки, тыкаются в руки. Их очень много, я не всех успела рассмотреть, но теперь они рядом, и я чувствую десятки теплых, бьющихся тел, и меня накрывает паника, уже от того, что я могу задеть их, навредить, от того, что любимое мое движение причинит им боль, и мне кажется, что я специально двигаюсь неосторожно. Паника настолько сильная, что я забываю о том, что за страшные существа передо мной. Я будто принцесса из очень и очень плохого Диснеевского мультфильма, окруженная лесными и домашними зверьками. Звери ласкаются ко мне, оставляя пятна крови, гноя, обрывки своей кожи и плоти, иногда я чувствую чьи-то хрупкие косточки.

Я начинаю плакать, не смея шевельнуться, и языки облизывают мне руки и ноги. Эти

языки либо мертвые и очень холодные, либо неприятно горячие и влажные от текущей по ним крови.

Я плачу и плачу, и какой-то, пахнувший мертвечиной и еще чем-то резким, химическим, зверек, крохотный, похожий на ласку, слизывает мои слезы. У моих ног в пушистый, черно-белый комок свернулся безголовый барсук, это единственный для него способ проявить ласку.

И тогда я начинаю кричать. Я кричу громко, сквозь слезы, вовсе не потому, что кто-то хочет меня загрызть. Мне страшно пошевелиться и причинить боль этим крохотным, пугающим существам. Маленьким Дружьям Номера Девятнадцать.

Мне кажется, я верещу целую вечность, а чьи-то хрупкие лапки гладят меня, будто хотят успокоить. Слезы никак не останавливаются. Перестав кричать, я шепчу тихим, хриплым голосом:

— Простите меня, милые, отпустите меня! Я ничем не могу вам помочь!

Любое мое движение причинит вам боль. По моим руке скользит половинка змейки, и я боюсь ей двинуть. Вторая рука оказывается свободна, поэтому я протягиваю ее к лисичке с кровоточащим сердцем. Я вижу что в ее лоснящейся шерсти спрятаны украшения. Я перебираю тонкие бусинки, иду по ним, будто по тропинке, спускаясь вниз, осторожно, так чтобы не свернуть никуда, и не попасть в разверстую лисью рану. Я нащупываю кулон, спрятавшийся в густой шерсти прямо над раной. В прекрасно вырезанной золотой рамочке переливается изумруд, огромный и невероятно зеленый. Лиса чуть склоняет голову, будто помогает мне снять с нее украшение. И когда я его снимаю, щенок перехватывает цепочку, и я боюсь двинуться, задеть его, замираю, а он встает на задние лапки, опираясь на мои плечи, и надевает кулон на меня.

Именно в этот момент я слышу, как открывается дверь. Я ожидаю услышать голос Морганы, но говорит Гвиневра.

— Вивиана!

— Я здесь, — слабо отзываюсь я. Гвиневра готовит заклинание, я слышу ее шепот и кричу:

— Нет!

Но поздно, заклинание отбрасывает от меня зверей, и они издают тонкие, жалобные звуки, от которых мне хочется плакать снова и еще горше, и в то же время часть меня остается совершенно бесчувственной, как и всегда. Часть меня думает, что сейчас ее стошнит.

Гвиневра подбегает ко мне, вздергивает меня за руку, шипит:

— Теперь мы квиты!

— Ты не так поняла, не так поняла, — шепчу я. Но Гвиневра выводит меня из комнаты, захлопывает дверь и приваливается к ней. Я делаю то же самое. Некоторое время мы молчим, меня трясет.

— Ты видела то же, что и я? — спрашиваю я, наконец, и зубы у меня стучат от страха.

— Конечно. Неужели ты думаешь, что я позволила бы им скрыть от меня правду?

— Но как ты...

— Заткнись, я же не спрашиваю, как это сделала ты.

Кто-то скребется в дверь, жалобно скулит и причитает, я дрожу. Я нащупываю рукой кулон, сжимаю его.

— Где Моргана?

— Они на чердаке. Кое-что нашли. Меня больше интересует, где взрослые.

Гвиневра смотрит на кулон, который я сжимаю в руке.

— Что это?

— Изумруд, — говорю я.

— То-то меня интересуют минералы сейчас, хорошо, что ты заметила.

Гвиневру всегда интересуют лишь способы задеть кого-то побольнее, думаю я, и еще — способы быть первой во всем.

— Я нашла его там. У...стремных зверьков.

— Маленьких Друзей?

— Откуда ты знаешь?

— Я кое-что помню из нашего детства. Пойдем на чердак. Посмотришь кое-на-что.

Я чувствую раздражение, такое сильное, что единственное, чего мне хочется — приложить Гвиневру головой об стенку. Ничья подруга зовет меня на чердак к моим друзьям, чтобы показать что-то, что она уже видела, а я нет.

Однако через секунду я понимаю, что злюсь, на самом деле, на своих друзей, которые должны были прийти за мной вместо Гвиневры.

Гвиневра встает, вздергивает меня на ноги, а я снова подаюсь к двери, слушая скулеж и скрежет коготков по деревянной обшивке.

— Пойдем, — говорит Гвиневра. — Не время для сентиментальной песенки из мультфильма, ты же понимаешь?

И я бегу вслед за Гвиневрой по винтовой лестнице наверх, на чердак, где Гвиневра не была уже Бог знает сколько времени. Первый, кого я вижу на чердаке это Гарет. Именно потому, что он здесь ровно так же непривычен, как и Гвиневра, а наш мозг всегда в первый момент замечает непривычное. Как люди в детективах, которые видят в собственной давно знакомой квартире нечто подозрительное.

Гарет махает мне, говорит:

— Ну, привет.

— Привет, — оторопело говорю я. Ребята сидят под широким и длинным пледом, развешенном на старых колченогих стульях. Чердачная пыль заставляет меня чихнуть. Я вдруг вспоминаю точно такие же посиделки, которые мы устраивали, когда нам было по одиннадцать. Тогда мы тоже были все вместе и тот же самый плед висел у нас над головами, мы передавали друг другу фонарики и рассказывали страшные истории о мире снаружи, чтобы не так сильно туда хотеть.

Удивительное дело, мои прошлое и настоящее, будто сливаются в единый поток, по которому меня несет и наряду с раздражением на Гарета и Гвиневру, я чувствую к ним детскую нежность. Кэй галантным жестом приглашает меня в шалаш.

Мы стали для него слишком велики и импровизированный шерстяной потолок теперь упирается мне прямо в макушку.

Моргана и Ниветта сидят в глубине нашего шалаша, Моргана очаровательно улыбается мне, а Ниветта разводит руками. Кажется, они понимают, что я немного зла. Мы слишком хорошо друг друга знаем, чтобы не считать мельчайшие оттенки эмоций. А может я слишком высокого мнения о своей способности сохранять безразличное выражение лица.

Я занимаю свое место, мы рассаживаемся ровно так же, как сидели в детстве, и Гарет оказывается рядом с Кэем, а я между Морганой и Гвиневрой.

— Ну? — говорю я.

— Ты просто не поверишь, что мы нашли, — тянет Ниветта. — Ни за что не поверишь.

— Дверь в реальный мир? — спрашиваю я привычно, и понимаю, что это самый первый ответ на подобные реплики, который приходит ко мне всегда.

Моргана качает головой, ее сытая, хищная улыбка становится шире, а синие глаза загораются чем-то диковатым. Они с Ниветтой одновременно тянутся к плетеной корзинке, в которой мы носим срезанные цветы и садовые принадлежности, когда настает время ухаживать за клумбами и деревьями. Моргана медленно выуживает из корзинки сначала черную тетрадь, совершенно идентичную дневнику Номера Девятнадцать, потом молочный зуб, от времени ставший будто прозрачным, и, наконец, браслет с биркой, той самой, на которой горит алым цифра девятнадцать.

— Номер Девятнадцать — реален, — говорит Ниветта. — Мы с Кэем тоже это видим.

— Не хочу говорить, кто был прав, хотя стойте, именно этого я и хочу, — говорит Моргана. Она раскрывает тетрадь.

— Она принадлежит Номеру Девятнадцать? — спрашиваю я. Моргана задумчиво смотрит на мой кулон, говорит:

— У меня такого не было.

— У меня тоже. Но кому принадлежит тетрадь?

— Номеру Двенадцать, — отвечает Гвиневра. — Полагаю, что зуб принадлежит Номеру Четыре.

Моргана листает тетрадь, где вместо слов ровные клеточки вмещают рисунки. Я вижу то, что рисовал бы каждый мальчишка — оружие, солдат, рыцарей с большими, больше них самих мечами, больших зверей, полосатых тигров и косматых медведей. Номер Двенадцать рисовал ровно то, что рисовал бы на его месте любой другой ребенок. Его рисунки не производят отталкивающего, жуткого впечатления, как дневники Номера Девятнадцать. Страшно совсем другое. Почти на каждой странице горят пятна давно засохшей крови, иногда они размывают линии фломастера, превращая рисунок в месиво, иногда остаются в пустом пространстве. Моргана все листает тетрадь, и с каждым разом крови становится все больше, а рисунки становятся все злее, теперь нарисованная кровь соседствует с настоящей, у рыцарей не остается голов, звери разрывают друг друга в смертельном танце, солдаты прошиты пулями. Последнюю четверть тетради составляют порванные листы. Кто-то был очень зол, кто-то выдирал их, один за одним, уродуя бумагу. Последняя страница однако сохранилась. На ней нарисован схематичный, старательной рукой выведенный домик, а рядом с ним, взявшись за руки, стоит семья. Мама, папа и я, гласят подписи. Папа — высокий мужчина в военной форме, у мамы причудливая шляпа и длинное платье, и у обоих большие, светлые глаза и широкие улыбки. Мальчик, стоящий между ними, не улыбается. Уголки его губ, изображенных черным фломастером опущены. На нем больничная форма, мятно-зеленого, противного цвета.

У Номера Двенадцать были родители. В отличие от Номера Девятнадцать, он не вырос в больнице. Наверное, он начал вести альбом, когда только попал туда, поэтому рисунки на первых страницах выглядят такими обычными.

Я говорю:

— А с чего бы взяли, что зуб принадлежит Номеру Четыре?

Ниветта его переворачивает, и я вижу, что на нем блестит посеребренная пломба, на которой выжжен номер четыре. Я беру зуб, верчу его в руке. Внутри пломбы или в чем-то вроде нее что-то все еще плескается. Я вспоминаю легенду о емкости с цианидом во рту у

Мордред, о блеске на его зубе, вдыхаю и забываю выдохнуть.

— То есть? — говорит Кэй. — Номер Девятнадцать и его друзья здесь учились, но умерли во время резни?

Я, Моргана и Гвиневра одновременно качаем головами.

— Они живы, — говорит Моргана. — В самом прямом смысле этого слова.

— Взрослые, — говорит Гвиневра.

А я вспоминаю запах мокрого от дождя леса, наполнявший мои легкие то ли во сне, то ли в видении. Что будем делать с Номером Четыре, вспоминаю я, и еще вспоминаю: он такой легкий.

И тут же вспоминаю, как Галахад доставал бьющееся свиное сердце. И как он говорил, что живет благодаря звериным органам, которые вложил в него Мордред.

— Они стали волшебниками! — говорит Моргана. — Вот как они выбрались! В них пробудилась магия, и они пришли сюда, в школу.

— Иными словами, — говорит Гвиневра. — Не вы ответственные за то, что Номер Девятнадцать устраивает нам "Призрак Дома на Холме".

— Или мы, — говорит Моргана. — Мы звали его. Думаю, Мордред сам не рад, что...

— Мордред?! — восклицает Кэй.

— А ты как думаешь, умник? Кто из наших взрослых больше всего похож на жуткого мальчика-убийцу? — спрашивает Гарет.

— Все, — говорит Кэй. — А то ты не знаешь.

— Мордред, это рабочая гипотеза, — говорит Гвиневра. — Но мы точно знаем, что Галахад — Номер Четыре. Он мертв.

— Мы точно знаем, — говорю я. — Что Мордред — Номер Девятнадцать. Галахад говорил, что именно Мордред вернул его из мертвых.

— Но Номер Двенадцать тоже мог вернуть Номера Четыре.

— Нет, — говорю я, вспоминая свое видение. — Номер Двенадцать тогда ничего не мог. Все делал Номер Девятнадцать.

Я рассказываю им то, что я слышала и чувствовала, однако совершенно не видела во сне, а потом и то, что произошло после. Все слушают меня, затаив дыхание, и я чувствую себя совершенно как в детстве.

Только теперь все намного сложнее. И я понятия не имею, что мы должны делать с этой информацией. Может быть, просто жить дальше было бы вернее всего.

Некоторое время мы молча смиряем друг друга взглядами, в которых читается одно и то же — недоумение. Я не уверена, что когда-либо хотела знать о том, что наши взрослые и есть Номер Девятнадцать, Номер Четыре и Номер Двенадцать.

Кроме того, мне кажется, что у Морганы энтузиазма по поводу Номера Девятнадцать значительно поубавилось. Он больше не пленительная сказка, не способ проверить свою власть, он человек из плоти и крови.

Гвиневра говорит:

— Я подозревала, что они лгали нам все это время.

— Они не лгали, — говорю я. — Не совсем лгали. Они просто не говорили нам о том, кем являлись до пришествия в школу. Столько лет прошло, думаешь им было приятно об этом вспоминать? Думаешь это вроде семейной истории, которую можно рассказать детишкам?

Ниветта гладит меня по руке, успокаивающим легким движением.

— Ну, ну, девочка, ты слишком близко к сердцу принимаешь...

Но Моргана ее перебивает:

— Номер Девятнадцать жив, и все это время он, вероятно, догадывался, что мы ему поклоняемся, — в ее голосе слышится обида.

— Или понятия не имел и был приятно удивлен, — говорит Гарет.

— Ой, заткнись. Я думаю, все он знает.

Глаза Морганы наполняются злым, способным прожечь дыру в металле огнем. Ей кажется, будто Мордред обманул ее, и она в ярости. Я не совсем понимаю причины возникновения ее эмоций, однако сами они для меня — открытая книга.

— Мы должны найти их, — говорит Моргана.

— В здании их нет, я осмотрела все комнаты, — говорит Гвинебра с готовностью. Мы с Ниветтой и Кэем, как и всегда, настороженно переглядываемся, опасаясь быть втянутыми в авантюру Морганы. И не понимая, что мы уже втянуты в нее.

— Может быть, они у пруда? — спрашивает Гарет. — Дальше всего от нас.

— Разумная мысль, — говорит Моргана, а потом поднимается первой, плед покрывает ей голову, и выглядит как накидка какой-то восточной царевны, однако, в шотландском стиле.

— Какая эклектика, — говорит Ниветта.

— Разумнее было бы, если бы мы с Ниветтой пошли вдвоем.

Я тут же чувствую укол ревности. Так значит я больше не первая фаворитка Морганы, я больше не достойна подвергать себя опасности ради нее. Часть меня надеется, что вещи Морганы безнадежно испорчены Маленькими Друзьями ее драгоценного Номера Девятнадцать. Номера Девятнадцать, повторяю я мысленно, Мордреда.

И что это за кулон? Под одеждой он не нагревается от моего тела, оставаясь холодным, будто не тронутым. Я решаю не вспоминать о нем, по крайней мере пока. Не стоит без причины плодить сущности.

Моргана скидывает с себя и прямо на нас плед, и мы оказываемся в полной темноте, Гвинебра первой выпутывается из плена, говорит:

— Это опасно. Нам нужно заклинание невидимости. И чтобы они не услышали нас.

— Что-то вроде того, что ты использовала, когда нам пришлось тебя спасти? — уточняет Моргана, но Гвинебра даже не меняется в лице, она просто кивает.

— Да. Именно.

Некоторое время она сосредоточенно совершает над нами загадочные пассы руками, потом гортанно выкрикивает заклинание и, в общем-то, все. Я не чувствую, чтобы что-то изменилось, магия во мне, по крайней мере, на эти изменения не реагирует.

Может быть, она должна изменить восприятие взрослых. Если так, то Гвинебра действительно очень могущественна.

Пока мы спускаемся по лестнице, переговариваясь и ни от кого не таясь, я думаю о том, сколько же раз за последнее время мне приходилось подслушивать людей. Мне положительно надоедает лезть в чужие дела, слушать чужие тайны и раскрывать чужие секреты. Я могу авторитетно заявить, что хватит с меня этих загадочных историй, погребенных под землями нашего удивительного сада.

Мне остро хочется, чтобы сад с пионами и лилиями, и другими прекрасными цветами, и моими любимыми незабудками, конечно, и дом с широкими балконами и викторианским фронтоном, и классные комнаты, и маленькие вещички из моего детства, разбросанные по

всем комнатам, оставались лишь сами собой.

Я устала от того, что ничто не оказывается тем, чем кажется. Меня это даже бесит.

Ниветта говорит:

— Никогда не думала, что намного лучше будет учиться, чем выяснять, в чем взрослые не правы.

— Не, я не хочу учиться.

— Ты вот сейчас никого не удивил.

Я и Гвиневра переступаем через трупы ласточек, чувствуем, как хлюпает полная крови земля под ногами и стараемся сдержать тошноту. Ниветта и Кэй идут за нами, стараясь повторять наши шаги и не наткнуться на то, чего они не видят.

И что все-таки существует. Моргана, хоть я и не обновила ее заклинание, не утруждает себя такими глупостями. Она не брезгливая. Гарет идет через сад насвистывая.

— Эх, — говорит он. — Прямо жаль, что я не вижу всей это красоты.

— Блин! — говорит Кэй, и выражает тем самым всеобщий консенсус по поводу Гарета и его своеобразной эстетики.

Мы идем к пруду. Услышав, голоса взрослых, мы мгновенно затихаем, однако Гвиневра машет рукой, говорит:

— Все в порядке.

Она говорит это в полный голос, и я уверена, что разговор взрослых тут же прервется, однако этого не случается. Ланселот продолжает вещать, как ни в чем не бывало.

— Ты сходишь с ума, Мордред, у тебя с головой проблемы. Ты устал, тебе нужно выдохнуть. Прошло столько гребаных лет, что ты мог бы уже и попустить. Но ты подвергаешь опасности нас, ты подвергаешь опасности детей, ты подвергаешь опасности все, во что мы верили.

— Ланселот, — примирительно говорит Галахад. — Ты слишком критичен. Давай посмотрим на ситуацию со стороны Мордреда.

Мы подходим ближе, прямо к ним, совершенно не стесняясь. Нашу с Морганой магию Галахад почуял сразу, а вот магия Гвиневры работает вполне себе конспиративно.

Взрослые стоят у пруда, зацветшего к лету окончательно. В темной, стоячей воде отправляются в свое бесконечное плавание трупы птиц, и в свете луны их раскрытые, жаждущие чего-то клювы выглядят еще более жуткими.

— Ты сходишь с ума, — говорит Галахад почти нежно. Так говорят с больными детьми. — Ты сходишь с ума, тебе очень плохо. Я знаю, я чувствую.

Галахад и Ланселот сами не свои, они бледные, Ланселот скалится, а Галахад сцепляет и расцепляет пальцы. Сейчас они и вправду похожи на маленьких детей, которые чего-то очень сильно боятся — в них есть то, чего я никогда прежде не замечала — уязвимость.

Мордред стоит лицом к пруду и наблюдает за птицами. Спина у него прямая и периодически он принимается насвистывать ту самую песенку, которую насвистывал и Номер Девятнадцать, когда шел по коридорам своей больницы.

За всем следят машины любви и благодати.

Мне вспоминается голос Номера Девятнадцать, который рассказывал о том, как вырвал глаза рыжей женщине. Ее волосы были такими же длинными и огненными, как волосы Королевы Опустошенных Земель.

Может быть, воплощенное безумие Мордреда так и выглядело. Рыжая женщина с длинным мечом, которая, в определенном смысле, есть смерть. Она королева тех, кто

обречен, как на гобеленах, висящих в том бесконечном зале.

Мордред совершенно спокоен, хотя Ланселот и Галахад, пытаясь донести до него хоть что-то почти кричат.

— Послушай нас!

— Ты всех здесь погубишь! Мы не знаем, что делать, но если ты нам доверишься, то мы попробуем тебе помочь!

— Только мы не знаем, как!

— Заткнись, Ланселот! — рычит Галахад с неожиданной для его мягкого голоса звериной интонацией, и я вспоминаю, что физически он намного больше зверь, чем человек.

Мордред поднимает руку, жестом останавливая их разговор.

— Это ни к чему не приведет, — говорит он. Голос у него очень спокойный, и я не вижу его лица. От этого мне немного страшно. Как если перед вами человек, и он сделал шаг вперед, а его тень осталась на месте. Ощущение неправильности, неписанности в естественные законы и оттого — жути происходящего.

На палец Мордреду садится мотылек, большой и пушистый, с загнутым в спираль хоботком, и похожими на крохотные, жилистые листики ушками. Мордред смотрит на него секунд с пять, потом чуть склоняет голову набок и снова начинает насвистывать песню. Его палец прижимает мотылька к ладони, и я слышу, как хлопают крылышки насекомого, пытающегося вырваться.

Мордред говорит:

— Я не хотел бы, чтобы вы в это лезли.

Он отрывает мотыльку сначала одно крыло, потом другое, и отправляет их в плаванье по стоялой воде вместе с трупами ласточке. Извивающееся тельце Мордред с осторожностью усаживает в пасть ближайшей кувшинке. А потом он резко разворачивается к Ланселоту и Галахад, а значит к нам, и мы вздрагиваем, все и одновременно, кроме Гвинеvры. Она уверена, что нас не заметят и нас не замечают.

Мордред сжимает руку и Ланселот хватается за горло, кашляет, а потом ртом у него хлыщет кровь.

— Послушай меня, — говорит Мордред очень спокойно, и тон его совершенно не вяжется с тем, как толчками выходит кровь из горла Ланселота. — Ты — мой друг.

Мордред говорит очень неторопливо, будто у него есть все время мира и спешить ему некуда. Я вижу, как побелела Гвинеvра, и что губы ее шевелятся, она хочет произнести заклинание. Ее останавливает Моргана, закрывает ее рот, шепчет на ухо, убрав ее волосы нежным движением:

— Мы не должны выдавать себя, милая.

Гвинеvра кивает, это действительно кажется правильным. А потом со всей силы врезает локтем по ребрам Морганы.

— Отойди от меня, я справлюсь.

Я и Ниветта делаем шаг к Гвинеvре, едва не завязывается драка, но драматичный момент снова нас отвлекает.

Ланселот бледный, и его колотит, но магия Мордред мешает ему упасть. Мордред как-будто поддерживает его, потому что чем иначе объяснить то, что Ланселот, побелев от кровопотери еще стоит на ногах.

— Мы должны что-то сделать! Иначе он умрет! — шипит Гвинеvра.

— Не думаю, что Мордред убьет его, — говорит Моргана. И она права. В тот момент,

когда глаза Ланселота тускнеют а тело обмякает, Мордред щелкает пальцами, и кровь начинает течь обратно, возвращается в него бурным потоком, поблескивающим в свете луны.

— Зачем? — спрашивает Галахад. Он все это время стоит спокойно, понимая цену крови или понимая, что с Мордредом разговаривать бесполезно. Я бы тоже не стала этого делать.

Мордред кажется очень больным. Под глазами у него темные, жутковатые синяки, скулы выглядят еще острее, еще болезненнее, он кажется бледным, будто это в нем, а не в Ланселоте, не осталось ни единой кровинки, его губы болезненно сжаты.

Он выглядит, как очень больной человек, и я вспоминаю его взгляд — тот самый, как будто он вот-вот свихнется. Теперь синева его глаз говорит об этом еще громче.

— Мордред, — шепчу я одними губами. Сейчас он как никогда напоминает Номера Девятнадцать, он так же бледен и его черты так же остры. Я думаю «напоминает Номера Девятнадцать», не вполне осознавая, что Мордред и есть Номер Девятнадцать.

— Ты мой друг, — продолжает Мордред, когда Ланселот снова открывает глаза. Одним движением руки он прижимает Галахада и Ланселота к деревьям, так что один из острых сучьев протыкает Галахаду бок. Галахад отламывает его как ни в чем не бывало. Ланселот больно ударяется головой и громко ругается самым нецензурным образом.

— Придержи язык, — говорит Мордред. Голос у него абсолютно спокойный, но беззащитность перед чем-то внутренним, что грызет и подтачивает его, рвется наружу сквозь взгляд.

— Не лезьте сюда.

— Но дети... — начинает Галахад.

— Я не представляю для них опасности. Я ни для кого не представляю опасности.

— Ты только что вылил из меня пять литров крови, мудака! — говорит Ланселот.

— Иначе ты бы никогда не заткнулся, — говорит Мордред, чуть склонив голову набок.

— Знаешь что? Иди к черту, Мордред. Из-за тебя мы влипли в это дерьмо, из-за тебя оказались здесь...

— Из-за меня — вышли оттуда. По-моему, вполне выгодный обмен.

— А теперь все рушится, — говорит Ланселот, он сплевывает остатки крови Мордреду под ноги, разворачивается и уходит в сторону сада, по пути громко и сильно пнув ворота.

— Ты слишком груб с ним, — говорит Галахад осторожно.

— И недостаточно груб с тобой.

Галахад смотрит на Мордреда долго и молча. В лунном свете он кажется еще белее, кажется и вовсе призраком.

— Ты можешь больше нас, — говорит Галахад. — Иногда мне кажется, что ты можешь снять луну с неба, если захочешь. Именно поэтому мы не можем оставить тебя в покое, когда тебе плохо. Расскажи мне, Мордред, что происходит?

Мордред смотрит на Галахада холодно.

— Все в порядке. Меня несколько накрыло воспоминаниями. Вот и все.

— Ты сходишь с ума?

— Я сошел с ума. И давно. Я адаптирован к собственному разуму.

— По крайней мере, ты так думал.

— Я так думал, — соглашается Мордред. Голос у него очень нормальный, такой, будто все действительно в порядке.

— Я хочу тебе помочь.

— Странно, я не стал бы тебе помогать.

— Ты уже помог.

Мордред кивает.

— И этого достаточно. Ты ничем мне не обязан. Уходи.

Моргана шепчет:

— Тут мы больше ничего не услышим. Мудила никогда не скажет правды. А вот Ланселот зол! Он может проболтаться!

— Или убить нас, — мрачно говорит Ниветта. Но мы уже семеним по тропе, почти впитавшей кровь, за Ланселотом. Я иду позади всех, и мне ужасно хочется обернуться к Мордреду, так сильно, будто я не увижу его больше.

Мордред и Галахад смотрят друг на друга, и Мордред стоит очень прямо, а Галахад ссутулившись, склонившись, как будто это он несет груз той тоски, которая съедает Мордреда.

Как будто это Галахад понимает, до чего они дошли в своей жажде выжить, а Мордред не понимает ничего и ничего не видит. Для него все остается в порядке, по крайней мере внешне.

Он закуривает, и я вижу алую звездочку его сигареты, пронзающую ночь.

Он очень устал, понимаю я. Но это на его плечах вся тяжесть их мира.

И я не знаю, справится ли он с этой тяжестью, а если не он, то кто тогда?

— Вивиана? — окликает меня Кэй, и я не сразу воспринимаю его голос. Для меня будто нет ничего, кроме огонька этой далекой сигареты. Галахад не закуривает, остается в тени.

— Пойдем! — настойчиво повторяет Кэй.

И я, очень жалея непонятно о чем, позволяю Кэю увести меня за собой.

Отчего-то мне ужасно не хочется покидать Мордреда.

Мы бежим за Ланселотом вслед. Он не видит нас и не слышит, и это проблема. Быстрее всех оказывается Гвиневра. Я и подумать не могла, что она может набрать такой темп. Мы с Ниветтой отстаем, даже Гарет ушел безнадежно вперед.

Я кашляю, Ниветта тоже, и мы начинаем смеяться, что еще больше затрудняет наш бег.

Это странно, потому что по-хорошему ситуация ведь совершенно не смешная. Она непонятная, страшноватая, загадочная и интересная, в конце концов, но уж точно не смешная. Мы останавливаемся, одновременно, взрыв землю под ногами низкими каблуками туфель, и сгибаемся пополам, пытаюсь отдышаться и перестать хохотать. Получается плохо.

— Эй! — говорит Кэй. — Вы чего?

— Идите дальше без нас!

— Мы сейчас придем, — выдавливаю я.

Мы остаемся в саду перед домом одни, выхваченные золотым светом фонаря из ночи. Кулон холодит мне грудь там, где сердце.

— То есть, — говорит Ниветта. — Повторим и закрепим.

— Закрепим и повторим, — отзываюсь я, и мы обе снова начинаем смеяться.

— Мы все детство поклонялись собственному директору, — говорит Ниветта неожиданно серьезно. Я киваю, стараясь сделать такое же мрачное лицо, но в итоге начинаю некрасивейшим образом хохотать.

— Это, — начинаю я, задыхаясь. — Просто иронично. Я имею в виду, это же даже не смешно.

— Я вообще не знаю, почему я смеюсь.

— Просто мой мозг решил, что это настолько странное сочетание, настолько поразному сошлись две важных вещи в моей жизни, что это оказалось смешно.

Ниветта хмыкает.

— Я читала, что смех это защитная реакция мозга на стресс. Какие-то вещи настолько не совпадают друг с другом, кажутся настолько неправильными и так не сочетаются, что ты начинаешь смеяться.

И мы снова начинаем смеяться. А потом, когда спазмы, наконец, утихают, вступаем из-под фонаря на крыльцо, и я открываю дверь.

Первое, что пронзает мой слух — выстрелы. Я давным-давно их не слышала. В последний раз, когда Ланселот пытался научить Кэя охотиться в тринадцать. Мы с Ниветтой бросаемся на звук одновременно, на меня вдруг снова нападает смех, но я сдерживаю себя.

Звук идет из зимнего сада в задней части дома. Весной и летом там почти никого не бывает, только иногда приходится поддерживать цветы магией, Галахад говорит, это хорошая тренировка.

Мы называем это место зимним садом, хотя на зимний сад в классическом понимании, то есть на то, что описывают в книгах и показывают в фильмах, он не похож. Это просторный белый зал с высокими арками окон и длинными рядами абсолютно белых стеллажей.

Моргана в детстве называла зимний сад библиотекой цветов, и определенное сходство действительно есть. На высоких стеллажах ровными рядами стоят укрытые прозрачными стеклянными колпаками цветы. Здесь есть все, от покрытых невесомым пухом одуванчиков

до экзотических орхидей. Розы десятков видов теснятся рядом с колокольчиками. Скромные гвоздики рядом с похожими на звезды, по крайней мере по мнению древних, астрами.

Цветы причудливо разделены на группы, но никто из нас так и не понял логики, которая вложена в эти последовательности. Цветы образуют причудливые скопления алого, желтого, голубого и синего, белого, однако группки, разделенные так, всегда небольшие.

Я думаю, что Мордред, а без сомнения автор этой затеи именно он, ведь он любит цветы, хотел создать в этом пространстве что-то вроде букета. Последовательность, в которой на стеллажах стоят цветы, ряды полевых, но обязательно синих, ряды полевых, исключительно желтых, а между ними породистые, королевские розы невероятных оттенков — порождена исключительно его разумом.

Истинный смысл этого букета может знать только Мордред, но выглядит зимний сад причудливо и прекрасно, там всегда ни пылинки, ни пятнышка, он идеально белый, раскрашенный только цветами, неподвижными цветами под стеклом.

Мы с Ниветтой распахиваем тяжелую дверь, оказываясь в царстве белого. Часть меня уже приготовилась увидеть кровь моих друзей, размазанную по стенам. Дверь задевает вполне живого Кэя, и все остальные тоже к ней жмутся. Мы проскальзываем внутрь.

— Он нас видит? — спрашиваю я.

— Я вас слышу, идиотки, — рывкает Ланселот.

Он стоит по середине этого прекрасного места, у него в руках охотничье ружье, и он целится.

— Дижонская роза, значит? — рывкает Ланселот, разворачиваясь. — Охренительная красота!

Он спускает курок, раздается рев выстрела, а потом звон осколков, Ланселот сносит розе головку, а вместе с ней в пыль разлетаются два соседних колпака, и цветы тут же вянут, осыпая почерневшие лепестки.

— Бельведер, сука?! — говорит Ланселот и так резко разворачивается, что мы все вместе прижимаемся к стене, и я обнимаю Ниветту, однако Ланселот лишь стреляет в другую розу.

В огромной комнате он уже успел расстрелять пяток редких растений, задев рикошетом их соседей.

— Сука! — орет Ланселот, и крик его отражается от тонн стекла, которые в покое существовали тут до его прихода.

— Нефритовая, нахрен, лоза?! — рывкает он. А потом рычит, снова нажимает на курок, и прекрасное, длинное, невероятно-бирюзового цвета растение осыпается, лишившись своей стеклянной тюрьмы и единственной защиты.

Осколков на белом полу уже довольно внушительное количество. Я сцепляю пальцы, думая о маневре, который мог бы спасти меня в случае, если сейчас Ланселот наставит ружье на нас. Ничего не приходит мне в голову, и я только ошалев, как и все остальные, глазею на то, как Ланселот расстреливает цветы. Наконец, вперед выступает Гвиневра. Она похрустывает носком туфельки на осколках, потом поднимает один из почерневших лепестков, вертит в руках.

— Ланселот, — говорит она неожиданно властно, и он оборачивается, наставляя на нее ружье. Мы бы попятнулись еще, да больше некуда.

— Чего? — говорит он. И я вижу, что палец у него на курке. Гвиневра, однако, выглядит так, будто никакого ружья у Ланселота нет и вовсе.

— Мы все слышали, — говорит она. Моргана шипит. Кажется, это не совсем то, что она сама сказала бы человеку с ружьем.

— Ну охренеть теперь, — говорит Ланселот. — Довольны? Всюду сунули свои маленькие милые носики?

— Эй! — говорит Гарет.

— Как-то прозвучало странно! — говорит Кэй.

— С вами я вообще разговаривать не собираюсь, щенки!

— Лады.

— Да мы и не против.

— Гвиневра! — рявкает Ланселот. Она снова начинает хрустеть подошвой туфли на осколках.

— Я хочу знать, — говорит она неторопливо.

— Нет, ты хочешь забрать своих идиотских друзей и валить отсюда, пока я не...

— Они мне не друзья, — говорит Гвиневра очень спокойно. Мы все киваем. Гвиневра продолжает:

— Ты не думаешь, что все это как-то касается нас?

— Нет, глупышка, это наше личное дело.

— Тогда почему ты не сказал никому, что видел, как я защитилась от заклинания, и как то же самое сделали Моргана и Вивиана?

— Потому что... потому что заткнись, вот почему!

Гвиневра смотрит на него своими темными, спокойными глазами.

— У тебя есть последний шанс быть честными с нами. Я знаю, что ты испытываешь к нам некие теплые чувства. Некоторые более развитые существа называют эти чувства любовью. И я знаю, что ты хочешь нас защитить. И если ты правда этого хочешь, то лучший способ — объяснить нам, что происходит.

Ланселот смотрит на нее очень пристально, а потом резко вскидывает ружье, и стреляет в одну из орхидей на другом конце зала.

Моргана шепчет:

— Это бесполезно.

Я открываю дверь, готовясь прошмыгнуть назад, и все остальные тоже собираются выходить, а вот Гвиневра не двигается с места. Она смотрит Ланселоту в спину так пристально, что кажется, будто она колдует.

— Он спас нас, — говорит Ланселот. — Спас нас из самого поганого места на свете. Вы даже представить себе не можете, как там. Что такое каждый день просыпаться от боли и знать, что впереди только она. А потом засыпать, дрожа от боли.

Ланселот делает вид, что разговаривает с пространством, нас он будто совершенно не замечает.

— Вы не знаете этого, и слава Богу, что не знаете. Я бы вам такого не пожелал. Ну только если Кэю, когда он окончательно меня взбесит.

Но Кэй не реагирует на стандартное оскорбление от Ланселота. Мы стоим неподвижно, будто боимся спугнуть его, и Ланселот продолжает говорить.

— Я хотел, чтобы вы выросли сильными. И умными. Я сам таким вырасти не мог. Я не был сильным — там. Я был слабым и очень напуганным, скучал по мамке и папке. А Мордред — был. Это теперь он слабак, не способный справиться с собственным разумом. Тогда он был тем из нас, кто оказался готов.

— В нем пробудилась магия? — спрашивает Гвиневра.

Ланселот надолго замолкает, потом отправляет в ад очередной цветок, на этот раз гвоздику.

— Ну да. Не перебивай меня, а? Словом, он вытащил нас оттуда. Он вернул Галахада. Он дал нам все. Но он всегда был безумным. Они свели его с ума. А мы сошли с ума вслед за ним.

Он же волшебник, думаю я, конечно он был безумным, волшебство кормится безумием.

— Мы думали, что сумеем удержать его. Потому что единственный иной выход — попытаться его убить. Мы раздумывали над этим, и не смогли. Он — наш друг. Наш брат. Ничего более святого, чем эта дружба, с ним и Галахадом, я в жизни не видел. Потом мы остались с вами. И я считал, что вы должны все знать.

— Что мы должны были знать? — спрашивает Гвиневра.

— О том, что мы за люди, откуда мы.

Ланселот надолго замолкает, рассматривая осколки и лепестки на полу, а потом ругается настолько грязно и громко, что я краснею.

— Вы не виноваты, — говорит он после этого. — Ваши дурацкие садо-мазо игры в маленького пророка здесь не причем. Он сходит с ума. Мордред скоро свихнется.

— И что нам делать?

Говорит только Гвиневра, а мы — только слушаем. И это ощущается очень правильно. Мне кажется, спрашивай Ланселота я, он ни в коем случае не отвечал бы мне так откровенно.

— А ты думаешь, если бы я знал, то отстреливал бы здесь бошки цветам?! — рывкает Ланселот.

— Может, вам попробовать проникнуть наружу, чтобы...

— Ничего снаружи нет! Запомнишь ты это уже наконец или как?! Ты там никогда не окажешься! Никогда! Мы сдохнем здесь! Если безумие Мордреда не прикончит нас раньше!

Ланселот то говорит с ней очень спокойно, рассудительно и как-то отстраненно-горько, то снова срывается на крик, но Гвиневра даже не вздрагивает.

— Почему он сходит с ума?

— Понятия не имею. Старееет, наверное. Перестал удерживать тот ад, что у него в башке. Да поймите вы, ты пойми, я не знаю, что делать. Я не знаю, можно ли предпринять что-то вообще.

Он совершенно ничего не говорит о Королеве Опустошенных Земель, мы с Морганой переглядываемся.

— Он уже сходил с ума? — спрашивает Гвиневра. — Настолько сильно — сходил?

— Он всегда был чокнутым, ты меня слушала вообще? Я и Галахад в состоянии удержать его, в случае чего. Поэтому не переживайте.

— Ты сам сказал, что не знаешь, что делать! — не выдерживает Морганна.

— Заткнуть хлебальники и жить дальше. Потому что никаких других вариантов у вас нет.

Ланселот снова надолго замолкает, потом отбрасывает ружье и проходится по залу, осколки оглушительно хрустят под его тяжелыми ботинками.

— Мне тоже страшно. Всем страшно. Но это правда не опасно. Его безумие не убьет вас. И нас. Надеюсь. Нам нужно дать ему время, дать ему время.

Ланселот начинает бормотать что-то невнятное, я различаю только "у нас нет ничего,

кроме времени, у нас вообще ничего нет".

— Что будет, если он не придет в себя? — спрашивает Гвиневра. Она будто наш дипломатический представитель, и голос у нее соответствующий.

— Что ты, нахрен, хочешь от меня услышать? — кричит Ланселот, так и не повернувшись в сторону Гвиневры. — Глотку ему перережем. Ему, нашему другу, ему, человеку, который, на минутку, вас вырастил. Как бешеной собаке, да? Ты об этом хочешь поговорить, Гвиневра? Об этом?

И я впервые вижу, как Гвиневра, которая обладает тактом примерно в той же степени, в какой им обладает падающий тебе на ногу молоток, смущается. Она отводит взгляд от спины Ланселота, принимается рассматривать осколки, потом мотает головой, а потом, видимо, вспомнив, что Ланселот стоит к ней спиной, говорит:

— Нет.

Голос у нее даже кажется чуточку более хриплым, чем обычно, она откашливается. Эхо в зале хорошее, и звук получается очень неловкий.

— Я лежал в комнате, когда он вошел. Девятнадцать, тогда я называл его просто Девятнадцать. У меня раньше было имя, только я забыл его из-за тока и таблеток. А у него имени никогда не было. Девятнадцать был весь в крови, он был босой, и по больничному коридору за ним тянулся приличный такой след. Он прижимал что-то к себе, как игрушку, и я сразу даже не сообразил, что у него было такое. Это была человеческая голова. Голова мужчины, который раздавал нам таблетки и заставлял пить. Он заставлял нас разжать челюсти и закрывал нам носы, чтобы мы глотали таблетки у него на глазах. А теперь у Девятнадцать в руке была его гребаная башка. И я понял, хорошо понял, что все закончилось. Девятнадцать волоком тащил за собой Четыре. Я не знал, зачем ему труп. Четыре был бескровный и пахнувший формалином, я его любил, но я бы его оставил. Мы спустились по лестнице вниз, и я видел такое от чего у нормальных людей глаза выцветают. Я нормальным не был. Тела, распятые на стенах, органы, валяющиеся на полу, вырванные глаза и языки, украшавшие столы в кабинетах. На первом этаже крови было мне по щиколотку, и я в ней отражался. Четыре утонул бы в ней, но он уже был мертв. На двери был кодовый замок, а кода мы не знали. И я подумал, что мы обречены умереть здесь с голоду, или есть трупы, а потом умереть с голоду, но, по крайней мере, нас больше никто не будет резать. Девятнадцать встал у двери, а потом стал биться головой об стенку, как умственно остальные из другого корпуса.

— Думай, думай, думай, — говорил он. Когда он обернулся ко мне, у него была раскроена бровь, и кровь залила глаз, но он улыбнулся, едва-едва, и дверь позади него распалась металлической пылью. Вот такой он был ребенок.

Ланселот вдруг смеется, и этот смех отдает острым стеклом, безумием, заставляет меня поежиться. Он пинает ружье с привычной ему злостью. И мне сразу становится спокойнее.

— А что еще вы хотели узнать? — спрашивает он насмешливо. — Что с нами не так? Все с нами не так. Но мы постарались, только постарались вырастить вас так, чтобы вы были счастливы. Теперь все кончено. Как в сказках: кто-то нарушил какой-то запрет, и теперь наказаны будут все.

— Что? — спрашивает Гвиневра.

— А то ты не знаешь, — рывкает Ланселот.

В этот момент дверь больно бьет меня по спине, я отскакиваю и вижу Галахада. В бледном, почти хирургическом свете белого зала он кажется еще мертвее, кожа его будто

отдает синевой.

— О, — говорит Галахад без удивления. — Момент откровенности?

— Поучаствуешь? — спрашивает Моргана, облизнувшись. Галахад бросает на нее совсем звериный взгляд, а потом неожиданно спокойно мотает головой.

— Воздержусь. Я представляю, что вы чувствуете, дети. Но у Мордредра проблемы, большие проблемы. В некотором роде они касаются и нас. И в некотором роде они связаны с тем, что он постоянно врет. Будь он честнее, вы не устроили бы здесь подобного рода активность.

Галахад облокачивается о стену, что-то в его движениях всегда кажется мне неестественным, как если бы неодушевленная вещь вроде вилки вдруг обрела бы собственную волю к перемещениям в пространстве. Это скорее ощущение, нежели наблюдение, но оно очень сильно, и иногда из-за него я не могу смотреть на Галахада.

— Послушайте меня, ребята, — говорит он спокойно, ласково. — Нам стоило рассказать о нашем прошлом больше, но пролитую воду не соберешь. Мордреду очень плохо. Действительно очень плохо. Разумеется, у него дурной характер, местами он очень мерзкий человек и мало когда бывает приятен, однако мы были вашей семьей все это время. И теперь ему не нужна даже ваша помощь, ему нужно немного покоя, чтобы разобраться с собой. Я знаю, что вам страшно, но ему сейчас еще страшнее. Вы уже далеко не дети, и если вы проявите лучшие свои качества, сможете подумать о том, что кому-то рядом тоже может быть плохо и просто не замечать того, что творится, мы будем вам очень благодарны. Мордреду нужна ваша поддержка, молчаливая вера в него. Он этого никогда не оценит, но Мордред сделал для вас очень много, и он заслуживает понимания. И сочувствия.

У меня эта речь вызывает комок в груди. И вправду, Мордред воспитывал нас и учил, заботился о нас, когда нам было плохо и страшно, иногда он даже успокаивал нас, а теперь мы носимся вокруг его беды, сжигающей его изнутри, как вокруг новой интересной книги, на которой мы все помешались. Мы слишком долго просидели взаперти, поэтому все кажется нам веселым приключением, способом развлечь себя и разнообразить свою ограниченную реальность. Мы пугаемся и надеемся ровно как дети, которым предложили интересную загадку, а вместо этого мы могли бы повести себя как взрослые люди. Кто знает, как безумие может разьесть нас самих, кроме того мы никогда не переживали то, что пережил Мордред. Мне становится стыдно, а Галахад продолжает:

— В любом случае, то, что происходит не опасно для вас. Это всего лишь иллюзии его больного разума.

— Которые чуть не убили меня, — говорит Гвиневра.

— Потому что ты верила в них и принимала иллюзорных птиц за настоящих. Это наша ошибка, и мы очень перед тобой виноваты. Но теперь, когда мы знаем, что все это иллюзии, мы в безопасности, ничего страшного больше не случится...

— Э-э-э, — говорит Гвиневра. — А это тогда что?

Я, с сердцем сжимающимся от стыда, разворачиваюсь в сторону Гвиневры, чтобы сказать ей что-то осуждающее, и тут слышу звон сотен разбитых стеклянных колпаков, лопающихся к один миг. Я закрываю глаза, Моргана визжит, правда в голосе ее больше восторга, чем страха. Мы отступаем, и когда вихрь осколков утихает, и я решаюсь открыть глаза, то вижу такое, от чего весь стыд у меня сразу же пропадает. Как и все другие чувства, кроме страха. Цветы сплетаются друг с другом в безумном танце, так быстро и так точно, под влиянием невидимой силы, связывающей их друг с другом, они образуют огромную,

упирающуюся в потолок фигуру. Очертания похожи на оплетенный цветами скелет огромной рептилии с размашистыми, цветущими крыльями. Дракон, понимаю я, это дракон, созданный из сотен и сотен цветов, сплетенный воедино. Алые розы, его глаза, смотрят на нас так, будто он видит. Это существо не должно быть способно даже стоять, а оно видит. Огромное, величественное, оно стоит перед нами, созданное из самых редких цветов, синее, белое, желтое, оранжевое, красное, будто воплощенный в хищника сад. А потом оно открывает полную шипов пасть и издает громкий рев.

— Спокойно, — говорит Ланселот. — Оно совершенно не опасно. Это просто маленькая, безобидная иллюзия, которая на самом деле...

Потом дракон совершает рывок, совершенно как рептилии в передачах про животных, и его челюсти смыкаются на руке Ланселота, брызгает кровь. Дракон не откусывает ему руку, хотя согласно размерам, мог бы сделать это. Я вижу, как сквозь места укуса внутрь Ланселота проникают шипованные стебли, похожие на те, что создавали я и Гвинева, они струятся дальше, будто причудливые вены под его кожей, шипы прорывают рубашку.

Ланселот выкрикивает заклинание, и дракон, и занимается пламенем, но только на секунду. Стебли внутри Ланселота сгорают, оставляя длинные полосы ожогов, идущие вверх, к плечу. Мне отчего-то думается, что они добрались бы до сердца, непременно бы добрались.

— Хорошо, ребята, — выкрикивает Галахад. — Манипуляция отменяется, просто бегите!

Ланселот орет от боли, Галахад создает два меча, и один кидает ему. И в эту минуту, в отличие от предыдущего критического момента, реакция Ланселоту не отказывает. Он ловит меч здоровой рукой.

Я понимаю, что надо бы бежать, но красота дракона, созданного из цветов, огромной магической твари завораживает меня, а Ланселот и Галахад кажутся двумя рыцарями, которые готовы защищать нас ценой жизни.

Нужно им помочь, думаю я, нужно бежать. Мысли эти быются во мне как-то отдельно от воли, я просто стою и смотрю на это величественное существо, которое сплетено из самых прекрасных на свете цветов. В груди дракона я замечаю свои любимые незабудки, и не могу перестать любоваться. Соцветия и бутоны раскрываются в нем так, как будто драконы дышит через них, они пульсируют, как какие-то клапаны.

— Быстро! — шипит Моргана, я чувствую ее хватку на моем запястье. — Бежим!

— Но они...

— Они сказали — бежать! — говорит Кэй. — И мы бежим.

Дракон снова издает чудовищный рев, бросается на Ланселота, который успевает отскочить, задев его лезвием меча, распоров кусок сплетенного из цветов плеча. Какая красота, думаю я, какая невероятная красота. Вниз медленно падает головка хризантемы, синяя, как море.

Больше книг на сайте — Knigolub.net

А потом кто-то, скорее всего Моргана, выталкивает меня за дверь, и я успеваю лишь увидеть, как дракон своей лапой сметает Галахада так, что тот ударяется о стену.

— Мы должны им помочь! — говорю я, скорее потому что должна это сказать, чем из желания сражаться с цветочным чудовищем.

— Мы должны делать, что они сказали, — рывкает Гвинева, и на секунду мне кажется, что она сейчас даст мне пощечину. Совесть играет во мне скорее, чем настоящее желание

помочь, и я снова бросаюсь к двери, а потом понимаю, что никакой двери нет — есть чистая, белая стена.

— Вы все тоже это видите? — спрашивает Кэй. И я понимаю, что именно не так. Вернее, я понимаю, что не так абсолютно все. Что мы вообще не дома.

Еще я понимаю, что стою в чем-то липком и мокром, как бы в луже. Только это не лужа дождевой воды или даже мокрой грязи. Это лужа крови. Впрочем, лужа тоже неверное слово. Весь коридор в крови, и мои белые носки по щиколотку окрашены красным. Меня тошнит, и я готова провалиться в обморок, в ад, куда угодно, лишь бы всего этого не видеть.

Мы стоим посередине больничного коридора. Люминесцентные лампы непрерывно мигают, и даже их холодный, ненадежный свет не разгоняет полностью тьму в конце коридора.

— Больница, — шепчет Ниветта. — Они здесь!

— Кто?

— Они!

И я думаю, что Ниветта снова повествует о своих галлюцинациях, выбрав, без сомнения, лучшее время, но она добавляет:

— Взрослые! Вернее, мальчишки, которыми они были!

На некоторое время западает абсолютная тишина, которая нарушается лишь потрескиванием ламп. Оказавшись в крови, вдали от дома и, если мой способ интерпретации ситуации верен, в прошлом, я должна со всей очевидностью визжать от ужаса, но у меня даже этого не получается и ни у кого не получается.

Мы просто не можем осознать, что вышли из зимнего сада, а попали в больницу, где держали Номера Девятнадцать. Мордред.

— В смысле это на самом деле нас глючит? — спрашивает Кэй.

— Или его, — говорит Ниветта задумчиво. — Заклинание, которое они наложили не действует. Я, по крайней мере, в каком-то чужом месте по щиколотку в крови.

— Та же история, подруга, — отзываюсь я. Мы опять смеемся, но намного менее энергично. Моргана бьет кулаком в стену, туда где была дверь.

— Твою мать! — шипит она.

— Отойдите, — говорит Гвиневра, и мы все отходим.

— А мне здесь нравится.

— Гарет, — говорит Моргана ласково. — Заткни пасть, а то мы тебя тут и оставим.

— Ну и пожалуйста.

Гвиневра выставляет руку вперед, как будто хочет дать пять кому-то невидимому, с губ ее слетает заклинание, но ничего не происходит. Тогда она резко сжимает пальцы, и по белой стене бежит вверх к потолку трещина.

— Это просто стена, — говорит она. — За ней не спрятано никакой двери. Еще какие-нибудь конструктивные предложения?

— Бежать?

— Нет, Кэй, — говорю я. — Чтобы бежать куда-то, нужно знать одну из двух вещей: куда или от кого.

— Вы как хотите, а я ответ на второй вопрос знаю, — говорит Ниветта. Мы совершенно одновременно делаем несколько шагов вперед и замираем. Коридор темнеет к концу, и лично я очень боюсь попасть в эту темноту. Мы беремся за руки, Гвиневра выступает первой. Она вышагивает по крови, как маленькая девочка в резиновых сапожках по луже,

высоко поднимая ноги, так что брызги пачкают Гарета, чем тот только рад. Никто не хочет держать Гарета за руку, поэтому приходится Кэю, а того держит за руку Ниветта, а ее Моргана, и я оказываюсь замыкающей просто не сумев вовремя сообразить за кого уцепиться.

На ногтях Морганы, покрашенных прозрачным лаком с блестками замерло несколько капелек крови.

— А мы прям точно уверены, что хотим идти туда, где темно? — спрашивает Кэй.

— С другой стороны так же, — говорю я.

— Это иллюзия. На самом деле мы могли пойти в любую сторону, но пошли сюда, а не обратно, потому что уходим дальше от того, к чему оказались повернуты наши спины. Попадаи мы сюда с другой стороны, пошли бы туда, вот и все.

— Спасибо, Ниветта, ты меня успокоила.

— А себя нет.

Мы все дальше углубляемся в темноту, идя по пустому коридору, залитому кровью. По бокам от нас ряды абсолютно одинаковых дверей. Некоторые из них открыты, и я вижу то, что можно назвать процедурными кабинетами. Какие-то электрические приспособления, провода, кушетки с крепкими кожаными ремнями. Я вижу тела людей, искалеченные, обезглавленные, выпотрошенные. Больница больше похожа на бойню, но от обилия крови и раскрытого мяса меня даже не тошнит — импульс слишком силен. В одном из кабинетов я вижу нечто вроде длинной и широкой, наполненной синеватой жидкостью стеклянной трубы с подключенной к ней кислородной маской. Внутри этой трубы, как кукла в упаковке, заключен мужчина средних лет, его глаза широко открыты, кислородная маска питает его легкие, но баллон рядом мигает красным — воздух заканчивается. Мужчина стучится в стекло, но оно слишком крепкое.

Я слышу голос Номера Девятнадцать. Он говорит своим мальчишеским тоном совершенно недетские вещи:

— Скоро воздух кончится. Иногда вы специально давали мне почти пустой баллон, чтобы я чувствовал, как разрываются у меня легкие. Это очень больно. Организм хочет вдохнуть, борется за жизнь, он рвет тебя изнутри, чтобы ты боролся, он, глупый организм, не знает, что ты ничего не можешь. Но вы никогда не доводили дело до конца. Да? Да? Я просто не знаю. Были ведь и другие дети.

Я и Моргана слышим это, и стараемся побыстрее пройти вперед, но Гарет натывается на что-то, и вся наша процессия с плеском и писками падает.

— Быстрее! — шепчем мы с Морганой. — Бежим! Он там!

И мы, перемазанные кровью, человеческой кровью, вовсе не птичьей, пытаемся встать, но руки у меня скользят. В конце концов, Ниветта вздергивает меня на ноги. Мы устремляемся вперед, надеясь найти лестницу и выбраться куда-нибудь.

Хотя лично я не уверена в том, что отсюда, из воспоминаний Номера Девятнадцать можно куда-нибудь выбраться. Я слышу писк, означающий, наверное, что баллон с кислородом разряжен, а потом Номер Девятнадцать снова начинает насвистывать свою любимую песню, ту же самую, что через столько лет насвистывает Мордред. Уже обретя новое имя, он не избавился от старых привычек.

Мы бежим по коридору вдоль одинаковых дверей, поднимая за собой брызги крови. Лестница обнаруживается быстро, но здесь нет окон, и мы не знаем, вверх бежать или вниз.

Мы устремляемся вниз, может быть это вариант страусиного желания закопаться в

песок.

Песенка не стихает. Сначала мы оказываемся среди бесчисленных шкафчиков, открыв первый попавшийся, я обнаруживаю чьи-то личные вещи. Скорее всего этому человеку они больше не понадобятся. Мне кажется ужасно странным, что у живоделов, которые работают здесь вообще могут быть какие-то личные вещи, что они живые люди. Я вижу жвачку, тонкий гребень и уличные ботильоны, шкафчик принадлежит или лучше сказать принадлежал молодой девушке.

— Лезте! — неожиданно говорю я. — Лезьте в шкафчики! Я отвлеку его!

— Что?! Ты свихнулась? — спрашивает Моргана.

— Нет. Я уже общалась с ним, и его звери любили меня. Я смогу поговорить с ним! Лезьте! Пожалуйста!

Прошу я не как героиня, прошу я жалко и в слезах, но мою просьбу выполняют. Песенка звучит все ближе и ближе, но он никуда не торопится, ему некуда больше торопиться. Когда ребята закрываются в шкафчиках, становится так тихо, что я слышу, как в горле стучит мое собственное сердце. И вот в проеме показывается он. У него в руках голова того человека из аквариума. Он разжимает голову челюсти, выпускает на пол кровь и воду, улыбается.

— Номер Девятнадцать, — говорю я. Он не обращает на меня внимание, проходит мимо, открывает один из шкафчиков, с самым будничным видом и кладет голову на полку, так, как будто решил положить свой ланч, закрывает шкафчик и некоторое время думает над кодовым замком, а потом крутит ручку, высунув язык. Ноги у меня ватные, и я едва в обморок не падаю, когда думаю, что он мог бы увидеть кого-нибудь из ребят.

— Номер Девятнадцать, милый, — говорю я, но он проходит дальше. Он не видит меня, понимаю я, и следую за ним, из странного, неестественного желания увидеть, что будет происходить здесь дальше. Он проходит по еще одному длинному, теперь обитому металлом коридору. Становится ощутимо холодно, и Номер Девятнадцать дует себе на окровавленные пальцы, чтобы согреть их.

Он с трудом открывает тяжелые железные двери и попадает в зал, такой же белый, как наш зимний сад, только тут очень холодно и вместо цветов — выдвижные ящики, точно той же белизны.

Это морг, понимаю я. Тут все ровно такое же белое, планировка повторена очень точно, но никаких цветов.

И вдруг мне в голову приходит странная мысль, которая кажется удивительно верной. Зимний сад, это маленькое кладбище, и цветы под колпаками, это умершие дети, такие же как Номер Девятнадцать, и у каждого из цветков тоже есть номер, оттого они расположены в таком кажущемся хаосом порядке. Мертвые дети, живые цветы. И огромный садовый дракон, как иллюстрация к детской книжке про рыцарей.

Номер Девятнадцать выдвигает ящик за ящиком, в каждом из которых изуродованный труп ребенка. Я вижу сиамских близнецов с закатившимися глазами, вижу девочку, обриту на лысо, у нее по телу идет мудреная сеть шрамов, вижу что-то, бывшее прежде, наверное, мальчишкой — у него вытащены все кости, вижу покрытого гноящимися бубонами ребенка в герметичном пакете со знаком биологической опасности. Номер Девятнадцать плачет. Он открывает ящик за ящиком и безутешно, как маленький, покинутый зверек зовет:

— Четыре, Четыре! Четыре! Где ты, Четыре? Я здесь! Я тебя заберу! Они тебя больше не тронут! Мы пойдем за Двенадцать! Мы уйдем втроем! Пожалуйста!

Номер Девятнадцать плачет безутешно, как могут только дети. А потом я слышу голос,

скрипучий, жутковатый, не механический и не живой, а что-то между.

— Сосредоточься, Девятнадцать. Твой дружок ждет тебя здесь, он уже никуда не смог бы убежать при всем желании. Представь, что вы играете в прятки.

Я оборачиваюсь на голос. В центре безупречно белого пространства стоит на двух массивных, испещренных жилами лапах огромный кролик. Присмотревшись, я понимаю, что это вовсе не жилы, а стебли растений под его шкурой, такие же, какие впивались в Ланселота. Он белый, но какой-то грязно-белый, почти серый в этом кристальном пространстве. Пародия на Белого Кролика из Страны Чудес. Я не понимаю, игрушка это или же существо. Он весь порван, и плоть, слезающая с него выглядит одновременно и как ткань, один его глаз живой и черный, а другая глазница пуста, из нее, как хлещущая кровь, торчит кусок красного атласа. Пиджак на кролике старый и потрепанный, он расстегнут, и внутри, в брюшной полости, заперт часовой механизм, где стрелки скользят вдоль миниатюрных, но бьющихся органов. Плоть и металл слились вместе, медь шестеренок оплетают алые мышцы. Он один из Маленьких Друзей, думаю я, и в то же время — что-то иное. Я в голове Номера Девятнадцать, и я вижу его галлюцинацию. Понимание оказывается очень неприятным.

— Господин Кролик, — говорит Номер Девятнадцать утирая слезы.

— Ищи, — отвечает Господин Кролик. Он заводит стрелки, копаясь в своем животе, и начинает судорожно смеяться, с губ его срывается кровавая пена.

— Чужие! — вдруг орет он. — Здесь в твоей голове есть чужие! Смотри в оба!

И я делаю глупость, делаю первое, что приходит мне в голову, потому что мне очень страшно. Я не знаю, может ли Номер Девятнадцать почувствовать мое присутствие или его галлюцинация просто ведет себя в надлежащей степени безумно, но мне вовсе не хочется проверять.

Я открываю блестящий ящик, вижу там белобрысую девочку лет двенадцати, на коже у нее как экзотические, жуткие цветы, разлились гематомы. Я почти люблюсь на нее, хоть это и совершенно неправильно.

При следующей же попытке мне везет, ящик оказывается пустой. Я залезаю в него, упираюсь всем телом, задвинув крышку, так что всякий источник света исчезает. Внутри оказывается, предсказуемо, темно и очень холодно, я начинаю дрожать, а еще холоднее мне из-за амулета, я сжимаю его, пространство с трудом позволяет мне это простое движение.

Я закрываю глаза, стараясь сосредоточиться на биении собственного сердца и ни в коем случае не выдать себя. А потом под моими веками вспыхивает зеленый цвет, и когда я открываю глаза, прямо сквозь мою ладонь, светится изумруд. Я слышу далекие звуки утреннего леса, а потом, будто наяву, вместо крышки ящика, вижу поляну, прекрасную, облюбованную цветами и насекомыми, обласканную солнцем. Я смотрю на все так, будто бы лежу на траве, но мне все еще ужасно холодно и жестко, я в ящике.

Я думаю о том, ударюсь ли головой, если приподнимусь.

И когда я поднимаюсь, вместо того, чтобы удариться головой о крышку ящика, я оказываюсь под теплым, залитым солнцем небом. Вокруг зелено и очень светло, поют птицы. Трава еще мокрая от недавно прошедшего дождя.

Солнце замерло в той точке неба, что означает полдень или около того.

Я постепенно прихожу в себя, забывая о холоде морга, солнце ласкает мне нос, и я зажмуриваюсь. Я будто оказываюсь в раю, и мне невероятно хорошо, я никогда прежде не была в таком просторном месте. Поляна простирается, кажется, до самого горизонта, как море, а позади темнеет лес.

Я сжимаю амулет, на этот раз он теплый, впитавший жар моего тела.

Вокруг меня летают бабочки, жужжат пчелы, где-то далеко проносятся мимо стрекозы с почти прозрачными крылышками. Я слышу мальчишечий голос Номера Двенадцать:

— И ты всех убил? Всех-всех? Никого не оставил?

Я оборачиваюсь и вижу, как Номер Двенадцать колотит палкой муравейник. У него залихватские движения и смелый, злой вид.

— Да, — отвечает ему Номер Девятнадцать, голос его лишен всяких интонаций.

— Круто, — говорит Номер Двенадцать, а потом, сжимая в руках палку, обрушивается на муравейник сверху.

Номер Девятнадцать сидит рядом, он совершенно неподвижен, глаза у него закрыты. У его ног лежит Номер Четыре, покрытый трупными пятнами, по-восковому бледный и абсолютно точно мертвый.

Номер Двенадцать прекращает бой с муравейником, и вся мальчишеская веселость с него спадает, он смотрит в сторону мертвеца.

— Надо похоронить его.

Номер Девятнадцать едва заметно мотает головой. Он выглядит так, будто медитирует.

— Ты говорил, родители тебя ждут, — говорит Номер Двенадцать.

Номер Девятнадцать снова едва заметно мотает головой.

— Что ты имеешь в виду? — спрашивает он одними губами. — Я такого не говорил.

— Говорил!

— Не говорил!

— Ты соврал! Ты просто лгун!

— Ты лгун, если говоришь, что я такое говорил.

— Говорил!

— Нет.

Смешно смотреть, как они по-мальчишечьи препираются, и Мордред уже тогда был лгуном, надо же. Больничная рубашка на Номере Девятнадцать теперь кажется розовой, дождь размыл на ней кровь. Вся сцена — дети на летней поляне, цветы и насекомые, труп ребенка, смешная перебранка, розовая от крови больничная рубашка Номера Девятнадцать — тошнотворно-контрастна.

Мальчишки не видят меня. Мне кажется, что они сейчас подерутся, Номер Двенадцать скалит белые острые зубки и смеется, требовательно и зло, но Номер Девятнадцать только в очередной раз мотает головой.

Он кладет руку на тело Номера Четыре.

— На солнце он будет гнить быстрее, — говорит Номер Девятнадцать со странной для ребенка бесчувственностью. Он открывает светлые глаза, зрачки сужаются от света. — Нужно быстрее его вернуть.

— Вернуть в смысле обратно?

— Вернуть нам, — говорит Номер Девятнадцать. Он резко оборачивается, смотрит куда-то в темноту леса. Я вижу, как мелькает там что-то грязно белое и слышу тиканье внутренних часов. Господин Кролик, вспоминаю я.

Номер Двенадцать замирает, глядя туда же, но взгляд его не выражает никакого понимания.

— Чего там? — спрашивает он.

— Ничего, — отвечает Номер Девятнадцать.

— Я буду охотиться. Хочешь, пожарю нам крота на ужин?

— Да.

Номер Девятнадцать все еще смотрит в темное пространство леса, губы его сжаты, он не слушает Номера Двенадцать, а слушает что-то еще.

— Да, — повторяет он. — Ты говоришь очень грубые вещи.

— Чего? — смеется Номер Двенадцать, а потом мечтательно, безо всякого перехода продолжает: — Мама по четвергам готовила индейку. Вот бы сегодня был четверг.

Он ловит стрекозу, совершенно детским движением, задействовав все тело, а не только руки, падая вниз. Номер Девятнадцать остается неподвижным.

— Как ты все-таки это сделал?

— Я просто почувствовал, что могу. Я лежал в камере сенсорной депривации. И почувствовал, что могу все. И смог все.

— А сейчас что чувствуешь?

— Хочу есть, — отвечает Номер Девятнадцать бесцветно. А потом он поднимается и шатающимся шагом направляется в лес.

— Куда ты?

— Охраняй Четыре.

— Нужен он кому.

И все же Номер Двенадцать остается на месте. Я хочу пойти за ним, но стоит мне сделать шаг, как я оказываюсь на той же поляне, только солнце уже село, и темноту разгоняют лишь золотые вспышки костра. Номер Двенадцать стоит в отдалении, так что свет почти не выхватывает его.

Почти у самого костра стоит Номер Девятнадцать, его бледность еще очевиднее от живого и яркого пламени. Перед ним лежит Номер Четыре, мертвый, каким и был, а вокруг, по периметру костра, разложены мертвые животные. Я вижу украшенные кровью меха лисицы и волка. Я вижу кабана, оленя, крохотную ласку, сову и еще каких-то птиц вместе с ней. А чуть в стороне — человека, в клетчатой рубашке и джинсах, такого же мертвого. Охотничьи трофеи разложены очень осторожно.

Номер Девятнадцать смотрит куда-то в пустоту, чуть позади Номера Двенадцать.

— Он у тебя за спиной, — говорит Номер Девятнадцать.

— Кто?

Номер Двенадцать отходит, и я снова вижу Господина Кролика.

Господин Кролик переводит стрелки в своем животе на полночь, и говорит ласковым и в то же время механическим голосом:

— Давай, Девятнадцать. Достань все это и запихни в своего маленького друга.

Господин Кролик смеется, так что лапки у него дергаются. Номер Девятнадцать кивает. Он обходит животное за животным, не склоняясь к ним, магией вырывая органы у них изнутри. А потом, как цветы, как сокровища, бережно несет один орган за другим к огню, опалает. Из человека Номер Девятнадцать достает легкие.

Наконец, когда жатва оказывается собрана, Номер Девятнадцать подходит к Номеру Четыре. Он достает из кармана скальпель и вскрывает шрам, идущий вдоль тела Номера Четыре.

Я не смотрю, как он запихивает внутрь органы, и замечаю, что Номер Двенадцать отвернулся вместе со мной, а Господин Кролик хлопает и хлопает лапками как заводная игрушка.

Мы с Номером Двенадцать оборачиваемся к костру одновременно, когда слышим тихий, едва заметный вздох. И подходим мы тоже вместе. Я и Номер Двенадцать заглядываем в лицо Номеру Четыре совершенно одинаково, только с разных сторон.

Номер Четыре открывает свои темные глаза, и некоторое время смотрит вверх, на звезды. Он открывает и закрывает рот, как рыба, которую вытащили из воды. Ну да, из воды. Из великой реки времен.

— Ты здесь? — спрашивает Номер Двенадцать.

Номер Четыре смотрит на него молча, у него не получается сфокусировать взгляд. А потом он издает вой, волчий, отчаянный вопль боли, вслед за которым следует лисье тявканье. Номер Девятнадцать и Номер Двенадцать одновременно обнимают его, пока Номер Четыре верещит на разные голоса, так жутко звучащие в детской глотке, а потом его тошнит темной кровью с резким, химическим запахом.

И, наконец, он плачет.

— Все закончилось, — говорит Номер Девятнадцать. — Все закончилось.

Но все только началось, и я это знаю, и знают они. Я делаю шаг к огню, чтобы лучше рассмотреть их лица, и тут же оказываюсь на дороге, слышу визг тормозов. Прямо на меня, и на троих мальчишек в испачканной кровью больничной одежде несется красная, потрепанная временем машина. Мальчишки перебегают дорогу, а я не успеваю, и машина проходит сквозь меня, как в фильмах про призраков. Я совершенно ничего не чувствую, и это ощущается так странно.

Они идут по шоссе с обеих сторон которого находится лес. Они измождены и бледны еще больше, чем там, в больнице, совершенно непонятно, как они умудряются поддерживать в себе жизнь. Я понимаю, что, вероятно, они идут уже дня два. Снова ночь, и фары машин слепят им глаза.

— У меня глаза слезятся, — жалуется Номер Двенадцать.

— А у меня все нормально, — говорит Номер Четыре. Голос у него очень тихий, почти несуществующий голос.

Номер Девятнадцать молчит и идет вперед. Господин Кролик на пару шагов впереди него.

— Что ты любишь, Девятнадцать? — спрашивает Господин Кролик.

— Я люблю лгать, — говорит Номер Девятнадцать. Номер Четыре и Номер Двенадцать переглядываются. Они держатся вместе, Номер Девятнадцать ведет их и в то же время он отстранен от них, будто отделен невидимой стеной.

— Скоро ты увидишь людей. Тебе придется им лгать.

— Я всем лгу. Я люблю лгать.

Они некоторое время идут по шоссе, Господин Кролик скачет впереди. Иногда его нутро звенит, и тогда Номер Девятнадцать останавливается и останавливает своих друзей. Они чего-то ждут, и никто, включая Номера Девятнадцать, не понимает, чего. А потом они идут дальше.

Наконец, впереди показывается городок, совсем небольшой, как будто построенный возле бензоколонки, и снова окруженный лесом со всех сторон.

— Да уж, далековато мы от дома, — деланно-весело говорит Номер Двенадцать.

Номер Четыре вздыхает, а потом вдруг смеется, очень по-детски.

— К ужину точно назад не успеем, — говорит он.

Номер Девятнадцать идет вперед.

— Я люблю лгать, — повторяет он. — Люблю лгать, люблю лгать, люблю лгать.

Господин Кролик снова переводит стрелки в своем нутре, на полдень, и говорит звенящим голосом:

— Давай, маленький ублюдок, ты можешь только лгать или убивать, делай то или другое дрянно, иначе ты сдохнешь под забором, и в тебя заберутся черви. Они будут тебя есть.

Он смеется, а Номер Девятнадцать кивает. Господин Кролик шепчет Номеру Девятнадцать что-то, и Номер Девятнадцать повторяет за ним. Я понимаю, что это заклинание. Мальчишки входят в городок.

— Может нас кто-нибудь усыновит? — спрашивает Номер Четыре.

— Нас никто не видит, — говорит Номер Девятнадцать. Они открывают дверь круглосуточного магазинчика при бензоколонке, и я вижу, как глаза у продавца, одетого в форменную майку с логотипом нефтяной компании, расширяются глаза от страха, он шумно сглатывает.

— Тебе все это кажется, чувак, — говорит он. — Зачем ты этот косяк курил? Ну зачем?

Продавец идет к двери, зачем-то открывает и закрывает дверь, а Номер Девятнадцать и его друзья уже проникают внутрь.

— Зачем мы невидимые? — спрашивает Номер Четыре. — Может он нам поможет?

— Он нас туда вернет, — упрямо говорит Номер Девятнадцать.

— Он не выглядит, как врач, — говорит Номер Двенадцать.

Они дрожат и жмурятся от яркого электрического света несколько секунд, а потом одновременно кидаются к полке со сладостями. Продавец снова вздрагивает, потом бросается к телефону с крутящимся диском, как в старых фильмах, набирает какой-то номер. Я почему-то думаю, что он хочет вызвать полицию, но он говорит:

— Ты приколись, как меня кроет, детка? Это жесть какая-то. Ну как шаги, знаешь. Как призраки. Тут дверь открылась, или мне показалось, там хрен знает. Если шеф вернется, а я буду такой вот, он мне башку снесет. Что значит водички попей? Ты двинутая? Я двинутый? Да пошла ты! Ладно, ладно! Извини! Просто мне кажется, что здесь кто-то ходит! Да какие воры, воров бы я заметил!

Номер Четыре и Номер Двенадцать тем временем нагибают себе побольше сладостей, а Номер Девятнадцать просто стоит и смотрит на продавца. Господина Кролика больше нет.

Номер Двенадцать и Номер Четыре даже не смотрят в сторону колбасы, сыра и хлеба. Они берут столько шоколада, столько конфет, столько сахарной ваты в раздутых вакуумных упаковках, столько пирожных и печений сколько могут унести.

— Все? — спрашивает Номер Девятнадцать.

— Ну больше мы точно не унесем, — говорит Номер Двенадцать.

Тогда Номер Девятнадцать медленно подходит к стойке за которой стоит продавец, щелчком скидывает с нее монетку.

— Блин! Ты слышала! Звон! Это монетка упала! Сама собой!

И когда продавец нагибается, Номер Четыре и Номер Двенадцать выбегают наружу. Номер Девятнадцать остается. Он некоторое время смотрит на продавца, который ошалело глядит на закрывающуюся дверь. Лицо у него такое, будто он решает простую задачку, но — на ответственной контрольной.

Наконец, Номер Девятнадцать, не обращая внимания на вопли продавца в трубку о призраках, тоже выходит.

Он раздумывал, понимаю я, не убить ли его.

Мальчики прячут сладости под больничные рубашки и бегут так, будто за ними гонятся. Они проносятся мимо перед одинаковыми низенькими домиками, где горит теплый свет, бликуют телевизоры, разговаривают люди. В городке две улицы, небольшие, но широкие, и здесь, совершенно точно, все друг друга знают.

Мальчики бегут мимо закрытых на ночь магазинов, полосатых вывесок двух парикмахерских, одной аптеки с выключенной неоновой подсветкой. Они бегут дальше и дальше от места, где им могли бы помочь. Наконец, они съезжают вниз по оврагу, к пересохшей речушке, от которой осталась одна только масляная грязь, и залезают внутрь железной трубы, которая когда-то обуздывала течение, теперь совершенно прекратившееся.

Внутри едва хватает места для них троих. и все же это иллюзия дома. Я сажусь рядом с трубой, заглядывая внутрь. Грязь меня не пачкает. Вокруг много мусора, оставленного выпивающими тут подростками — пустые и разбитые бутылки, упаковки из-под чипсов.

Мальчики раскладывают свои нехитрые сокровища, глаза у них ужасно голодные. Они одновременно начинают шуршать яркими пластиковыми упаковками.

— Ничего в жизни слаще не ел! — говорит Номер Двенадцать, надо сказать крайне невнятно, заталкивая себе в рот шоколад.

— А мне не сладко, — говорит Номер Четыре, но даже он жует печенье очень жадно.

Номер Девятнадцать говорит:

— Это странный вкус.

— Ты ни разу не пробовал сладкого? — с сочувствием спрашивает Номер Четыре.

— Оно не жутется, — говорит Номер Девятнадцать.

— Потому что это жвачка, ее нельзя глотать, а то кишки лопнут. Из нее надо надувать пузыри.

Номер Девятнадцать сплевывает розовый комок жвачки, открывает упаковку леденцов и насыпает себе целую горсть, принимаясь с хрустом жевать. Они уплетают сладости долго и молча.

Когда еда заканчивается, остаются только блестящие фантики, Номер Четыре спрашивает:

— А дальше? Дальше что?

— Пойдем вперед, — говорит Номер Девятнадцать.

Они втроем прижимаются друг к другу, стараясь согреться, они втроем дрожат. Они обнимаются совершенно инстинктивно, чтобы сохранить больше тепла, и движения у них выходят естественными, но выражающими намного большую нежность, чем кажется сначала.

Номер Четыре и Номер Двенадцать вскорости забываются робким, беспокойным сном, иногда их губы кривятся, иногда они издают короткие стоны, или дергаются. Номер Двенадцать лежит между ними неподвижно, его глаза открыты.

Я уже знаю, что эти мальчишки выживут, станут взрослыми мужчинами и волшебниками, оттого мне за них почти не страшно.

Они справятся, думаю я. Бедные малыши, думаю я. Мне хочется протянуть руку и погладить их, но я не могу.

Кулон на груди почти жжется, это начинает приносить дискомфорт, и я вытаскиваю его из-под блузки. Его жар продолжает ощущаться, пусть и менее сильно.

Я смотрю на усыпанное звездами низкое небо, и тут оно вдруг выцветает, как если бы на черную ткань вылили отбеливатель. Оно становится голубоватым и дождливым, утренним. И я вовсе не сижу у пересохшего канала, я стою на опушке леса. И она кажется мне очень и очень знакомой.

— Хочешь орешков? — спрашивает Номер Четыре.

— Нет, — отвечает Номер Девятнадцать.

— А я хочу, — говорит Номер Двенадцать. — Так это чего? Это наш дом? Как ты и сказал? Здесь мы будем жить? Ну, пока не очень здорово. Какая-то заброшка.

Я нахожу взглядом мальчиков, а потом слежу за тем, куда обращены их глаза. Дыхание у меня перехватывает почти болезненно. Передо мной, посреди леса, стоит заброшенное здание в викторианском стиле, с высокими фронтонами, просторными, каменными балконами, декоративными башенками и арками окон на первом этаже. Здание почти заросло травой, стекла выбиты, дерево подгнило, и дом потерял всякий товарный вид. Такой старый, думаю я, и все же он невероятно узнаваем.

Это наша школа. Наш дом. Совершенно заброшенный.

Я чувствую, как он плывет мир у меня перед глазами. Ниветта говорила: когда мозг не понимает, что происходит, он начинает смеяться.

И я начинаю смеяться.

Смеюсь я долго, истерически и взахлеб. Меня никто не слышит, и это хорошо. В груди у меня что-то колется, противно и тяжело, это почти заставляет меня ко всему прочему и заплакать. Но в целом — в целом-то все очень смешно. Мальчишки осматривают дом снаружи, лазают по двору, заглядывают в окно, только Номер Девятнадцать ковыряет носком новенького, видимо, украденного кроссовка землю под ногами.

— Пойдем внутрь, — наконец говорит он. — Там теперь наш дом.

— Дом, — эхом отзываются Номер Девятнадцать и Номер Четыре. Дверь разохшаяся, она скрипит при попытке ее открыть и совершенно не поддается. Они тянут втроем, зрелище комичное, как в фильме для семейного просмотра. Еще большую нелепость сцене придает их одежда, подобранная не по цвету и не по размеру, какие-то длинные свитера, короткие джинсы. Подошвы кроссовок Номера Двенадцать светятся зеленым, когда он слишком сильно упирается ногами в землю, продолжая тянуть дверь. Наконец, она поддается, и навстречу мальчишкам и мне вылетает залп пыли.

Мы заходим внутрь, где местами ужасно темно, потому что целые стекла так запылены, что едва пропускают тусклое солнце, а местами светло, там где окна выбиты, и бесконечная пыль танцует в столпах бледного света.

Я узнаю мой дом. Я будто попала в далекое будущее, где он заброшен и пуст. Я знаю, что если пройти через холл, в коридор, то там будет моя комната. Я не могу удержаться от

соблазна. Под моими шагами не скрипят половицы, а вот мальчишки за моей спиной вырывают из досок почти хрипы. Они шумно чихают, смеются, решают, где складывать свои припасы, бегут на второй этаж. И я понимаю, сколько для них значит дом, что для них есть дом.

Я бесшумно прохожу по темному запыленному коридору, белые стены черны от пыли, пахнет старой тканью, старой штукатуркой, засохшими цветами и еще чем-то особенным, чего я никогда в жизни не чувствовала. Я прохожу сквозь закрытую дверь и прижимаю руку ко рту. Это определено моя комната, ее планировка, привычная мне с детства, мое окно. Только сейчас здесь нет вовсе никакой мебели, только кучу прошлогодних листьев, пахнувших осенними праздниками и смертью, намело сквозь разбитое окно. По треснувшей раме путешествуют муравьи. И вижу я вовсе не кусты жасмина, а разросшуюся до неприличия траву с мелкими, полевыми цветками, пятнающими ее. Я смотрю на то, что станет в будущем моей комнатой, узнавая и не узнавая, и ничего не понимаю. Будто какая-то часть у меня внутри отключена, а аварийные двигатели не хотят работать. Так уже было однажды, с полгода назад, когда на садовую дорожку вылезли жирные, блестящие дождевые черви, и я обходила их как могла, но в какой-то момент я специально, отклонившись от своей траектории, опустила ногу туда, где, как мне казалось, был червячок. Если честно, я даже не совсем уверена, что он там был, а не просто почудился мне, но мое намерение совершенно определено было дурным. Я ощущала себя убийцей и чудовищем весь день, и как только мне становилось лучше, я ненавидела себя за это, ведь сегодня я раздавила червяка, почувствовала безразличие, а завтра могла, к примеру, зарезать Кэя. Как только мне стало чуть лучше, я поняла, что это бредовая предпосылка, однако тогда во мне тоже отключилось что-то важное, мне было только страшно от себя и стыдно. Я ни о чем не могла думать.

Сейчас мне стало так и в то же время как-то по-другому, и я не могу понять, как.

Я выхожу, как и пришла, сквозь дверь, обратно в холл. Мальчишек там уже нет. Я слышу их голоса на чердаке, поднимаюсь привычной дорогой по столь непривычному месту. Я ожидала увидеть пыльное, еще более грязное и заброшенное, чем в наше время помещение, однако когда я вхожу туда, то вижу вполне обжитый, относительно чистый чердак. Я понимаю, что снова переместилась в этом бесконечном водовороте воспоминаний. За маленьким окошком темно, и на чердак проникает свет полной луны. Мальчишки сидят втроем. У них три старые подушки в дырявых наволочках и одно одеяло на всех. Среди вещей и вещичек, оставшихся, видимо, от предыдущих хозяев: каких-то старых игрушек, одежды, украшений, обосновались нехитрые пожитки Номера Девятнадцать и его друзей. В основном, это еда, украденная из супермаркета, три разноцветные зубные щетки с динозаврами и шестилитровая пластиковая бутылка воды. Номер Девятнадцать листает черную тетрадь, ту самую, которую мы нашли на этом же чердаке только много лет спустя.

— Как ты ее достал? — спрашивает Номер Двенадцать, заглядывая внутрь.

— Я смог достать только одну, — говорит Номер Девятнадцать. — Это пока сложно. Ты как бы путешествуешь сквозь пространство, берешь ее оттуда, и она оказывается здесь, в твоей настоящей руке. Сложно объяснить.

— А мою достанешь? У меня там рисунки были, жалко их.

— Да, — говорит Номер Девятнадцать, подумав.

— Вы вообще собираетесь слушать? — спрашивает Номер Четыре. Судя по всему, уже далеко за полночь, но мальчишки и не собираются спать. Они залезают под одеяло, и Номер

Четыре достает из-под подушки старенькую, едва не разваливающуюся книгу. Почти стершиеся буквы на обложке, которые я вижу, только опустившись на колени рядом с Номером Четыре гласят: "Смерть Артура" за авторством Томаса Мэлори. Шрифт старый заглавие высокопарное, наверное, книга тоже досталась мальчикам в наследство от предыдущих хозяев.

Номер Четыре открывает книгу на середине, достает из-под подушки фонарик и включает его, пальцем водит по строчкам, пока не находит место, где остановился, а потом начинает читать. Он бледный и голос у него слабый, но он крепнет в процессе, как будто рассказывая друзьям историю, Номер Четыре становится чуть более живым:

— Сэр Гавейн и сэр Ивейн подъехали к ним, приветствовали их и спросили, отчего такое надругательство учиняют они над щитом.

— Сэр, — отвечали девушки, — мы вам все объясним. Есть такой рыцарь в нашей земле — ему как раз и принадлежит этот белый щит, — он доблестен и искусен в бою, но ненавидит всех дам и девиц. И вот поэтому мы учиняем надругательство над его щитом.

— Вот что я вам скажу, — сказал сэр Гавейн. — Не к лицу славному рыцарю презирать дам и девиц; но, может быть, ненавидя вас, он имеет на то причину, а может быть, он любит и любим где-нибудь в другой стороне, раз уж он такой доблестный рыцарь, как вы говорите. А как его имя?

— Сэр, — отвечали они, — его имя сэр Мархальт, сын Ирландского короля.

— Я хорошо знаю его, — сказал тут сэр Ивейн, — он рыцарь доблестный, не много есть ему равных. Я видел один раз, как он выступал на турнире, где собралось множество рыцарей, но ни один не мог против него выстоять.

Номер Девятнадцать смотрит на Номера Четыре пустым и внимательным взглядом, Номер Двенадцать ерзает, стараясь заглянуть в книгу. Еще долго Номер Четыре читает им, все трое становятся сонными, и я вижу, что они счастливы и спокойны. В заброшенном доме, с ворованной вредной едой и единственной книжкой, зачитанной до дыр за поколения до них, прижавшись друг к другу под одеялом, они счастливы.

Номер Двенадцать широко зеваает. Он спрашивает:

— И как ты все-таки нашел это место?

Номер Девятнадцать смотрит в потолок, белки его глаз блестят.

— Прочитал в ее голове. Рыжая доктор ходила сюда ребенком, уже тогда это место было заброшено. Она была милой, маленькой и рыжей. А потом она выросла. А потом я убил ее.

— Спокойной ночи, ребята, — говорит Номер Четыре.

— Значит это ее место, — говорит Номер Двенадцать убежденно. Последнее слово всегда должно быть за ним, думаю я смешливо. — Она тогда Королева Опустошенных Земель. Потому что здесь все опустошено.

— Мы сделаем это место нашим, — говорит Номер Девятнадцать и закрывает глаза.

В этот момент, секунда в секунду, я оказываюсь в саду. Вернее, это еще не сад. Заросшее сорной травой пространство, вот и все. Номер Девятнадцать сидит на земле. Перед ним два стаканчика с водой, он добавляет в них по очереди какие-то травки, головки мелких цветков, потом плюет, потом сыплет немного песка. Так дети варят зелья. Так они представляют себе этот процесс. Номер Девятнадцать мешает все пластиковой одноразовой ложечкой, и это выглядит смешно.

К нему подходит Номер Четыре. Он говорит:

— Я вырвал.

Губы у него в крови, а на ладони лежит зуб с блестящей пломбой.

— Молодец, Галахад, — говорит Номер Девятнадцать. Я вздрагиваю. Они впервые называют друг друга так, и это вдруг строит в моей голове какие-то мостики, я начинаю не только осознавать связь между мальчиками и мужчинами, которыми они стали, я начинаю ее чувствовать.

— Эй, Мордред, уже скоро? — орет Номер Двенадцать.

— Не мешай, Ланселот!

Они явно наслаждаются своими именами, они сами выбрали их, и теперь с удовольствием называют друг друга даже когда это не слишком-то нужно.

— Так скоро мы станем как ты?

— Сейчас, — говорит Мордред. А потом он рвет зубами свою ладонь, оставляя длинную, неровную рану. Кровь Мордред стряхивает сначала в один стаканчик, потом в другой. И бурно-зеленая жидкость начинает вдруг переливаться оглушительно-красным, а затем и черным, как редкий драгоценный камень.

— Сначала мы выпьем это?

— Нет. Сначала зароем наши вещи.

Мордред снимает со своей руки бирку, Галахад сжимает зуб, а Ланселот с тоской смотрит на черную тетрадь. Все троим одновременно вздыхают, от волнения или тоски.

— Теперь это наш дом, — говорит Мордред. — И мы, как рыцари, будем защищать его до самого конца. Вы изопьете из Грааля, и причаститесь к тому...

Он детским, почти умильным жестом чешет нос, говорит:

— ... к тому, что знаю я. И Опустошенные Земли злой королевы станут цветущим садом.

— Долго придумывал?

— Да заткнись, Ланселот, — шепчет Галахад.

Мордред впервые на моей памяти чуть заметно улыбается.

— Здесь мы посадим розы и лилии, королевские цветы. Потому что мы здесь короли. Но особенно я.

— Но ты ж сказал...

— Особенно я, — повторяет Мордред с нажимом. Ланселот и Галахад переглядываются и пожимают плечами.

Как это похоже на детские игры, думаю я. Все всегда начинается с них. Игры в рыцарей, игры в пророка. Мы точно так же играли в Номера Девятнадцать много лет спустя.

Мальчики по очереди роют ямы старой, ржавой лопатой, вытащенной из глубин подвала или с вершин чердака. Наконец, все вещи, которые еще нескоро найдут Моргана, Ниветта и Кэй, оказываются под землей.

Тогда Мордред поднимает с земли стаканы с переливающейся красным и черным жидкостью, он говорит:

— Это ваше.

— Это твое, — говорит Галахад.

— Но спасибо, — говорит Ланселот. Они оба с подозрением смотрят на черные вихри, которые танцуют в безупречном алом. А потом оба и одновременно пьют.

И уже в следующую секунду я вижу, как Ланселот снова пьет, но на этот раз — один. Он в баре, и лет ему уже достаточно, чтобы я узнала его, однако недостаточно, чтобы оставить

безразличным бармена.

— Тебе лет-то сколько? — спрашивает бармен, у него борода и татуировки, которые покрывают его руки, изображают месиво огня и черепов.

— На три больше, чем просто двадцать, — хмыкает Ланселот.

— Документы.

Ланселот закатывает глаза, потом поднимает пустую руку, проводит пальцами на уровне глаз бармена. Сначала его взгляд искажается бычьей яростью, а потом заволакивается вежливым безразличием.

— Что заказываем?

— Виски чистоганом.

Бармен отворачивается от стойки, а Ланселот подпирает рукой щеку. У него вид скучающего пса, который только и ждет, когда кто-то бросит ему мячик. Или мечтает кого-нибудь укусить. Ланселот — очень красивый парень. Он и много лет спустя не растеряет свою красоту, но сейчас он почти сияющий. Удивительно, как из больничного заморыша вырос такой приметный молодой человек. И удивительно, что девушки не подходят к нему знакомиться, как в фильмах. Вообще-то бар не особенно похож на то, что показывают в кино. Тут, конечно, много алкоголя на витрине, длинная стойка за которой сидят люди с коктейлями, столики в глубине и шум, но никто не танцует на столе, не заказывает красивым и доступным девушкам выпивку, не ввязывается в пьяные драки.

Все будто бы тихо, интеллигентно выпивают. Я присаживаюсь на свободный стул рядом с Ланселотом. Он смотрит пустым взглядом куда-то вперед, и когда бармен приносит ему виски, вдруг хватает его за руку.

— Послушай меня, мужик.

— Я тут работаю, а не лясы точу.

— Послушай, — настойчиво повторяет Ланселот. Бармен смотрит на него тем же отрешенным взглядом, потом подается вперед, уперев огромные ручищи о стойку. Ланселот, не поморщившись, выпивает виски одним глотком.

— У меня есть друзья, — говорит он. Бармен вдумчиво кивает, кажется, будто сейчас он будет повторять слова за Ланселотом, как попугай. Однако он молчит. Ланселот продолжает:

— Так вот, они чокнутые. Не такие чокнутые, как ребята вроде тебя, мамкины бунтари, а вроде как по-настоящему.

— Ага, — говорит бармен. Кто-то свистит ему слева, но он только отмахивается:

— погоди, парень.

— Правильно, — кивает Ланселот. — Ну и вот, я как бы неплохой человек. Ну, местами. Не самый плохой так точно. Короче, не из тех, кто ест младенчиков на завтрак.

— А они что? — спрашивает бармен. Такое ощущение, будто весь диалог для него происходит во сне. Он воспринимает слова Ланселота, воспринимает их всерьез, но в каком-то искаженном виде.

— Обнови, — говорит Ланселот.

Когда бармен возвращается, Ланселот снова накидывается на виски. Напивается он явно быстро, по крайней мере быстрее, чем в наше время.

— Мы с друзьями выросли сами по себе. Никто за нами не смотрел, никто нас не защищал, не учил, не любил там, — говорит Ланселот. — И мы особо не любим мир. Держу пари, ты меня понимаешь, татуированный мужик.

— Ага, — кивает бармен, а потом говорит странным, откровенным тоном. — Меня мама не любила.

— Меня любили и мама, и папа. Только недолго.

— Умерли?

— Нет. Это я для них умер. Но не суть. В общем, мои друзья хотят изменить мир. Они хотят сделать его идеальным. Ну не херня ли?

— Херня, — соглашается бармен. — А идеальным, это как?

— Как в книжках и фильмах, просекаешь?

— Не особо, — говорит бармен.

— Понимаю тебя. И я тоже. Что бы ты на моем месте делал? Прикончил ублюдков?

— Ну нет, наверное.

— Еще виски, тогда.

Осушив третью порцию, Ланселот говорит:

— Может так и лучше будет. Мир бывает дерьмовым местом, я видел его таким. Но теперь я всемогущ. Я лучше бога, потому что я не только все могу, я еще и существую. Если я захочу достаточно сильно, я смогу запустить этот стакан в космос. Или твою башку. Я бы тоже мог сделать что-то великое.

— Я тебя не понимаю, парень. Твои друзья хотят что-то исправить, изменить, а ты тут ноешь.

— Лады, — говорит Ланселот. — Зайдем с другой стороны, брат. Что там было про то, стоит ли весь мир слезинки ребенка?

— Хм, — тянет бармен. Ланселот вдумчиво кивает.

— Вот-вот. Короче, сколько долбанутой хрени можно сделать, если веришь в результат? Очень много.

Ланселот некоторое время глядит в пустой стакан, ожидая ответа, а потом махает рукой:

— А и неважно, — и выражение лица у него такое мальчишеское, обиженное и одинокое. В этот момент бармен, будто очнувшись ото сна, мотает головой, а потом резко хватается Ланселота за воротник куртки:

— Ты как меня назвал, щенок?

— Когда? — спрашивает Ланселот, оскалившись.

— Все это время! — рычит бармен, видимо, больше злясь на себя самого и не понимая, почему он терпел подобное хамство.

Ланселот улыбается шире, его оскал становится предвкушающим и блестящим. Я зажмуриваюсь, ожидая что бармен приложит Ланселота головой о стойку, но затем любопытство заставляет меня открыть глаза.

И я вижу Галахада. На нем скромная одежда, он бледный, под глазами у него синяки, больше всего он напоминает студента-медика. У него тот же кроткий взгляд, что и сейчас. И в помещении, где он стоит, Галахад выглядит так, будто зашел сюда случайно. Стены, выкрашенные в алый, висящие на крючках наручники и плетки, кнуты и кляпы, кровать с атласными простынями, девица в латексных перчатках и кружевных трусах.

Она говорит:

— Как всегда, милый? — в голосе у нее предвкушение.

— Да, — кивает Галахад. — Разумеется.

Она подходит к нему ближе. У нее небольшая, подтянутая грудь с острыми сосками,

широкие бедра и длинный шрам на ноге. Густые черные волосы стянуты в высокий хвост кожаной, широкой резинкой.

Галахад говорит:

— Я думаю, это в последний раз, милая.

— Почему? — спрашивает девушка. Галахад гладит ее по щеке, нежно улыбается, потом заламывает ей руку, толкает на кровать.

— Я уезжаю, — говорит Галахад.

— Надолго?

— Вероятнее всего, навсегда.

Галахад прижимает ее к кровати, достает из кармана брюк скальпель и улыбается. Лезвие проходит вдоль шейного позвонка девушки, снимает сначала верхний слой кожи, а потом и мясо, но место того, чтобы вопить от страха и боли, она стонет от удовольствия.

И отчего-то я уверена, что дело не в мазохизме, а в магии. Скальпель ходит вдоль позвонков, обнажая их. Я вижу белые, покрытые кровью косточки, похожие на узор, идущий вдоль спины. Галахад целует этот узор, и девушка захлебывается наслаждением, а Галахад царапает ее бедра, стягивая трусы. Кожа под его поцелуями зарастает, но Галахад снова вскрывает ее скальпелем.

Это не похоже на то, происходило между ним и Морганой, в этом совершенно нет любви, только интерес, анатомический, почти противный интерес патологоанатома к телу.

В какой-то момент Галахад переворачивает девушку на живот.

— Закрой глаза, милая и ни в коем случае не открывай, хорошо? — говорит он.

— А то что? — спрашивает девушка игриво, ее голос хриплый и срывающийся.

— А то я наконец-то тебя накажу.

Галахад завязывает ей глаза, улыбается, любуясь на нее. А потом вскрывает ей живот. Она стонет так, будто он трахает ее, когда Галахад засовывает руку в ее брюшную полость, роется там, вытаскивает орган за органом и любит. Его глаза полны чего-то вроде зависти. Ее человеческие органы обеспечивают ее тело в полной мере. Улыбка у Галахада хищная, звериная, иногда он принюхивается к запаху крови совсем как животное.

И он неизменно возвращает все органы на место. Наконец, он проводит рукой над ее животом, и края раны сходятся снова. В это время она достигает разрядки, выгибаясь ему навстречу, так что бы податься под его прикосновение.

Галахад щелчком пальцев возвращает простыням и коже девушки чистоту, убирает в карман скальпель и только потом стягивает с нее повязку.

— Не понимаю, — говорит девушка нежным шепотом, пока Галахад целует шрам на ее ноге. — Зачем ты сюда ходишь? Ты ведь никогда не делаешь мне больно.

Ее голос еще не до конца утихает у меня в голове, как я оказываюсь в своей комнате. Все закончилось, думаю я, а потом вижу, что за окном — зима, и моих вещей тут еще нет.

Комната пуста, она как бы лишь скелет комнаты, на который еще неросло ничего делающего ее моей. Мордред стоит посреди комнаты, его пальцы будто перебирают невидимые струны, и он шепчет что-то ритмичное. На занавесках распускаются цветы, как живые. Они невероятно красивы и невероятно подвижны. Один образ сменяется другим, вот на белом алеют розы, а вот желтеют тюльпаны. Наконец, Мордред, не открывая глаз, останавливает свой выбор на россыпи незабудок. Он улыбается.

— Это будут ее любимые цветы, — говорит он.

Они и стали.

В этот момент дверь со знакомым мне скрипом открывается, заходит Галахад.

— Ты уверен? — спрашивает он. — Пути назад не будет.

— Не будет, — кивает Мордред, глаза он не открывает.

— Ни у кого.

— Это разумеется.

— Ты готов к провалу?

— Я готов ко всему.

Диалог получается такой неловкий, будто говорить на самом деле уже не о чем. Я сажусь на свою кровать, где нет еще постельного белья и слушаю.

— А как же эти дети? — спрашивает Галахад. — Нас лишили семьи и счастья, когда мы были детьми, неужели...

Мордред вскидывает руку.

— У них будет семья. Мы. Это дети, от которых уже отказались. Дети из частной спецшколы. Богатые родители отправляют туда ненужных детей. Лишних, неправильных или больных.

Галахад надолго замолкает. Наконец, Мордред сам спрашивает его:

— Что насчет сыворотки?

— Образцы в лаборатории, можешь посмотреть. Она должна сработать. Если учесть, что в прошлый раз сработали, песок, подорожник и твоя кровь в стакане.

— С тех пор мы заметно выросли.

— Как и наши силы.

— Если ты не хочешь участвовать, ты можешь уйти. И Ланселот тоже может. Вы оба.

Я чувствую, как горлу подбирается комок, и у меня по щекам начинают течь слезы, хотя горечи и обиды я совершенно не чувствую. Когда я смагиваю слезы, то оказываюсь на детской площадке, занесенной снегом. Красивые и цветастые горки, качели с удобной спинкой, асфальт, расчищенный настолько хорошо, что нарисованные мелком классики на нем яркие, как летом, как под солнцем.

Я вижу двух чудесных малышей в одинаковых шапочках с трудноразличимым гербом, видимо, эмблемой школы. На них хорошенькие курточки, розовая и синяя, обе с пушистыми капюшонами.

Девчушки играют в классики, а потом в одну из них летит снежок, и шапка слетает с нее.

И я вижу себя саму. Маленькую, младше возраста, в котором я себя помню и очень испуганную неожиданной атакой. Вторая девочка тут же бросается лепить ответный снежок, а маленькая я заливаюсь слезами. Капюшон с моей подруги в запале подготовки к бою тоже спадает, и я вижу маленькую Моргану. А из-за кустов выглядывают Гарет и Кэй.

Здание школы красивое и унылое одновременно. До отвращения классичное, оно совершенно не похоже на наш дом, унылый красный кирпич, окна с фигурными решетками. Действительно напоминает детскую тюрьму, но маленькие мы здесь, очевидно, не страдаем.

Моргана бросается к Кэю и Гарету, а я остаюсь рыдать. Женщина в длинном пальто стучит тростью по ступеньке у школы, на которой она стоит.

— Не балуемся дети, не балуемся!

Она собирается повторить свое движение, но кончик трости замирает в паре сантиметров от земли, а вместе с ним, открыв рот, замирает и женщина, видимо, наша учительница. Бывшая учительница.

Я вижу Мордреда. Он подходит ко мне, то есть маленькой мне и наклоняется, чтобы на меня посмотреть.

— Здравствуй, — говорит он, берет меня за подбородок, так что от удивления я даже плакать перестаю. — Как тебя зовут?

И прежде, чем я успеваю услышать, что я ответила, прежде, чем я успеваю увидеть, как среагировали остальные, я прихожу в себя.

Глава 8

Все происходит так быстро, я будто вынырываю из воды, хватая ртом воздух, всхлипываю. Мне холодно, я дрожу. Сев на кровати и взглянув на себя, я понимаю, что я вся в крови. Когда вещи были еще ощутимы, в коридоре больницы, я упала прямо в эту реку крови. Теперь кровь засохла, она противная и липкая, от ее запаха меня тошнит.

Ребята, думаю я в ужасе, я сказала им спрятаться, а если это было опасно? Если они мертвы, и я в этом виновата. Я собираюсь вскочить с постели отправиться их искать, это мой первый, почти инстинктивный позыв, но слышу голос Мордред.

— Они в порядке.

Я тут же отползаю назад, прижимаюсь к спинке кровати, начинаю дрожать и сама не понимаю, что это со мной.

Мордред стоит посреди комнаты точно так же, как в одном из воспоминаний, когда он готовил для меня комнату. Только теперь за окном почти лето, на занавесках уже много лет цветут незабудки, и это моя комната, мое пространство, границы которого взрослые никогда не нарушали.

А теперь Мордред стоит здесь, как ни в чем не бывало.

— Что вы здесь делаете?

— Хочу объяснить тебе кое-что.

Он, в своем старомодном костюме, проходится по линии, оставляемой восходящим солнцем на полу, снимает со стенки мои часы, принимается переводить их. Мордред сейчас очень жуткий, но в то же время гротескно-комичный. Я вспоминаю о Господине Кролике и вздрагиваю.

— Ты ведь хорошо разбираешься в механизмах, — говорит он. — Зачем ты ставишь часы на точное время? Так не должно быть.

— Что?

Он мотает головой, едва заметно:

— Пустое.

Я обхватываю колени руками, молча смотрю на него. Мордред будто не обращает внимания на то, что я вся в крови. Он смотрит куда-то сквозь меня.

И я, против воли своей, прекрасно понимая, что не хочу его злить, не хочу привлекать его внимания, начинаю плакать. Слезы оставляют чистые дорожки на моем лице, и я рада, что у меня есть хоть какая-то возможность умыться от крови.

— Вы ввалили нам, — всхлипываю я. — Вы все это время нам ввали!

— Да, — говорит он. — Все это время.

— Все, что я знаю о своей жизни — ложь!

— Ты преувеличиваешь.

Я утираю слезы кулаком с ожесточением той маленькой девочки, к которой Мордред когда-то подошел, у которой он спросил имя, а я так его и не узнала.

Я говорю:

— Вы сумасшедший.

— Абсолютно.

— Вы не сказали нам ни слова правды.

— Несомненно.

Он склоняет голову, смотря куда-то поверх моей макушки, взгляд у него пристальный и внимательный, но обращен совершенно не на собеседника, выглядит это жутко. Мы долго молчим. Я дрожу, стараюсь вытереть кровь с рук, но она засохла, и у меня ничего не получается.

— Скажите мне правду, — прошу я тихо и снова заливаюсь слезами.

— С твоими друзьями и вправду все в порядке. Вы на некоторое время перенеслись в мое сознание. Сейчас я слабо это контролирую.

— Кулон?

— Тебе я хотел показать больше.

Боже, думаю я, вдруг они умирают сейчас, пока я болтаю с Мордредом, вдруг он снова лжет. Как ему можно доверять?

— Не надо было ничего показывать, — шепчу я. — Скажите правду.

— То, что ты мысленно называешь больницей на самом деле являлось исследовательским центром. Они проводили эксперименты на детях с целью выяснить потенциал человеческого разума. Теория заключалась в том, что у ребенка не окончательно сформированы понятия о том, что он чего-либо не может. И следовательно, если вынудить его, использовать свой разум на полную мощность, его сила менять себя и мир будет безграничной.

Я молчу, и Мордред замолкает тоже. У меня в голове снова что-то заедает, картинка никак не может сложиться. Но Мордред складывает ее за меня.

— Это могущество может быть неотличимо от магии. Оно ограничивается лишь твоим воображением. И определенными физическими возможностями. Один человек не повернет землю в иную сторону. Но десять — смогут.

— То есть, магии не существует? — спрашиваю я.

— Истории магии не существует. До нас.

Наконец, Мордред переводит взгляд на меня. В его глазах я читаю что-то непонятное, что-то помимо обычного их выражения. Я задумываюсь, видит ли он сейчас Господина Кролика.

— Я хочу... я хочу принять душ. Я сейчас не готова разговаривать.

— Да. От тебя пахнет кровью.

Мы снова встречаемся взглядами, и что-то заставляет меня чувствовать себя такой слабой, уязвимой и податливой. Разозлившись на это незваное чувство, на все на свете разозлившись, я прохожу к шкафу, не замечая Мордреда, но чувствуя его взгляд, беру сменную одежду и иду в ванную, защелкиваю замок на двери.

Там я опускаюсь на кафельный пол и снова начинаю плакать, надеясь почувствовать, от чего мне так горько. Но ничего не складывается, и мне ничего не хочется, даже узнать, что происходит на самом деле. Все будто обесценено и пусто, неважно.

Мне даже не хочется помыться. Все мои мечты и планы будто превратились в пыль, и это единственное, что меня еще ранит.

Наконец, мне удастся подняться с пола, раздеться, разбросать свои вещи и залезть под душ.

Вода холодная, но я долгое время не нахожу в себе желания сделать ее теплее, а когда решаю что-то все-таки изменить, то выворачиваю ручку крана до упора, так что она становится слишком горячей. Наконец, я нахожу оптимальную температуру, и просто стою под водой, намочив волосы и не двигаясь. Розовая вода стекает в сток.

Я не сразу слышу щелчок замка и совсем не слышу шагов. Я задумчиво вожу пальцем по линиям на шторке, а потом ее отдергивают, и я тоже мало что соображаю.

А потом меня целуют, далеко не впервые в жизни, но впервые я при этом обнажена. Рефлекторным, детским жестом я стараюсь прикрыться, и тем самым позволяю ему прижать меня к себе, не отталкиваю его.

Он целует меня долго, глубоко и очень эмоционально, как будто все, что я знала о нем снова оказалось неправдой. На моей шее все еще болтается кулон, и он цепляется за него, срывает с моей груди, как будто последний предмет одежды.

Я всхлипываю, упираюсь руками ему в плечи, мне хочется его оттолкнуть и притянуть к себе тоже хочется. Мне стыдно и любопытно, и еще кое-что, что кажется мне неправильным, и я стараюсь не отдавать себе в этом отчета.

Я шепчу его имя, впервые зная, что другого имени у него нет. Целоваться с ним совсем другое, чем с Морганой, Ниветтой или Кэем. Мордред напористый, почти отчаянно грубый, это пугает меня и притягивает одновременно. И я вдруг понимаю: ему очень плохо. Ему очень плохо, и оттого он ищет моей ласки, и в своем настойчивом, мужском желании, он вдруг кажется мне очень беззащитным. Я вспоминаю, с чего все началось, как он пристал ко мне тогда, в кабинете, и понимаю, что ему отчаянно одиноко и что вся его защита, годами выстроенная, разрушена, он весь передо мной, еще обнаженнее меня.

И я начинаю ему отвечать. Он отстраняется и смотрит на меня с непониманием и недоверием, как будто я не должна была этого делать, как будто я должна была только бояться.

А потом он делает шаг вперед, вступает под душ вместе со мной, и я понимаю, что все решено, что я сама так решила, и мне становится страшно. И тогда, от страха, я отхожу на шаг и вжимаюсь в стену, а потом вцепляюсь в его промокший насквозь пиджак.

Он ведь совершенно сумасшедший, думаю я. Он больной и жуткий, и я его боюсь. Он больной и жуткий, и он вырастил меня. Он больной и жуткий, и он лишил меня жизни, которая должна была быть у меня. К лучшему или к худшему.

Мордред берет меня за подбородок, очень осторожно и нежно, рассматривает, с каким-то детским восхищением и совсем не детским вниманием.

— Ты — красивая, — говорит он. Я смотрю на него, не зная что сказать. Что будет сообразно ситуации? Вы тоже? Да, спасибо? Мне очень приятно?

А потом он криво, совсем непривычно улыбается и касается моей груди, сжимает почти до боли, ласкает, и я закрываю глаза, потому что мне стыдно, а стыдно мне потому что хорошо, и вода кажется вдруг очень, слишком горячей.

И закрыв глаза я слышу:

— Номер Девятнадцать. Номер Девятнадцать. Номер Девятнадцать.

Женский, механический голос, повторяющий то, что было именем для него.

— Кортизол: повышен. Адреналин: повышен. Сердцебиение: 120 ударов в минуту.

Я чувствую, как Мордред губами прикасается к моему соску, сначала едва-едва, а потом оставляет укус. Между ног и в животе у меня горячо, это возбуждение не легкое, приятное, какое я испытывала и прежде, просто находясь рядом с Морганой, оно почти болезненное. Мне ужасно хочется ощутить его в себе прямо сейчас, и в то же время я очень боюсь. В моей голове звучит, как набат, голос:

— О чем ты думаешь сейчас?

— У цветов холодная кровь.

— Что ты имеешь в виду, Номер Девятнадцать?

Я слышу, как скребет по бумаге карандаш. И в то же время слышу ток воды, и дыхание Мордред. Он гладит меня, ощупывает меня. Грудь, бедра, живот, плечи. Он целует мне шею, потом вдруг гладит по голове, как маленькую девочку.

Я слышу:

— Я ничего не имею в виду. Это пароль.

— Пароль к чему, Номер Девятнадцать?

Голос не выражает ничего, ни раздражения, ни интереса. Исследователь должен оставаться беспристрастным. Рациональное наблюдение не подразумевает эмоционального вовлечения.

Совершенно неожиданно Мордред раздвигает мне ноги, проникает в меня пальцами, и я всхлипываю, от удовольствия и от страха, вцепляюсь в него сильнее, почти повисаю на нем. Я не уверена, что он контролирует то, что я слышу. Внутри я влажная, и ему это нравится, я чувствую его оскаленные в улыбке зубы на моей шее. Я не знаю, что делать, хотя Моргана, когда-то целый вечер посвятила моему сексуальному образованию. Я смущена, я растеряна, а он продолжает трогать меня. Его пальцы двигаются внутри, сначала осторожно, а потом сильнее, глубже.

— Он сказал, что я могу говорить. Потому что уже поздно. Он сказал, что теперь я все могу рассказать. Это больше неважно.

— Тогда говори.

Мордред доводит меня до исступления, ощущение вовсе не такое, как если я сама себя ласкаю — он не делает правильно, так чтобы я быстро смогла достигнуть пика или растянуть удовольствие. Он не знает мое тело, но он его узнает, и от этой близости, от ощущения ткани его рубашки, промокшей насквозь, и его поцелуев, все плывет, все кружится, и я не могу определить точно, где я.

— Пожалуйста, — шепчу я.

— Пожалуйста, — говорит Номер Девятнадцать. — Если вы хотите. Он всегда здесь. И сейчас он слушает нас. Он вас слышит.

— Кто слышит меня, Номер Девятнадцать?

Я слышу, как Номер Девятнадцать смеется, впервые.

А потом я чувствую, как Мордред приподнимает меня, бережно, почти нежно. Я сильнее прижимаюсь к нему, чтобы не упасть, чтобы почувствовать тепло его тела. Мне не нравится, что он одет, но если бы я начала его раздевать, я бы, наверное, упала. Я не знаю, я же даже не открываю глаза. Вслепую я пытаюсь коснуться губами его губ, а попадаю в щеку. И это мое неловкое, глупое движение вызывает у него нежность. Он сам целует меня.

— Ты мне так нужна, — вдруг шепчет он. — Я умру без тебя.

И я думаю, почему я? Почему не Ниветта, к примеру? Я думаю об этом со смесью страха и восторга, и жар у меня в груди становится такой же сильный, как и внизу живота.

— Возьмите меня, — шепчу я, и вдруг смеюсь, потому что это фраза из романчиков, над которыми всегда смеялась Ниветта, и я сама тоже смеялась, и Моргана смеялась, а Гарет их любил.

Он целует меня в губы, может быть, чтобы заткнуть. Но поцелуй выходит таким благодарным, будто я позволила ему что-то, что может его спасти.

Но это неправда. Потому что ничто не может его спасти.

— Что он говорит, Номер Девятнадцать?

— Он говорит, что ему хочется посмотреть, какая вы внутри. Он говорит, что выпустит вам кишки. Говорит, что вы — хуесоска. Вам нравится это делать с детьми, так? Вам нравятся маленькие мальчики. Он говорит, что я вам не нравлюсь, а вот Номер Десять — нравился. Теперь он гниет в морге. Он говорит, интересно, ходите ли вы туда, чтобы брать его в рот, как прежде?

Номер Девятнадцать смеется.

— Ему нравится, — говорит Номер Девятнадцать. — ваше лицо. Ему нравятся такие лица.

— А что еще ему нравится?

В этот момент я слышу хрип, так в фильмах хрипят люди, которым прострелили или проткнули легкое. Бьет кровь, и я отчетливо чувствую ее запах, будто вместо воды на меня и Мордред тоже льется кровь.

Я ощущаю, как у него стоит, ощущаю, как его член упирается в меня, и начинаю дрожать сильнее, хотя мне и ужасно жарко. И я чувствую ужасную нежность к нему, мне хочется приласкать его, помочь, и я снова целую его, слепо, наугад и очень нежно.

Я слышу звон разбитого стекла, бешеные вопли сигнализации. Номер Девятнадцать шепчет:

— Теперь ты готов на все. Вырежи их всех, и я вытащу тебя отсюда.

Номер Девятнадцать говорит:

— Да. Хорошо. Вытащи меня отсюда.

Номер Девятнадцать говорит:

— Уровень угрозы: совершенно опасен.

— Ты совершенен. Благодаря мне. Они травят твою еду, завтра ты уже не будешь ни на что способен. Если ты не продолжишь, они вытащат твои глаза и кинут их в банку.

— Я продолжу.

А потом Мордред входит в меня, грубо схватив меня за бедра. Резко, болезненно, так что слезы брызгают у меня из глаз. Я царапаюсь, потому что мне больно, кусаю его в плечо, прямо через рубашку.

— Давай, девочка, мне нравится, — говорит он. — Ты норовистее, чем можно предположить. Я думал, ты будешь тише и послушнее, мышонок.

Голос у него совсем иной, чем обычно, насмешливый, почти шутовской. В нем есть веселье и жестокость, Мордреду совершенно не свойственные. И чего-то, очень важного, не хватает.

Я будто мгновенно оказываюсь с совершенно незнакомым мне мужчиной, с человеком, с которым я не хочу быть, его прикосновения кажутся совершенно другими — нарочито развязными, болезненными, противными, полными похоти. Я царапаюсь, пытаюсь вырваться, оттолкнуть его, ударить, но он меня не выпускает.

— Тихо, мышонок, — говорит он. — Ты очень сладкая. Но мне начинает надоедать. Хочешь я заменю кое-что...

Он двигается во мне, и я вскрикиваю от боли. Одной рукой он удерживает мою ногу под коленкой, а другая вдруг проходится по внутренней стороне бедра, и я чувствую лезвие ножа.

— Кое-чем другим, — говорит он, и совсем иная боль, боль от пореза, заставляет меня зашипеть.

— Конечно, не хочешь, — говорит он. — Моя хорошая девочка. Ты мне сразу

понравилась. Я бы с радостью поимел тебя прямо тогда, в школьном дворе, на глазах твоих милых друзей и строгой учительницы.

Я издаю невразумительный писк от обиды и бессильной злости. Он двигается во мне горячо и голодно, и я закрываю глаза, мне ужасно страшно, так что сердце бьется уже не в груди, а где-то под языком.

— Почему ты не плачешь? — спрашивает он. — Я хочу, чтобы ты плакала. Давай, ты ведь так любишь скулить, и сейчас — самое время.

Голос у него издевательский, и еще, будто он сейчас рассмеется. Никогда прежде я не слышала такого у Мордреда.

— Твоя подружка, измазанная кровью и спермой, должна была научить тебя всему, мышонок. Знаешь, что я сделаю с ней?

Он склоняется ко мне, и шепчет мне на ухо, ласково, как любимой, продолжая двигаться:

— Я вырежу кусок ее маленького, розового мозга. Но я ее не убью, нет, я ее не убью. Она не будет думать и говорить, но она будет теплая и влажная. Я сохраню ей жизнь. А знаешь почему? Потому что она красивая.

Он смеется, и я чувствую, как он снова легко подхватывает меня, утыкается носом мне в шею, и каждое его движение кажется мне болезненнее предыдущего. Лезвие ножа упирается теперь мне под ребро, и я боюсь шевельнуться.

— Нет, моя мышка, тебя я не убью. Тебя я буду трахать, пока у тебя кровь из носа не пойдет. Ты мне нравишься.

Мне ужасно хочется заплакать, но я почему-то не могу. Я отвожу взгляд, смотрю на текущую воду, и стараюсь не думать ни о чем. Я читала, что в таких случаях надо не думать ни о чем.

— Что до них, их я выпотрошу. Они предатели. Они нас предали. Я всегда говорил, что им нельзя было доверять. Мальчишки вырастают в мертвых героев.

Его ногти скользят по моим ребрам вверх, потом он трогает мою грудь, больно сжимает мне сосок, так что эта боль, в отличии от тупой и постоянной, неожиданная, снова заставляет меня всхлипнуть.

В какой-то момент он перестает трахать меня с болезненным ожесточением, двигается медленнее, размереннее. Я не решаюсь поднять взгляд и посмотреть ему в глаза, я вижу только его хищный, зубастый оскал — Мордред никогда не улыбался.

Ощущение того, что я с чужим, чудовищным человеком должно заставить меня заплакать, думаю я. Или придать мне силы, чтобы вырываться. Ничего этого не происходит, страх держит меня куда крепче Мордреда.

Я чувствую, что мое тело начинает откликаться на его движения. Я сама себя предаю, и это намного хуже, чем боль. Он двигается во мне умело, и ласкает меня, так что вскоре мне против воли хочется прижаться к нему ближе, ощутить его глубже в себе, чтобы он продолжал и не останавливался. И тогда я тяну его к себе, сама к нему тянусь, совершенно рефлекторно.

— Даже хорошие девочки текут, если их хорошо оттрахать, так? Анатомия довольно безжалостная вещь.

Он говорит не как Мордред, он двигается не как Мордред, и в то же время он пахнет как Мордред. Он оставляет на моей груди кровоточащий укус, и я взвизгиваю, потому что удовольствие неожиданно прерывается болью.

— Я не люблю эти игры с кровью, в отличие от Галахада. Смешивать два удовольствия, это безвкусица. Это все чтобы ты боялась, потому что так ты теснее внутри, мышонок.

Он прижимает меня к стене, близко-близко, и будто обнимает. Дыхание у него размеренное, а я ужасно хочу, чтобы он умер. И он, будто чувствуя это, проникает глубже в меня, так чтобы я чувствовала — если он умрет, я тоже умру, потому что мне с ним запредельно хорошо.

У меня все тело сводит от удовольствия. И я скулю уже вовсе не от страха и не от боли. Я пытаюсь представить, что я с кем-то другим, с другим Мордредом, но у меня ничего не получается. Есть только здесь и сейчас. А потом все заканчивается, сначала для меня, с моим громким стоном и болезненной судорогой внизу живота, а потом и для него. Он кончает в меня, и это противно, но в то же время утоляет какой-то голод внутри, который я прежде никогда не чувствовала.

На некоторое время мы оба замираем, он утыкается мне в шею, утомленный и из-за этого почти человеческий. Нож пляшет между моими ребрами, лезвие гладит меня, почти ласкает. А потом Мордред выходит из меня, проникает в меня пальцами, глубоко и почти болезненно, ощупывает меня изнутри, мне кажется, что он достает до моих внутренностей, и ощущение это тошнотворное.

— Как думаешь, можно достать пальцами до матки? Ответ: нет. Если, конечно, идти естественным путем.

Лезвие ножа упирается мне в живот.

— Вы обещали меня не убивать.

— Я держу свои обещания только перед одним человеком.

Он вытаскивает пальцы, измазанные в моей крови и его сперме, облизывает, цокает языком.

— Но я и вправду не собираюсь тебя убивать. Мы выпьем чаю и поговорим. Ты ведь любишь разговаривать, мышонок? Или теперь ты не издашь больше ни писка?

Я молчу. В моей голове ни одной мысли, нет даже мысли о том, что мне плохо. Ничего нет, как будто-то кто-то выключил свет и ушел. И я осталась настолько одна, насколько прежде было невозможно.

Он касается испачканными пальцами моих губ, проводит так, будто хочет нарисовать меня, а потом выключает воду. Он застегивает брюки, насвистывая, делает шаг через бортик ванной. Стоит ему щелкнуть пальцами, и его костюм снова становится сухим.

Никаких заклинаний, вспоминаю я, только разум. Я пробую подумать о том, чтобы его нож вскрыл его глотку, но ничего не выходит. Я могла бы сделать это с помощью заклинания, но он успел бы меня остановить.

Вот почему они учили нас. Чтобы контролировать.

Я сижу в ванной, мне холодно, и я дрожу. Интереснее всего наблюдать за течением капель по белой эмали. Так интересно, будто весь мир сузился до границ водяной пленки.

Он вздергивает меня за руку и начинает вытирать. Он продолжает трогать меня, не просто стирает влагу, а наслаждается тем, что может ощупывать мое тело. На моем месте, думаю я, могла бы оказаться любая.

Вот бы любая оказалась на моем месте, думаю я. Он берет меня на руки, переставляет из ванной на пол.

— Вы все это время нас обманывали? — повторяю я бездумно.

Он вдруг смеется, громко и совершенно невпопад.

— Да, — говорит он. — Да. Да-да.

Он вдруг наклоняется ко мне, хватая за щиколотку, заставляет поднять левую ногу. На полу стоит пара туфелек, похожих на сказочные, хрустальные туфли золушки. Они оказываются мне как раз. Я едва могу дышать, и лучшее, что приходит мне в голову — снова закрыть глаза.

Кружевная, удивительная ткань скользит вверх по моим бедрам. Он одевает меня, как одевают принцессу. Снова трогает мою грудь, когда надевает на меня лифчик, некоторое время, наверное, просто смотрит. А потом я чувствую, как он магией заставляет меня вскинуть вверх руки, и нежная ткань платья ласкает мое тело. За сегодняшний вечер это однозначно самое лучшее ощущение, думаю я, и смеюсь тоже. Надеюсь только, что не так безумно.

Когда я открываю глаза и вижу себя в зеркале, то не сразу верю своим глазам. Платье и красивое и нелепое одновременно, розовое, с оборками, кружевами, вышитыми так тонко, что они почти прозрачны, как паутина. Платье похоже на произведение искусства, и в то же время оно совсем не подходит мне, как не подходит ни одному человеческому существу. Его как будто сняли с куклы.

Мордред издевательски-галантным жестом подает мне руку, я вздрагиваю. И, наконец, я понимаю, почему его костюм кажется таким старомодным. Он, как и мое платье, отсылает к прошлому, которое существовало только в воображении.

Он грубо хватая меня за руку, притягивает к себе, прижимает так сильно, что мне почти нечем дышать и целует. А потом тянет за собой, за дверь.

Я ожидаю увидеть мою комнату, но оказываюсь в совершенно незнакомом месте. Все здесь гротескно-кукольное, пастельное. Просторная, светлая комната, игрушечный, как в стеклянном шарике, снежок за окном, маленький столик, уставленный сервизом, покрытым нежными весенними цветами, сахарница и молочница, обе белее снега, металлический чайник с изогнутым носиком из которого валит пар, розоватая скатерть и стулья с высокой спинкой.

Я сажусь за стол. В центре красуется торт со сливками и шоколадом, аппетитный и пахнущий очень вкусно. В вазочке источает сахарный аромат песочное печенье. Викторианское чаепитие, такое красивое, что выглядит комичным. Я уверена, что этого Мордред и добивался. Он садится напротив меня, наливает себе чай и щедро разбавляет его молоком, а потом начинает сыпать сахар, пока он не впитывает почти всю жидкость, и с удовольствием отхлебывает.

Он наливает чай и мне, я отказываюсь от сахара.

— Так ты хочешь знать..., - говорит он, предоставляя мне самой закончить фразу.

Я отпиваю горячий чай, отдающий бергамотом.

— Где мои друзья?

— Они живы.

— Вы не ответили, где мои друзья.

— А я не говорил, что буду отвечать на твои вопросы.

Я беру печенье, аккуратно откусываю кусочек и замечаю, что третий стул не пуст.

На нем сидит игрушка. Белый кролик в викторианском костюме, старый, с блестящими стеклянными глазами и длинными, пушистыми ушами. Я вспоминаю о галлюцинации Номера Девятнадцать и вздрагиваю. Игрушка и Господин Кролик из воспоминаний похожи. Только вот игрушка выглядит дивно нормальной, она обычная, не искаженная больной

фантазией Номера Девятнадцать.

— Вопросы, — повторяет он. — Время, время, время, у нас мало времени.

— Аллюзия к "Алисе в Стране Чудес", — говорю я.

— Да, разумеется. Никто в истории мировой литературы не мог описать сон с той же точностью, что Льюис Кэрролл. И никто не сможет. Представь, что ты во сне, мышонок.

Он вежливо предлагает мне еще чаю, я киваю. Мордред снова отхлебывает пойла, в котором больше сахара, чем воды, из своей чашки, улыбается мне, а потом вдруг разбивает чашку о стол.

— Паскуда! — говорит он. — Грязная шлюха! Я знаю, где ты! Я вырву твои кишки, выверну тебя наизнанку и сожру внутренности!

Он кричит в пустоту, куда-то в область потолка. Я вжимаюсь в спинку стула так, что позвоночник отзывается болью. Я смотрю на свои колени и вижу, что между ног у меня алеет пятно крови. Меня тошнит от стыда и мерзости всего происходящего. Я вижу доньшко разбитой чашки с тщательно нарисованными, будто пастелью закрашенными цветами. На нем черными, тонкими линиями изображен череп, а под ним написано: "МРАЗЬ".

Я быстро допиваю свой чай. На доньшке моей чашки под аккуратным черепом написано: "СДОХНИ". Я заглядываю и в другие чашечки.

ШЛЮХАДРЯНЬСУКАГРЯЗЬ.

— Я все еще у вас в голове? — спрашиваю я.

Мордред замирает, потом медленно кивает, глаза у него совершенно дикие.

— Лучше скажи: в гостях.

— Хорошо.

— Скажи.

— Я у вас в гостях.

Он некоторое время молчит, потом тянет меня за руку к себе, практически уложив на стол.

— Я бы выебал тебя снова, мышонок, но мы ведь хотим поговорить, поэтому не веди себя так, как мне нравится. Будь смелой девочкой. Задавай вопросы, или я воткну в тебя что-нибудь, и это совершенно не обязательно будет мой член.

Я вцепляюсь ногтями ему в руку, и он, удовлетворенно улыбнувшись, отпускает меня.

— Ты не совсем в моей голове. Мы у тебя в комнате. Это иллюзия.

— Я думала, я могу отличить иллюзию от реальности.

— Это значит, что ты не думала. А теперь заткнись. Я задам вопросы за тебя. Кто я?

Он постукивает пальцами по столу, шепчет:

— Они все предатели, предатели, предатели, никому нельзя доверять. Они вышибут твои мозги, слюнявый хуесос. Галахад? Да, я хочу, чтобы он вставил в меня свой член. Но сначала вышиби мозги Ланселоту. Так нужно. Я не требую много. Просто убей своих гребаных друзей.

Понимаете ли, я не слишком быстро соображаю. Я бы сказала, что я соображаю медленно, особенно в ситуациях, когда от моих действий зависит не чья-то жизнь, а моя. Я просто смотрю на него и пытаюсь сосредоточиться на сахарном вкусе печенья.

Он вдруг резко замолкает, а потом обращается ко мне.

— У меня много имен, в отличие от тех, у кого и вовсе никакого имени нет. Но здесь и сейчас меня называют Господин Кролик.

— Вы мерещились Номеру Девятнадцать.

— Я — его защитник. Некому было защитить его, кроме меня.

— Чего вы хотите?

— Крови.

Он смотрит на пятно на моем платье, облизывается.

— А чего хочет Мордред?

Он улыбается.

— Чего он хотел, ты имела в виду, чего он хотел.

Он напевает, тихонько и мелодично:

— Зови меня любимым именем, которое тебе нравится, я никогда не откажусь. Но небо вспыхивает над нами, и я должен идти туда, где оно спокойно.

Он снова наливает себе чай в новую чашечку, на донце которой я успеваю увидеть только череп. Я смотрю в зеркало, пойманное в розовую деревянную рамочку, расписанную золотыми травами. Зеркало запотело, и аккуратным, детским пальцем на нем выведено: "Забери меня отсюда".

— Как меня зовут? — спрашиваю я неожиданно, еще прежде, чем понимаю, что это далеко не самый актуальный вопрос из тех, что стоило бы задать.

Господин Кролик склоняет голову набок, цокает языком, чуть высунув его кончик, так что выглядит это похабно, хотя я и не могу объяснить, почему.

— Безмозглая мышка, — говорит он. — У тебя не так много времени. Но я отвечаю, потому что это иронично. Твое имя, настоящее имя, данное тебе при рождении — Алиса.

Алиса, думаю я, Алиса. Али-са, звучание этих слогов никак не складывается в имя. Слова вообще звучат как-то странно, будто я далеко, и слышу лишь их отголоски.

— Настоящее имя Морганы — Бриджит, Ниветта — Даниэлла, Кэй — Адам, Гвиневра — Элионор, а Гарет — Эдмунд.

Я киваю, не запомнив ни одно. Само время кажется течет сквозь меня. И язык будто онемел. Я смотрю на него, пытаюсь найти хоть что-нибудь, что я знала прежде. И он совершенно неожиданно бьет рукой по столу. Я вздрагиваю.

— Но какая разница?! Это все абсолютно не важно, не имеет смысла с тех пор, как мы привезли вас сюда. Так что заткни свой рот, подумай и задай вопрос, который может спасти тебя!

Он выводит пальцем на столе сердечко, оно загорается ярким алым, будто нарисовано светящейся краской, я почему-то думаю о червовой масти. Господин Кролик добавляет в чай еще сахара, чинно размешивает, предоставляя мне время на размышление. Хорошо, думаю я, если все это так иронично, как ему кажется, то и правила игры являются отсылкой, аллюзией. Все отсылки отсылают лишь к другим отсылкам в мире, где знаки означают только пустоту. Непрерывный процесс означивания убивает значение. Алиса в стране чудес — сказка, написанная математиком для трех маленьких девочек в викторианскую эпоху.

— Так значит, верный вопрос, на самом деле один? — вежливо спрашиваю я.

Мистер Кролик смеется, а потом кивает.

— Знаешь, что я сказал Номеру Девятнадцать, мышонок?

Он подается ко мне через стол, шепчет на ухо, касаясь губами моей кожи:

— У тебя нет никаких шансов. Используй это.

Он снова садится на стул, подтягивает к себе торт и начинает резать его здоровым, блестящим, острым мясницким ножом, совершенно не подходящим атмосфере чаепития. Сливки и шоколад поддаются легко, и я думаю, что с такой же легкостью он...

— Выпущу тебе кишки, — говорит Господин Кролик, не поднимая глаз. — Нет смысла говорить. Ты можешь просто думать.

Он облизывается, но первый кусок торта достается мне. Я подцепляю серебряной ложечкой с витой, длинной ручкой, взбитые сливки, пробую на язык.

— Расскажите мне всю историю.

Господин Кролик подбрасывает в руке нож. Абсолютное, невероятное безумие делает его лицо почти недостижимо красивым.

— На основе стандартной космологической модели выделяется формула, использующая то, что именуется в астрологии постоянной Хаббла.

Господин Кролик ножом, взрезая скатерть и царапая древесину стола, выводит формулу, состоящую фактически из одних букв.

— Но нашу историю мы начнем с эпохи планковского времени...

— Вы знаете, что за историю я имею в виду. Расскажите мне историю Номера Девятнадцать. Мордред.

— Ты ведь ее видела.

— Но только версию Номера Девятнадцать. Не вашу.

Господин Кролик отбрасывает нож, шепчет куда-то в сторону:

— Хороший вопрос.

И сам подтверждает:

— Неплохой.

— Ее можно любить.

— Эту можно любить.

И прежде, чем я успеваю напомнить ему, что задала вопрос, мы оказываемся в помещении, напоминающем кинозал начала века. Ряды кресел с обитыми фиолетовым бархатом спинками, оканчивающимися деревянными изголовьями, шахматный пол из блестящего мрамора, тяжелые, такие же фиолетовые, как бархат кресел, шторы, открывающие пасмурный день за окном и сплетенные друг с другом в экстазе обнаженные ветки деревьев. У потолка висит длинная, ярус за ярусом спускающаяся вниз люстра с узкими плафонами.

Господин Кролик сидит рядом со мной, в руках у него трость, набалдашник которой изображает заячью голову. На сиденье рядом с ним я вижу игрушку, ту самую, что была в комнате. Ее стеклянные глаза смотрят вперед, и я тоже поворачиваю голову. Перед нами огромный экран, и проектор откуда-то сверху кидает луч света на белое, пустое пространство.

— Вы ведь понимаете, что кино несколько не вписывается в эстетику Алисы в Стране Чудес?

— Почему это? Алиса все это время видит сон. Мы все смотрим кино у себя в голове.

Он вскидывает палец вверх в пародийно морализаторском жесте, и шторы спадают вниз, закрывая слабый свет, исходящий из пасмурного дня снаружи. Мы оказываемся в полной, ничем не проницаемой, кроме острого луча прожектора, темноте. Господин Кролик залезает под мое платье и кладет руку мне на бедро. У него теплые пальцы с аккуратными ногтями, как будто эта рука принадлежит человеку. Это ужасно странно, почти комично и в то же время страшно.

На экране появляется картинка, будто из старого фильма, тусклая, как старая, ушедшая в сепию фотография. Номер Девятнадцать лежит на кушетке. Ему не больше семи, на его лице кислородная маска, но глаза его открыты.

— Просто небольшое обследование, Девятнадцать, — говорит врач над ним. Его лица не видно, камера его будто не фиксирует. — Следуй за белым кроликом, Девятнадцать. Засыпай.

Рука, затянутая в латексную перчатку показывает игрушку, ту самую, которая сидит теперь рядом. Номер Девятнадцать смотрит на нее неотрывно. Глаза его лишены всякого испуга. То, что происходит для него привычно.

— Мальчишка уже ни на что не был годен, когда я появился у него. Это было последнее из обследований прежде, чем пустить его в расход. Они не только мучили детей, чтобы те достигли освобождения разума через страдания. Они сводили их с ума. Здравомыслие, моя мышка, это то, что мешает тебе сдвигать вместе континенты. Это все, что тебе мешает.

Картинка на экране сменяется. Теперь я вижу семилетнего Номера Девятнадцать, играющего с плюшевым кроликом. Он укладывает его в свою постель и гладит по ушастой голове с невыразимой нежностью, вызванной полным одиночеством. Видимо, тогда он еще не знал Номера Четыре и Номера Двенадцать.

— Мне больно, — говорит он. — Пожалей меня.

А потом вдруг шипит так зло и хищно, как ребенок едва ли может.

— Они хотят убить тебя, тупая башка. Они хотят вырезать твои внутренности и скормить их другим. Ты бесполезен для них.

И сам же отвечает:

— Неправда, я не бесполезен. Я делаю все, что говорят взрослые.

— Да. Да. Да. Ты делаешь все, что говорят тебе взрослые. Но ты должен делать то, что говорю тебе я. Они трогают тебя, втыкают в тебя острые предметы, они твои враги.

— Я не знаю.

— Все вокруг твои враги. Кроме меня. Следуй за мной.

Я вдруг понимаю, почему прежде люди верили в одержимость демонами. Кажется, будто в одном Номере Девятнадцать два совершенно разных человека. Они по-разному двигаются, по-разному говорят. Номер Девятнадцать непрерывно трясет, а Господин Кролик держится прямо, и пародийно-изысканные манеры сочетаются в нем со звериными повадками — он скребет пол — до сломанных ногтей.

Пальцы Господина Кролика двигаются по моему бедру, мерно, вырисовывая какие-то узоры, буквы, цифры. Я сосредотачиваюсь на том, что происходит на экране.

Рыжая женщина, та самая, которую будут называть Королевой Опустошенных Земель, та самая, которая девчонкой лазила в наш будущий дом, а когда выросла, стала мучить детей, сидит за столом.

Номер Девятнадцать обнимает игрушку, стоя перед ней.

— Кто такой Господин Кролик? — спрашивает она. Губы у нее чуть поджаты, она сжимает пальцы. У нее нервные движения человека, который только и мечтает, что о сигарете в перерыве.

— Он властелин всех животных в лесу, — говорит Номер Девятнадцать спокойно.

— И как он правит ими?

Номер Девятнадцать долгое время смотрит на игрушку, лицо у него сосредоточенное. Наконец, он кивает, посмотрев куда-то вниз, скользнув взглядом по строгим черным туфлям врача.

— Он их калечит. Еще он знает время. Он всегда приходит в полночь или в полдень.

Она записывает что-то. Номер Девятнадцать смотрит на карандаш в ее руке, потом легонько улыбается.

Господин Кролик продолжает касаться меня, проникает за ткань белья, и я перехватываю его руку. Он говорит как ни в чем не бывало:

— Они предполагали, что если ребенок получит силу, он использует ее во время одной из процедур. Они делали их как можно более болезненными, фактически бессмысленными в своей жестокости именно для того. Потеряй контроль над разумом и обретишь нечто большее. Они всегда были готовы. Поэтому я учил его сохранять силу. Мы забирались под кровать, и я тренировал его, мы составляли планы, о которых не говорили никому. Мы должны были действовать, когда они не будут готовы. Во время одного из этих глупых, бесполезных разговоров. Эта идиотка расслабится, мы знали. Однажды она потеряет бдительность, и тогда... А после нее все будет легко. У нас не останется никаких границ. Мы всемогущи. Пока мы так думаем. Она — единственное, что мешало нам.

На экране я вижу Одиннадцатилетнего Номера Девятнадцать. И слышу все то, что слышала, когда целовала Мордреда.

— Ему нравится, — говорит Номер Девятнадцать. — ваше лицо. Ему нравятся такие лица.

— А что еще ему нравится?

Рыжая женщина сидит за столом, вид у нее скучающий, и она вертит в руках карандаш. Номер Девятнадцать улыбается, скаля зубы, и карандаш, вырвавшийся из ее рук, влетает ей в грудь, с такой силой и скоростью, что я едва успеваю заметить само движение.

— Это вас не убьет, он говорил, то есть сразу. Но вы не сможете кричать. Никто не сможет.

Номер Девятнадцать обходит стол, подается к ней, сползающей с него. Кровь толчками вырывается из-под карандаша, глаза у женщины открыты, и я вижу, что они — зеленые. Номер Девятнадцать облизывает пальцы, как будто собирается перелистнуть страницу, а потом вырывает ей глаза. Запускает пальцы сначала в одну глазницу, почти выдавливая содержимое, а потом во вторую.

Он снова облизывает пальцы, положив глаза на стол.

А потом сигнализационные системы издают оглушительный визг, но стоит Номеру Девятнадцать посмотреть на крохотные датчики по углам потолка, как они взрываются.

Пальцы Господина Кролика все-таки проникают в меня, и я стараюсь не смотреть на экран дальше, я ведь знаю, что произойдет. Он гладит меня, ласкает изнутри, и мне так хорошо, и крики, хрипы, кровь и выстрелы, кажется, делают все еще лучше.

— Моя девочка, — говорит Господин Кролик. — Я знал, что это тебя заведет.

Он смеется, а потом целует меня, как мальчишка в кино, засовывая свой язык так глубоко, что мне становится трудно дышать. Он трахает меня пальцами и трахает меня языком, пока на экране в мягкой нежности сепии всюду хлещет кровь.

Я кусаю его язык, и он отстраняется, сплевывает кровь мне на туфельки.

Но он не бьет меня. Я этого ожидаю, однако он просто отворачивается к экрану, облизывает окровавленные губы.

Внутри у меня больно и сладко сводит, я так и не кончила. И мне ужасно стыдно, что я вообще смогла возбудиться в этой ситуации.

— Дальше происходит хиатус, разрыв. Ты видела, как мы выбрались оттуда. Я не хотел брать с собой Двенадцать и Четыре. Они предатели. Я уже тогда знал, они предадут нас. Они хотят вышибить наши мозги. Они хотят, я знаю. Я знал. Но он не слушал меня. Он не хотел их бросать.

Я вижу Мордреда. Ему около двадцати, и он расхаживает по чердаку, который вполне напоминает жилое помещение — здесь чистые вещи, кровати, книжки, и сквозь окошко

проникает летний, золотой свет. Жилище, как из подростковых фантазий.

В руках у Мордред игрушки.

Он говорит:

— Я не справлюсь один. Мы не справимся втроем.

Голос у него спокойный, не выражающий ничего. Будто он просто решил уравнение и нашел ответ, а теперь озвучивает его.

— Нужны еще люди. И лучший способ обрести чью-то верность — вырастить его.

А потом Мордред смеется, и сам себе отвечает:

— О, правда, тупая башка? С тобой это в свое время не очень получилось.

— Ты не понимаешь. Я научу их всему, что знаю сам. Им даже не придется ничего делать. Мир покорится их ожиданиям, они будут его менять. Мы будем его менять. Они в нем разочаруются, когда выйдут отсюда. В двадцать лет, почему бы и нет? В двадцать лет — самое то. Я выпущу их отсюда, они увидят мир, и они захотят исправить его. У них будет сила.

— Да, конечно, магия, волшебство, бла-бла-бла.

— Ты злишься?

— Я хочу крови.

— Я обещаю тебе, у тебя будет столько крови, сколько ты пожелаешь, только потерпи.

— Сколько?

Мордред выглядывает в окошко, шепчет:

— Еще не вернулись, не вернулись.

А потом так же спокойно отвечает:

— Десять лет. Заткнись, оставь меня в покое, не говори со мной. Дай мне передышку.

Когда мы построим новый мир, я дам тебе столько крови, сколько ты захочешь. У тебя будет своя бойня. Бойня, да.

— А у тебя будет корона?

— Да. Нет. Не важно. Мне не нравится то, что происходит. Все станет другим. Но ты получишь свою долю.

Мордред смеется, потом зажимает себе рот.

— Тише. Послушай меня, я дам тебе все. Я дам тебе свободу.

— Они согласились?

— Да-да, они согласились.

— Потому что они предатели, Девятнадцать. Хотят остаться с тобой наедине, чтобы убить тебя. Хотят, чтобы ты не смог сбежать. Запереть тебя здесь. У них яд в крови. Они предатели.

— Они — мои друзья. Они согласились, потому что им тоже некуда идти.

— И вы не знаете что делать со всей это силой? Это было весело только когда вы были детьми, а Питер Пэн? Повзрослей. Потерянные мальчишки тебя обманывают.

— Может это ты меня обманываешь?

Он улыбается, светло и нежно.

— Я хоть раз тебя обманул? Хорошо. Будь по твоему. Десять лет. Десять лет, Девятнадцать. Спрячь меня подальше, так чтобы самому забыть, где я. Когда срок истечет, я тебя найду.

А потом я вижу на экране нас самих, будто мы смотримся в очень старое зеркало. Я в окровавленном платье кукольной принцессы, Господин Кролик с тростью и в старомодном

костюме, и эта жуткая игрушка, которая тоже есть Господин Кролик. Оттенки старого фильма придают нам всем еще более жуткий вид.

Экран чернеет, пока не остается только надпись с завитыми хвостиками курсива: "конец".

Мы снова оказываемся в комнате, на этот раз совершенно другой. Перед нами шахматный стол и доска, такая же блестящая, как пол в иллюзорном кинотеатре. По стенам, покрытым темными в черную, почти незаметную полосу, обоями развешаны картины зверей и насекомых, как охотничьи трофеи, от которых не сохранилось ничего, кроме образа.

— Но ведь десять лет не прошло, — говорю я. — Вы говорили, что держите обещания.

— В этом-то и загадка, мышка, — разводит он руками. Господин Кролик играет белыми, а я даже не умею играть в шахматы. Он выводит вперед пешку, и я зеркально повторяю его движение. Фигурки холодны, как лед.

Я смотрю на зверей. Они все не реалистичны, похожи на книжные иллюстрации к детским сказкам. Тона красок приглушены, а в больших глазах у зверей человеческие, круглые зрачки. Они смотрят на меня с картин в тяжелых рамах так, будто действительно видят. Как садовый дракон. Осмысленный взгляд ненастоящих глаз.

Господин Кролик некоторое время смотрит на доску, потом говорит:

— Ты поставила меня в тупик.

Он сбивает фигурки с доски, и я закрываю лицо руками от неожиданности. Фигурки летят на пол. Когда я смотрю на доску, вместо них на ровных квадратах оказываются таблетки, разноцветные капсулы. Господин Кролик берет одну из них, кладет под язык, как конфету.

— Я выполняю обещания данные ему. Я оставил его. И не планировал возвращаться ранее, чем срок нашего договора истечет. Но что-то пошло не так. И мне ужасно интересно, что. Мордред не помнил большую часть событий в больнице, они остались, связанные со мной. Я наслаждался тишиной, темнотой и прохладой, но постепенно ко мне начал проникать свет.

Я беру одну из таблеток, бело-синюю, рассматриваю ее на свет.

— А чего хотите вы? — спрашиваю я.

— Того же, чего и всегда. Я постоянен в своих привязанностях.

Я кладу таблетку на место, беру другую, золотисто-желтую, будто покрытую блестками. Мягкий свет заставляет ее переливаться.

— У них у всех есть эффект?

— У всего в мире есть эффект.

Я кладу таблетку под язык, чувствую сладость, а следом горечь. И именно в этот момент слышу шепот:

— Вивиана! Вивиана!

Это голос Гвиневры, я узнаю его безошибочно.

— Ты должна нам помочь. Это я виновата. Это я сделала.

Я помню, что мне нельзя думать, ведь Господин Кролик слышит мои мысли. Я старательно всматриваюсь в доску, будто собираюсь съесть вторую таблетку. Съешь меня. Выпей меня. Господин Кролик тоже выбирает.

— Я хотела выбраться отсюда. И я сотворила заклинание. Это было еще до того, когда я пошла на пруд. Я думала, что мне нужно только завершить ритуал. Я думала, что все

получилось. Я хотела освободить нас. Я не думала, что все так получится. Я не знала, что освобожу его.

Гвиневра едва не плачет, и мне с трудом удастся не чувствовать ничего, будто ничего и нет. Теперь, когда я знаю, что остальные живы, что жива, по крайней мере Гвиневра, это придает мне сил. Из заводной игрушки, куколки, я становлюсь собой, медленно выхожу из тишины и темноты, в которой большая часть меня пребывала до сих пор. И это больно. Как если слишком долго сидишь в одной позе, и ноги немеют. Поначалу очень страшно подниматься, ощущение кажется невыносимым и бесконечным.

— Сделай что-нибудь, — просит Гвиневра. — У меня едва хватает сил, чтобы говорить с тобой. Ты должна нас найти.

Я смотрю на свои обгрызенные ногти. У меня нет времени на решение и нет времени на план. И я не могу использовать магию против него, я просто не успею или не сумею сосредоточиться. Но кое-что я сделать могу.

Я перевожу взгляд на потолок. На нем нарисован лунный цикл, все стадии, от прибывающей луны, через полнолуние, к тоненькому месяцу убывающей луны. Рисунок переливается, и я понимаю, что он — единственный источник освещения здесь.

Луна. Безумие. Иллюзии, в которых слишком легко заблудиться.

— Твой ход, — говорит Господин Кролик.

Я киваю. И я спрашиваю:

— Где он?

Господин Кролик стучит пальцем по своему виску.

Игрушка сидит на стуле между нами, как будто судит наш шахматно-фармацевтический матч. Я тянусь так, будто хочу схватить ее. И Господин Кролик издает совершенно нечеловеческий вопль:

— Не смей трогать!

Он подается к игрушке. Движение у него совершенно не человеческое, я никогда не видела, чтобы существа двигались так яростно и быстро. Но я вовсе не хочу взять игрушку. Когда он подается в сторону, я хватаю не ее, а шахматную доску, и со всей силы бью его по голове. Удар становится неожиданностью даже для меня. Господин Кролик, Мордред, Номер Девятнадцать, черт его знает кто, падает на пол. Я боюсь, что убила его. И надеюсь, что убила его.

— Давай, — шепчет Гвиневра. — Ударь еще раз! Добей его!

— Прекрати быть как голос в голове, который приказывает мне убивать. Иначе я решу, что мы с Мордредом похожи.

— О, ты уже можешь шутить, а твои друзья все еще в опасности.

Я смотрю на Господина Кролика, на тело Мордреда. Меня трясет от страха, меня тошнит. И я вспоминаю, в долю секунды, о Мордредке все. Я вспоминаю, как он любит чистоту, как он сидел со мной, почти молча, когда мне было тринадцать, и я ужасно простудилась, как он учил меня, но главное, как всего один раз, в начале моего семнадцатого лета, я подошла к нему, обняла его и сказала, что он очень дорог мне. Мордред тогда вздрогнул, и лицо его приняло совершенно беззащитное выражение. Он не улыбнулся, ничего не ответил, но вечером принес мне целую коробку старинных часовых деталей, и мы вместе, молча, стали их собирать.

В кабинете Мордреда столько часов, и все они показывают неправильное время, потому что он хотел обмануть Господина Кролика. Полдень и полночь никогда не наступают. Вот

почему на своих карманных часах Мордред часто переводил время незадолго до двенадцати.

Я понимаю о нем все, детали занимают свои места, крышка закрывается, и остается только завести ход. И чем ярче и оглушительнее моя ненависть, тем яснее я понимаю, что до нее я чувствовала любовь. Что я любила его, потому я волновалась за него. Что мне хотелось согреть его. Что мне нравилось быть с ним. Что я любила его неловкую заботу, сдержанные манеры, смешную, нелепую ложь, серьезное выражение лица. Я все в нем любила, а теперь я чувствую внутри какую-то пустыню, горящую и бесплодную навсегда.

Я пинаю его в живот, не решаясь еще раз ударить по голове. Он не приходит в себя. И я понимаю, что мы в моей комнате, просто в моей комнате. Я ищу в тумбочке золотистый ключик с узорным основанием. Закрыв дверь на ключ, я говорю:

— Гвиневра! Гвиневра! Ты слышишь меня? Где вы?

— Мы в зимнем саду! Быстрее! И прекрати думать о своей поруганной любви, сейчас не до твоих переживаний!

— Ты вообще не имела права их слушать!

— Думаешь, мне есть, чем заняться, кроме этого?

— Мне есть, чем заняться.

Я так быстро, как только могу накладываю на дверь запирающее заклинание. Теперь я знаю, что магии — нет. Мой разум просто функционирует в некоем особом режиме. Я просто могу творить эти вещи, мне не нужны заклинания, жесты и зелья. И все же я слишком долго училась обращаться со своей силой, как с магией из книжек. Я не могу сосредоточиться иначе. Я даже не пробую, у меня нет на это времени. Я использовала заклинание для того, чтобы запереть дверь лишь однажды, когда Гарет повадился воровать наши с Ниветтой вещи с неясными, но безусловно отвратительными целями, а мы не хотели пропускать вечеринку. И я знаю, что оно не остановит ни Мордреда, ни Господина Кролика. И я не знаю, кто из них очнется.

— Давай-ка ты закончишь со своим внутренним монологом побыстрее.

Даже в большой беде Гвиневра остается все той же спесивой стервой, что и всегда. Вот бы ее не спасать, думаю я, и впервые понимаю, что эти мысли ничего общего не имеют с реальностью. Я просто хочу найти своих друзей и сбежать отсюда в мир, в любой мир, каким бы он ни оказался.

Я хочу увидеть все, что от нас скрывали.

Все как будто бы так, как и должно быть, словно и не меняется ничего. Я оказываюсь в застывшем времени — те же коридоры и комнаты, чистота и порядок, и деревья раскинувшие зелень за окном. Ничто не отзывается на то, что происходит внутри меня, я как будто отделена от всего мира, от радостного солнца, бьющегося в окно. Я бегу как можно быстрее, чтобы ничего не замечать, и все замечаю все равно, как будто разум мой функционирует по-особенному, фотографически, запечатлевая все, что происходит вокруг.

Наверное, это все инстинкты, гуморальная регуляция моего восприятия. Животное в момент опасности должно замечать все и запоминать все. Я все замечаю и все запоминаю.

Я бегу так, что в боку начинает колоть, как будто там разбилось что-то стеклянное, и теперь осколки впились глубоко и цепко. И только перед самой дверью я замираю, потому что, на самом деле, очень боюсь, что не справлюсь, что никому не смогу помочь, что буду бесполезна, что сделаю что-то не то. Лучше бы для меня все закончилось еще в комнате, лучше бы он просто перерезал мне горло.

— Будешь и дальше рассуждать в таком духе, действительно станешь бесполезной. В

первую очередь, потому что помогать уже будет некому. Собери слюни, я тебя умоляю, слушать противно.

И она злит меня, как никогда, но с той же странной ясностью я замечаю, что голос у нее сонный, и Гвиневра, вероятно, тоже очень хочет разозлиться — просто чтобы не уснуть.

Дверь оказывается заперта. Я встаю на колени, смотрю в замочную скважину, но не вижу ничего, кроме ослепительной белизны стен. Поковыряв в замке ногтем, разумеется, безуспешно, я шепчу заклинание. Оно простое, нарочито простое, и я уверена, именно с его помощью Мордред открыл дверь в мою ванную. Впрочем, ему-то заклинания на самом деле не нужны. Меня передергивает от воспоминаний, и заклинание выходит таким сильным, что какие-то пружинки внутри замка с хрустом и звоном ломаются, а дверь распахивается сама.

Я вспоминаю о том, что такое магия на самом деле. Я вспоминаю о том, через что пришлось пройти Номеру Девятнадцать, чтобы ее получить. Магия, это попытка уйти от боли. И сейчас я в ней хороша.

Зал оглушительно белый, такой же, как морг из воспоминаний Номера Девятнадцать. Раньше он был пустой, здесь не было ничего, кроме цветов, но теперь вдоль стен стоят хрустальные, как в сказках, гробы. Полностью прозрачные, они стоят на растущих будто из земли золотых опорах. Гробов я насчитываю ровно шесть, а это значит, что один из них пуст. Пуст и предназначается мне. Раздается стук.

— Давай же, — шепчет Гвиневра у меня в голове. Но первым делом я бегу, разумеется, не к ней. Моргана неподвижна и бледна, будто кукла в упаковке. Ее лицо сохраняет неживое, жуткое спокойствие. Она принцесса из сказки, ее золотистые волосы струятся по плечам, лаская шею, острый нос и скулы делают ее лицо еще мертвее и прекраснее. Как же она бледна, думаю я рассеянно, а потом предпринимаю несколько попыток стащить крышку. Она будто намертво прилегает к остову гроба, даже не двигается, сколько бы я ни старалась. И когда я увеличиваю свою силу заклинанием, пытаюсь пробить ее, тоже ничего не выходит.

Я начинаю трястись и колотить по крышке что есть силы, рыдаю, и Гвиневра в моей голове рывкает, но ее голос все равно кажется тише, чем прежде:

— Вспомни умную мысль, которая у тебя только что была!

— О том, что я бесполезная дура?

— Об этом подумаешь потом, хотя, безусловно, это правда. Что такое магия?

— Это боль.

— Твоя лучшая подруга, свет твоей жалкой жизни, сдохнет, если ты не соберешься прямо сейчас, — говорит Гвиневра с должной степенью безжалостности, вызывая у меня поток слез еще более бурный, чем прежде.

— Или ты хочешь этого? — спрашивает Гвиневра.

И тогда я издаю визг, который, вероятно, мог бы и мертвого разбудить, от него вылетают стекла в окнах, но главное, разлетается на осколки, мелкие, брызгающие вверх, как салют, хрусталь. Я не думала ни о каких заклинаниях, не делала особых жестов, не использовала никакого реквизита из фэнтези. Мне просто было больно.

Я ловлю Моргану, мое намерение состоит в том, чтобы не дать ей упасть, но мы падаем обе. Глаза у Морганы закрыты, она бледна. И я думаю о том, что в сказках мне полагается быть принцем и поцеловать ее. Я не принц, я даже не принцесса, но если я и хотела когда-нибудь и чего-нибудь достаточно сильно, так это освободить ее. Когда я касаюсь ее губ, сначала холодных, а затем теплеющих, она открывает глаза. Я слышу над ухом голос Кэя:

— Я думаю, она и так бы проснулась. Ну, есть у меня такое подозрение.

Он добавляет:

— Но я не уверен.

Моргана обнимает меня. Крепко, почти больно, вцепляется в меня, как кошка, так что мне становится тяжело дышать. Глаза у нее дикие, синие и злые. Она шипит:

— Почему так долго?!

— Прости, — отвечаю я.

— Да все нормально, — говорит Ниветта. — Мы здесь всего лишь едва не умерли.

Я оборачиваюсь к ним. Они стоят, бледные настолько, что почти сияют. Мы с Морганой протягиваем им руки, одновременно, и они кидаются к нам. Мы обнимаемся, и все события последних пары-тройки часов перестают для меня существовать. Это мои друзья, они здесь, они живые и теплые.

— Эй, Гарет, Гвиневра, хотите обниматься?

— Нет, Кэй.

— Я хочу!

— Фу, Кэй, ты не спросил нас, — шипит Моргана. — Мы не хотим обниматься с Гаретом.

Гвиневра и Гарет стоят чуть в стороне от нас.

— Почему ты так долго? — спрашивает Гарет. Я благодарна Гвиневре за то, что она молчит.

— И почему ты одета, как викторианская барби?

— И почему ты...

Моргана видит пятно крови на моем платье, говорит:

— Так, все, заткнулись. Выпустили, и хватит с вас.

Я спрашиваю:

— А где взрослые?

— Один сошел с ума, — говорит Гвиневра.

— Два осталось, — смеется Моргана. А потом лицо у нее вдруг белеет еще сильнее, становится и вовсе как снег.

— Гребаный больной ублюдок! — взвизгивает она.

— О, — говорит Гвиневра. — До тебя дошло.

— Заткнись! — рывкает Ниветта с неожиданной злостью, а потом трогает меня за плечо, очень мягко и указывает в конец длинного зала. Сначала я в который за это время раз думаю, что сошла с ума.

Это было бы логично.

Стена оплетена цветами, как балконы бывают увиты плющом. Зрелище это безусловно красивое, тут и там выглядывают разноцветные лепестки, сплетены в единое полотно сотни стеблей, одуряюще пахнет свежестью зелени и смешивающимся друг с другом запахом роз, орхидей, ландышей, гвоздик, и еще сотен цветов горящих сотнями цветов.

Далеко не сразу я замечаю в этой цветочной оргии, сплетении всего и вся, Ланселота и Галахада. Цветы оплетают их так, что почти ничего не видно. Лепестки, стебли и листья обрызганы кровью. Я встаю, подхожу ближе.

Я вижу, что роза выходит из глотки Галахада, как забавный и ужасающий в одно и то же время галстук-бабочка. Кровь капает вниз, соединяясь с уже натекшей на полу лужицей.

Ланселот висит рядом, так же распятый на этой живой изгороди. Под его рваной рубашкой, под кожей, струятся тернии. Они движутся от живота вперед и вверх, к груди. И я

вижу, что они шевелятся, прорывая кожу в нескольких местах. А это может значить только одно — Ланселот еще жив.

Я делаю шаг к нему, неловкий и несмелый, но меня опережает Гвиневра.

— Что вы стоите? — выкрикивает она с неожиданной для себя горячностью, а потом прямо голыми руками, безо всякой магии, начинает отдирать стебли друг от друга, чтобы освободить Ланселота.

Мы некоторое время просто смотрим. Я все еще не уверена, что эти цветы не оплетут таким же образом и нас. В конце концов, в моей памяти еще жив дракон, состоящий из них, и я вижу пробивающую горло Галахада розу.

А еще я ужасно зла на взрослых. Они лгали нам, это раз. Они не смогли нас защитить, это два. Мысль о том, что я была бы рада, злорадно рада, если бы они умерли, подгоняет меня вцепиться в цветы. Я тоже кидаюсь освобождать Ланселота, а следом за мной и остальные. Все, кроме Морганы. Она с ожесточением рвет розы, оплетающие Галахада, ранит себе руки, шепчет:

— Сука! Сука!

И я даже не понимаю, к кому именно она обращается. Галахад, думаю я, абсолютно точно мертв. И был мертв очень давно. А вот Ланселот еще дышит. И цветы впиваются в него очень крепко, мешая нам пятерым его освобождать.

Моргана же старается сама, и у нее получается раньше. Галахад падает на пол, совершенно бесчувственный. Моргана выдергивает розу из его горла, прижимает руку ко рту. И я вижу, впервые за много-много лет, как Моргана плачет, яростно утирая злые слезы.

— Урод! — визжит она. — Вставай же! Вставай! Ты мне сейчас так нужен!

Она с ожесточением бьет его по груди, и неожиданно Галахад открывает глаза. Я едва подавляю в себе желание завизжать, он будто кадр из фильма ужасов. Его горло пробито, и я вижу бледную кость или трахею, и что-то еще такое же неподходящее для наблюдения.

— Галахад! — Моргана еще раз прижимает руку ко рту, а потом бьет его по щеке.

Он аккуратно перехватывает ее руку, затем сплевывает в алую лужицу кровь.

— О, — говорит он. — Ты не представляешь, как я рад тебя видеть.

— Заткнись! Я думала, что ты умер.

— Я умер достаточно давно и не вполне жив по сей день, так что не думаю, что растения представляют для меня такую уж опасность. В отличие от Ланселота.

Галахад поднимается, самым забавным образом едва не поскользнувшись на крови, отстраняет меня, а потом и Ниветту, Кэя и Гарета. Гвиневра же вцепляется в цветы мертвой хваткой и с ожесточением рвет их. Я вижу, что два ее ногтя уже сломаны, и из-под них струится кровь.

Галахад прикасается к Ланселоту, там где сплетение терний образует узел под его кожей, и я слышу, как Ланселот орет. От страха я даже падаю прямо в лужу крови. Что, если подумать, является большой удачей. По крайней мере, вся юбка платья станет грязной, и кровь на ней не будет так уж бросаться в глаза. Я чувствую, как к горлу снова подкатывает тошнота от одних только воспоминаний о том, что было в ванной.

Ланселот орет громко, почти воет. Ниветта зажимает уши, Гарет начинает раскачиваться, мы с Морганой переглядываемся, Кэй подходит поближе, и только Гвиневра остается совершенно неподвижной.

Галахад голыми руками проникает под кожу Ланселота, хватая узел и начинает вытягивать тернии так, как вытягивают, наверное, кишки.

— У меня есть подозрение, — говорит он спокойным, деловым тоном. — Что все будет в порядке.

— У меня есть подозрение, — говорит Кэй. — Что мы сдохнем все.

— Не обобщай, Кэй, дорогой, я имею в виду конкретно данную минуту и конкретно Ланселота.

Стебли выходят из его груди неохотно, шипы отдираются с мясом. Я зажимаю себе рот. Галахад же работает без какого бы то ни было напряжения, без волнения, как будто ему каждый день случается вытаскивать терновник из своих друзей.

Ланселот, в конце концов, срывает голос.

Галахад отбрасывает последний из стеблей в сторону, говорит:

— Если бы не я, они, вероятно, достали бы до сердца. Впрочем, лучше благодарить Вивиану.

— Лучше благодарить Гвиневу, — говорю я. — Это она меня привела. Без нее я бы не успела.

Ланселот некоторое время смотрит на всех нас широко открытыми глазами, а потом говорит сиплым, едва слышным голосом:

— Заткните хлебала.

Он потирает горло, и его голос возвращается в обычное состояние. Они больше не ломают перед нами эту комедию с заклинаниями, мстительно думаю я. Некоторое время Галахад лечит Ланселота молча. Он работает быстро, так же не произнося ни единого слова, ни делая никаких особых жестов. Он просто скользит пальцами над грудью Ланселота, превратившейся в кровавое месиво, и Ланселот шипит так, будто ему порез обрабатывают йодом.

Поразительное терпение, думаю я, и какая тошнотворная картина.

Мы тоже молчим. И хотя я совершенно не знаю, что будет дальше и даже не могу предположить, каким образом мы можем защититься от Мордредра, мне все равно хочется как можно сильнее отдалить разговор со взрослыми.

Мне кажется, будто это последние минуты, пока мы все еще близки.

А потом они будут предатели и лгуны, а мы будем те, кто их обвинит. И мне ужасно не хочется, чтобы все, что я помню, вся моя жизнь, разрушалась так быстро. Я боюсь их возненавидеть.

А они, наверняка, боятся, что мы возненавидим их. Все все знают, и все хотят как можно дольше сохранять статус кво. В какой-то степени это даже приятно.

В литературе такое явление называется "глаз бури".

Наконец, Галахад оборачивается к нам. Ланселот тяжело дышит, лежа на полу. Он все еще в крови, но никаких видимых повреждений на нем больше нет.

— Твоя глотка, чмо, — говорит Ланселот.

— Это может и потерпеть. Я угадал, детки, и у вас действительно много вопросов на которые у нас совсем нет времени?

Мы смотрим друг на друга несколько обескураженно. Никто не хочет потерять все, но никто больше не может лгать и слушать ложь. Как говорил один знаменитый социальный теоретик и практик, верхи не могут, а низы не хотят.

После слов Галахада западает зловещая, застоявшаяся тишина. Мы смотрим на взрослых, а взрослые смотрят на нас.

В этой тишине слышно даже как Гарет чешет макушку.

А потом будто прорывает какую-то плотину. Мы начинаем говорить все и разом, так что я даже не могу понять, где и чья реплика.

— Вы лгали нам все это время?

— Что за прудом?

— В какой мы стране?

— Откуда вы нас взяли?

— Что на самом деле случилось со школой?

— Это вообще школа?

— Мордред всегда был злодеем?

— Вы знали, что он сумасшедший?

— Почему вы согласились работать с ним?

— Вы никогда не хотели рассказать правду?

— Он сильнее вас?

— Вы можете сбежать отсюда вместе с нами?

— Вы можете его убить?

— Он может убить вас?

— Он что маньяк?

— Ты что не видел, Гарет, он убил кучу человек!

— Ну видел, но это не доказано.

— Какой же ты тупой!

— Спасите нас!

— А куда мы пойдем, когда выберемся отсюда?

— А что там вообще есть?

— Чего вы хотели? Ну, с Мордредом?

Галахад слушает этот поток вопросов несколько ошеломленно, иногда он открывает рот, чтобы ответить, но его тут же сбивает с толку наш следующий вопрос.

— Заткнулись все! — рывкает, наконец, Ланселот. — Сейчас мы выберем, скажем, четыре вопроса, на которые ответим.

— Четыре — число смерти в Японии.

— Кэй, завали хлебало!

— И ладно, и завалю.

— Так-то лучше. Вы же в курсе, что у нас нет времени для того, чтобы разводить сопли, мелочевка? Мы должны думать, как нам выбраться.

— О, — говорит Моргана. — Если мы должны думать, как нам выбраться, то это вроде как значит, что вы не знаете, как отсюда выбираться.

— Вроде как именно это, — говорит Галахад, улыбнувшись самой беззащитной

улыбкой.

— Я кому-нибудь сейчас зубы выбью, — шепчет Ниветта.

— Я все слышал! — рывкает Ланселот. Отчасти я ему даже благодарна. Сейчас нам, пожалуй, как никогда не хватает дисциплины.

Все снова замолкают, и я рассматриваю цветы позади Ланселота и Галахада.

— Давайте начнем с простого, — говорит Галахад. — Мы в Великобритании. Если быть точнее — в Шотландии. И в довольно уединенном ее уголке. Ближайший к нам крупный город, располагающийся, впрочем, не так уж близко — Инвернесс.

Шотландия, думаю я рассеянно. Я читала о Шотландии, и читала довольно много. Зеленая насквозь страна, омываемая морем. Здесь водится Лохнесское чудовище, возможно, и множество агрессивных футбольных фанатов, абсолютно точно. Шотландия, думаю я. Мой дом. А шотландцы тогда, получается, мой народ? Мне всегда хотелось иметь национальность, чувствовать свою причастность к чему-то огромному, к чему-то, во что вовлечены миллионы людей, мне незнакомых.

— Это вопрос номер один, — говорит Ланселот.

— Вопрос номер два, в котором можно соединить два смежных вопроса. Со школой ничего не случилось, и это не школа.

Все смотрят на них, Галахад говорит как ни в чем не бывало:

— Мы обманывали вас все это время. Вы ведь и сами это утверждаете.

И я чувствую, как он расслабляется, когда произносит эти слова, будто наконец, через столько лет, опускает на землю какую-то тяжелую ношу.

— Мы, — говорит Галахад. — хотели дать вам силу и вырастить вас, чтобы вы помогли нам.

— Да, — добавляет Ланселот неохотно. — Чтобы вы помогли нам менять мир.

— Делать его лучше.

— Это в каком смысле? — спрашивает Гвиневра.

— Таким, каким мы хотим. Нам просто нужно было больше магов. Это долгая история.

— Тогда расскажи ее, — говорит Моргана. Галахад вздыхает:

— Что ж, полагаю, это может считаться ответом на вопрос. Строго говоря, мы не маги. Мы и есть магия. Насколько мне известно, хотя за девять лет все могло очень измениться, мы единственные, у кого она есть. Магия это сила, позволяющая менять мир и его естественные законы с помощью разума. И она берется из страданий. Вы прекрасно знаете историю Номера Девятнадцать, и повторять ее не нужно. Его мучили столько, сколько он помнит себя. Нас — тоже. Однако именно Мордред смог преодолеть иллюзию бессилия перед миром. И получил все.

— А вы? — спрашивает Ниветта.

— Ну, тут мы плавно переходим к вопросу номер три. А мы — нет. Всю магию мы получили от него. Как и вы. Он сильнее нас. Мы колдуем только потому, что когда-то он этого захотел. Поэтому нет, мы не сильнее него. И нет, мы не знаем, как отсюда выбраться без его ведома. Он сам замыкал это место так, чтобы сюда нельзя было попасть снаружи и отсюда нельзя было выбраться изнутри. Мы ему только помогали.

Мы снова молчим. Я знаю эту историю в чуть более развернутом виде, поэтому вопросы мне в голову не идут. Мои друзья же наоборот знают ее настолько обрывочно, что сложно сообразить, о чем еще можно спросить.

— Кстати, для меня остается загадкой, — задумчиво говорит Галахад. — Что случилось

с Мордредом.

— Ну, чокнулся.

— Да, спасибо, Кэй, — кивает Галахад. — Но я имел в виду, что мне не хватает более развернутой версии произошедшего.

— Ну, плохо ему стало, и он взбесился, и чуть не убил вас, и усыпил нас, потому что тяжело ему в детстве было. Травма как бы.

— Спасибо, Кэй, — с нажимом повторяет Галахад. Гвиневра некоторое время сохраняет абсолютное спокойствие, и я почти уверена — она не признается им в том, в чем призналась мне. Гвиневра смотрит на Галахада и Ланселота со злостью и любопытством, как и мы все, и ее взгляд ничем не отличается от взгляда Морганы. Я абсолютно уверена, что она сможет скрыть свои мысли, сможет солгать. Поэтому для меня ее слова оказываются полной неожиданностью:

— Это я виновата. Не во всем, потому что вы виноваты намного больше, и я не чувствую себя плохо из-за того, что сделала. Потому что если бы вы не ввалили нам все это время, все было бы в порядке.

— И эта долгая прелюдия нужна для...

— Для того, чтобы сказать, что я пыталась отсюда выбраться. И я пробовала заклинание. Оно должно было открыть то, что закрыто. Я улучшила заклинание для того, чтобы отпирать двери, и...

— И ты у нас, несомненно, маленький гений, — рычит Ланселот. И совершенно неожиданно, даже более, чем ее признание, Гвиневре изменяет обычное достоинство. Она взвизгивает совершенно не своим голосом:

— Не смей говорить со мной так, как будто я виновата! Вы лгали нам все это время! Вы держали нас здесь против воли! Я догадывалась, но я и понятия не имела, что все настолько глупо и мелко. Трое мальчишек, которые просто не смогли смириться с миром, какой он есть и решили сбежать от него. Не только он сумасшедший — вы все сумасшедшие.

Мне хочется поправить ее и сказать: мы все сумасшедшие, но я молчу. Часть меня согласна с Гвиневрой, а часть все еще любит этих людей, это место. Это мой дом, и я столько раз просыпалась и засыпала здесь, что мне даже немного страшно думать о том, что мир за пределами школы существует всерьез. Я люблю цветы в нашем саду, пыльный, пахнущий старой тканью и нагретый солнцем чердак, свою комнату, пропитанную томным, летним запахом земли и растений, своих друзей, своих взрослых, заменивших мне родителей.

Мордреда.

Его имя вспыхивает болезненной искрой в моей голове, и я ощущаю почти физическую боль внутри. И моя любовь, тепло, которым была наполнена моя жизнь, все гаснет. Мне становится зло и очень одиноко.

Гвиневра кричит, и я понимаю, что прежде ни разу не слышала даже, чтобы она просто повысила голос достаточно надолго, чтобы это можно было назвать руганью.

— Вы лгали нам, и могли смотреть нам в глаза и говорить, что делаете все для нас! Вы использовали нас! Вы растили нас как щенков! Вы правда считали нас такими идиотами? Думали, мы верим вам безоговорочно?!

Вот это, кстати, получилось весьма обидно, потому что я верила взрослым безоговорочно, по крайней мере, до последнего времени.

— Почему? Почему вы сделали это? Как вы могли с нами так поступить?! Давайте! Это

же самый главный вопрос! Какого черта вы нас похитили?! Какого черта вы лишили нас той жизни, которая нам принадлежала?!

Галахад поднимает руку, и Гвиневра замолкает, явно против воли. Ланселот бьет Галахада по руке.

— Не мешай ей. Она права.

Но Гвиневра не продолжает свою пламенную речь. Она густо краснеет и смотрит в пол.

— Ты правда думаешь, что мы забрали вас от любящих родителей, из теплого дома и привезли сюда? Нет, Гвиневра. Мы долго искали детей, которым нечего терять. Мы не хотели лишать вас любви родителей, дома и будущего. У вас ничего этого не было. А мы дали вам волшебство.

— Волшебство не может заменить всего, что там, снаружи, — мрачно говорит Ниветта. — И, кстати, Гвиневра спросила: почему вы это сделали? Думаю она имела в виду не то, как вы себя оправдываете, а то, зачем вообще вы...

И совершенно неожиданно Галахад почти шипит:

— Потому что нас пугает мир! Потому что он всегда нас пугал! Потому что мы были идиоты, так и не сумевшие приспособиться к тому, что увидели, когда вышли из той больницы. Мы дрожали от страха при мысли о том, что нам придется быть частью этого мира. И мы были одиноки. И мы думали, что можем хоть что-нибудь изменить! Вы правда думаете, что мы не понимаем, какого дурака свалили?

— Мордред не понимает, — напоминает Ланселот. — Да, мы поступили с вами хреново. Очень хреново. И мы вам вралли. Мы были плохой заменой родителям.

— Но вы были хорошей заменой родителям, — тихо говорю я, и Кэй, как будто он один услышал, кивает.

— И мы вас любим, — добавляет Кэй. — Хотя вы ужасные мудаки.

— Вы поступили с нами непростительно, — говорит Гвиневра.

— И как мы теперь можем вам верить? — спрашивает Моргана.

— Отлично. Мнения разделились. Вы вправе злиться, но давайте все вместе подумаем, как нам жить дальше. Или, лучше сказать, как нам выжить.

— Выбраться, — говорит Гвиневра.

— Да, выбраться, — кивает Ланселот. Я смотрю на стену, испещренную цветами всех известных мне видов, и вспоминаю дракона, огромного, зубастого и сплетенного из цветов. Я думаю: выбраться невозможно. Я думаю: он может все.

И мы не знаем, сколько у нас времени. Он легко освободится, он придет за нами. Я обхватываю себя руками, обнимаю себя как можно крепче, и осознаю, что только собственные прикосновения мне сейчас приятны. Нет, не приятны — выносимы.

— Я не думаю, что я надолго его задержала. Скорее всего он уже освободился.

Если только он не мертв. Меня снова прошивает страхом, но на этот раз совсем другого рода. Я чувствую себя так, будто со всех сторон на меня давит что-то невидимое, и дышать очень трудно. Любая мысль отдается болью и страхом, как будто есть только боль и страх.

— Да, — говорит Галахад. — И он с нами играет. Если бы он хотел убить нас быстро, это не составило бы ему труда. Даже на расстоянии.

— Вы говорите так, как будто нет ничего сильнее его магии.

— Ты нас вообще слушала? Он и есть магия, — говорит Ланселот. — Но мы попробуем сбежать.

— Вы же говорили, что не знаете, как.

— А мы и не знаем. Поэтому я и сказал, что попробуем, а не сбежим. Вы вообще не пытаетесь слушать, а? Он все-таки не бог. Если бы он все мог сам, мы бы ему не были нужны.

И я вижу, как Галахад толкает Ланселота в бок, как будто Ланселот забыл о чем-то важном. Например о том, что именно этот человек спас их. И он же — едва их не убил.

— Словом, мы можем успеть инвертировать то, что мы делали. Мы с Галахадом примерно помним, что именно. Образы, слова. Если вы нам поможете, у нас есть шанс.

Да какой в этом смысл, думаю я. Но все лучше, чем погибнуть даже не попытавшись бороться.

— У тебя падение морали, мышонок? — спрашивает Моргана. Я вздрагиваю от ее обращения и понимаю, что всего лишь часа оказалось достаточно, чтобы вывести, выбелить, выскоблить всю нежность, которую в слово "мышонок" вкладывала Моргана и всю любовь, которую я испытывала к этому глупому, детскому обращению.

— Да, — говорю я. — Вроде того.

И тогда Моргана берет меня за руку, очень осторожно, переплетает наши пальцы.

— Давай выберемся отсюда, доедем до Эдинбурга и круто напьемся?

От этой дурацкой фразы мне становится неизмеримо легче, как будто Моргана говорит о том, что здесь не закончатся наши жизни, и что в большом мире она не бросит меня.

— А пока, Вивиана, давай-ка ты нам поможешь. В конце концов, ты всегда на втором месте после Гвиневры, но Гвиневра дисквалифицируется из-за ее личности. Так что ты — наша надежда. Давай.

Галахад и Ланселот что-то шумно объясняют Гвиневре и Ниветте, Гарет и Кэй переглядываются. Все звуки будто проходят мимо меня, я воспринимаю их, как поток, который несется в сторону, а я остаюсь на берегу, и не могу войти в него, даже ноги не могу намочить. Мне кажется, будто течение тут же унесет меня.

Я даю себе хлесткую пощечину, такую громкую, что все оборачиваются ко мне.

— О, — говорит Гарет. — Круть. Вивиана тоже чокнулась.

Я делаю несколько неловких шагов по направлению ко взрослым. Моргана сжимает мою руку, идет за мной.

— Извините пожалуйста, — говорю я так, будто решила уточнить задание. — Я прослушала, что нужно делать.

Ланселот оборачивается ко мне резко, рывкает:

— А у нас по-твоему много времени, чтобы повторять всю эту хрень по десять раз?!

А потом он замолкает и, уже спокойнее, говорит:

— Ладно. Смысл в том, что мы выйдем в гостиную, туда, где десять лет назад помогали Мордреду запечатать это место. Изначально посыл заключался в том, чтобы изъять его из мира. Не закрыть.

— Так вот почему не сработало, — с досадой говорит Гвиневра.

— Да, — кивает Галахад. — И не напоминай нам об этом. Мордред вообще-то наш друг.

— Был.

— Есть, — говорит Ланселот. — Но мы в любом случае должны вас отсюда выпустить.

Все не решается так просто, думаю я. И понимаю, что даже представить себе не могу, как решать подобные задачи. Это Гордиев узел, его можно только разрубить. Кто-то должен умереть.

Галахад щелкает пальцами у меня перед носом, говорит:

— Давай-ка, милая, слушай. Вы должны будете припомнить все, что знаете о мире. Книжки, фильмы, не важно. Вам нужно сконцентрироваться на том, чтобы вернуться туда.

— А заклинания?

— Используйте то, что считаете нужным. Если хотите поставим свечи и кристаллы. Главное это ваши мысли.

— Но вы учили нас по-другому, — говорит Ниветта. — Знаете, как бы все это время. Мы выходим в гостиную. Моргана все еще держит меня за руку.

— Тебе плохо? — спрашивает Кэй. — Ты ранена? Ты такая бледная, потому что ты теряешь кровь? Он тебя ударил?

— Заткнись, Кэй, — говорит Гарет. И я очень ему благодарна. Настолько, что даже забываю свою обычную неприязнь.

В доме тихо, не слышно ни единого звука. Он все знает, думаю я, он здесь, он здесь. Он играет с нами, как с мелкими зверьками. А потом он выпотрошит нас, как и обещал. Он ведь говорил, что ему нужна кровь.

Тишина жуткая, застоявшаяся, похожая на духоту перед дождем. И это чувствуют все. Но, в конце концов, нужно действовать. Галахад и Ланселот быстро расставляют кристаллы, все это спектакль для нас, ведь мы не умеем колдовать по-другому. Свечей не находится, а идти за ними никто не решается.

Мы садимся в круг, и я беру за руку Моргану, а меня берет за руку Ниветта. Взрослые встают перед нами, спина к спине, Галахад лицом к лестнице, а Ланселот лицом к двери. Я замечая, что уже темно. Сколько же времени я провела вместе с Господином Кроликом в его иллюзиях? Мне кажется, будто меньше двух часов, а оказалось, что целый день.

Гвиневра называет заклинание, и я чувствую себя совершенно бесполезной. Вместо того, чтобы помочь ей, переживаю обо всем, что уже прошло, что уже неважно. Я, вместе со всеми, повторяю заклинание.

— А язык, который... — начинает Кэй.

— Да выдумали мы его. Еще в больнице. Чтобы общаться тайно. Никакой он не магический.

— Все, Ланселот, хватит разрушать их иллюзии. Сосредоточьтесь, ладно, ребята? Не думаю, что у нас много времени.

Я закрываю глаза. Теплые ладони Ниветты и Моргану одновременно успокаивают и кажутся неприятными. Я повторяю про себя заклинание, не уверенная, что смогу колдовать.

То есть делать что-то, что на самом-то деле и колдовством не является. Мир, мир, большие города, маленькие городки, леса и сады, и огромное синее море, вывески над магазинами, супермаркеты и театры, автоматы с сигаретами, заплеванные тротуары, детские рисунки на асфальте, следы цветных мелков, которые смывает дождь, радужные лужицы бензина.

Все эти образы я видела в фильмах или читала в книгах, я не знаю, насколько они настоящие. Но мне очень хочется узнать. И это желание, кажется, сдвигает внутри какой-то камень. Я чувствую, что у меня начинает получаться, и что-то вроде электрического тока исходит от Моргану и Ниветты. Колдовать вместе здорово, думаю я, то есть не колдовать.

Соединять свои мысли.

В этот момент я слышу далекие шаги. Вся моя сосредоточенность испаряется, зарождающаяся магия гаснет. Шаги не принадлежат Мордреду, и их много. Я открываю глаза и вижу, как Ниветта смотрит в окно, губы у нее бледные, а глаза большие от страха.

От одного окна к другому вокруг дома вышагивает процессия. Сначала я не различаю в темноте силуэтов, лишь крохотные, рыжие огоньки. Постепенно эти огоньки, единственные источники света, выхватывают из ночной темноты маленьких детей в одинаковой больничной одежде. Они идут, и пламя десятков свечей вырывает их бледные лица из хватки ночи. Их глаза устремлены вперед.

Мертвые дети, живые цветы. Морг, сад, морг, думаю я. Шуршание их шагов посреди сада становится все громче, как будто сами дети становятся все более настоящими. Сияющие белки их глаз неприятного, жутковатого оттенка, присущего раздувшимся брюшкам мертвых рыбин.

Свечки будто огоньки их маленьких душ, слабые, колеблющиеся в ночном воздухе.

— Не обращайтесь внимания, — сквозь зубы говорит Ланселот. И я чувствую, что им, взрослым, не обращать внимания тяжелее всех. Этот спектакль для них.

Они знают этих детей. Они знают их всех.

Процессия продолжается. Язычки пламени трепещут в ночном воздухе, бледные ладошки оберегают их от ветра.

Я переглядываюсь с Морганой, она делает большие, испуганные глаза.

— Это ведь просто иллюзии? — спрашивает она.

Галахад заворуженно кивает.

— Да. Просто иллюзии. Они ничего вам не сделают. Все эти дети давно мертвы.

Но прошлое не мертво. Это я теперь точно знаю.

— Закройте глаза! — рявкает Ланселот. — Сосредоточьтесь на ритуале.

Я вижу, что едва зародившееся свечение кристаллов гаснет. Если мы будем отвлекаться, ничего не выйдет. Закрыв глаза я снова думаю о мире, который хочу приблизить. Я хочу преодолеть трещину, пропасть, разрыв. Море в фильмах вроде "Рассекая волны" было серым, свинцовым, непокорным. Огромная, ударяющаяся о такой маленький, кукольный человеческий мир стихия. В том фильме, кажется, и дело происходило в Шотландии. Мы с Морганой смотрели его вдвоем, лет в тринадцать, стащив кассету у Ланселота, который явно ее не оценил. Мы наслаждались драмой и сексуальным распутством, поглощая шоколадки одну за одной. И тогда я совсем не оценила море. Только теперь я понимаю, что помню это холодное, тусклое море, бившееся о каменные берега до сих пор. Кино отражает реальность, искажая ее, и все же, наверное, море, которое я увижу, когда выберусь отсюда, похоже на то, что я видела в фильме.

Оно не синее, оно не приветливое, в нем не захочется искупаться. Оно как зверь бьет лапами по камням, оно пытается выбраться наружу. И оно — красивое. И я хочу ощутить, как это, когда белые брызги касаются моей кожи, когда от невероятных волн остаются лишь невесомые капли.

Я снова чувствую внутренний импульс, что-то в моей голове сдвигается, поддается, и брешь, как будто, становится меньше. Я пытаюсь погрузиться в собственные размышления о том, что значит море, какое оно, какое все на свете, как я увижу мир за пределами школы, каким окажется лес, будут ли на свете другие сады, такие же прекрасные, как наш, какую еду я закажу в кафе, будет ли она вкусной, и где я проведу свое первое Рождество.

Я представляю своих друзей, а еще Ланселота и Галахада, в какой-нибудь маленькой квартирке, в большом городе вроде Эдинбурга. Мы будем ютиться в тесноте, и будет вкусно пахнуть индейкой, и все будет красное и зеленое, а на улице будут цвести не цветы, а салюты, и будет очень снежно, и будет много машин, припаркованных перед домом, целые

стада машин.

Я знаю, что остальные представляют совсем другие вещи, другие, но так же важные для них. Я мысленно повторяю заклинание, которое сказала Гвиневра, и верю, верю, верю. На этот раз не кому-то, а себе самой.

И у меня все практически получается, а потом я чувствую, как у Ниветты дрожит рука. И эта дрожь передается мне.

— Они здесь, — шепчет Ниветта. И сначала я снова думаю, что она говорит о тех загадочных существах, которых видит иногда у нас за спинами.

А потом я слышу шаги и сама. Шаги осторожные, тихие, но их много. Маленькие ножки шуршат по полу, под ними скрипит лестница.

— Это всего лишь иллюзии, — говорит Галахад. Но я знаю, что ему и Ланселоту страшнее всех. Все снова упущено, и не только для меня. Я открываю глаза. Из всех нас продолжает что-то судорожно шептать только Гвиневра, губы ее сжаты в тонкую ниточку, глаза закрыты, она ожесточенно сжимает руку Гарета, так что он шепчет:

— Прекрати.

А я наконец решаюсь обернуться. Они проходят в дом один за одним, и как только переступают порог, мальчики и девочки, босые, в больничной одежде, свечи в их руках превращаются в цветы. У каждого свой цветок, ни один не повторяется. Я вспоминаю зимний сад, потом вспоминаю морг.

Дети нам как будто бы не мешают, они даже ведут себя очень-очень тихо. Они все входят и входят в дом, впуская сюда ночную прохладу. Я не считаю их, но уверена, что их не меньше четырех десятков.

Дети несут цветы, чтобы украшать ими дом. Некоторые из них останавливаются рядом с нами, они прикрепляют цветы к занавескам, укладывают их на полу и на каминной полке. Дети совершенно не обращают на нас внимания, будто это нас уже не существует, а не их.

Одни поднимаются наверх, другие остаются на первом этаже.

Я слышу, едва-едва, как Галахад, почти неразличимо шепчет:

— Три, Семнадцать, Сорок два, Шесть, Четырнадцать, Двадцать семь.

Закончив с цветами, дети замирают, ждут чего-то. Весь холл оказывается украшен, будто цветов было намного больше, чем детей, будто цветы сами собой появлялись на занавесках, полу и окнах.

Множество цветов там и тут, их удушливый запах. В фильмах так показывают похороны ребенка. Дети — цветы. Мертвые дети — умирающие цветы.

Я ожидаю, что сейчас в холле появится аккуратный, маленький, лакированный гроб, и Галахад, кажется, тоже этого ожидает. У него такие глаза, будто он попал в свой худший кошмар. Дети не обращают на него внимания.

Никто, кроме Гвиневры, даже понукавший нас Ланселот, уже и не думает возвращаться к работе. В руках у детей появляются шарики, и они отпускают их болтаться у потолка или привязывают к лампам, вазочкам. Похороны тут же превращаются в праздничную вечеринку. Бока разноцветных шариков блестят, как в мультфильмах, ярко-ярко.

Я прижимаюсь к Моргане, она к Кэю, а Ниветта ко мне. Дети смотрят сквозь нас, будто не видят.

— Мы знаем, что ты здесь, — говорит Ланселот. — Прекрати этот концерт, лады?

А потом орет:

— Выходи! Я не хочу на них всех смотреть! Я их почти забыл! Выходи!

— Прекрати устраивать это идиотское шоу! Если ты хочешь нас убить, так иди и попробуй, чокнутый, — кричит Моргана.

— Может не стоит так его звать? — спрашивает Кэй.

— Но он же чокнутый, — говорит Ниветта.

— Но мы тоже чокнутые!

— Но не настолько. Все познается в сравнении.

Они говорят очень спокойно, будто бы ничего особенного не происходит. Наверное, это такая защитная реакция. Я смотрю на Гвиневу. Она продолжает что-то шептать, кристаллы слабо светятся.

Нужно присоединиться к ней, думаю я, нужно присоединиться.

— Пожалуйста, — говорю я жалобным полусшепотом. — Пожалуйста, уходите.

И в этот момент я слышу его голос, мелодичный, чуть хрипловатый.

— Никто не знает несчастий, которые я видел. Никто не понимает моей скорби. Я бы так хотел найти верный путь. О да, Господь. Но жизнь это всего лишь один длинный дождливый день. О да, Господь! Аллилуйя!

Он спускается по лестнице, старательно, ловко обходя детей, которые курсируют туда и обратно с шариками, сладостями, бумажными фигурками.

И теперь я понимаю, что это такое. Вечеринка в честь ребенка, маленького мальчика.

Мордред говорит:

— А ведь никто даже и не вспомнил, что у меня сегодня день рожденья! Почему я должен все время думать обо всем самостоятельно? Никто не сделает тебе сюрприза, никто не позаботится о тебе, они все оставляют тебя гнить. Да, гнить и разлагаться на составляющие. Только и ждут того, чтобы выпустить тебе кишки под жарким солнцем. Автолиз происходит быстрее в тепле. Да-да! И наступает лето!

Трое детишек вывозят на столике торт, покрытый белым кремом и ярко-синей глазурью. Торт будто из фильмов, такой красивый и ровный, и даже надпись "С днем рожденья, Мордред" выглядит каллиграфической. Из торта торчат одиннадцать белоголубых полосатых свечек.

— Кто-нибудь хочет лимонад? — спрашивает Мордред. — Или теплого молока?

Он смеется. Мы молчим. Не Мордред, не Мордред, думаю я, не называй его так. Я слышу шепот Гвиневы, но не различаю слов. Мордред, а лучше сказать Господин Кролик, достает из внутреннего кармана своего старомодного пиджака мясницкий нож, тот самый, что я видела, когда пила с ним чай.

Господин Кролик насвистывает песенку "С днем рожденья тебя", подкидывает в руке нож, а потом рывкает:

— Сука, ты правда думаешь, я не слышу, что ты делаешь?!

Кристаллы разлетаются на осколки, я закрываю лицо руками, Моргана взвизгивает, остальные сохраняют молчание. Гвинева поднимает на него взгляд, стирает с лица кровь — осколки поцарапали ей щеку и лоб. Господин Кролик с ожесточением втыкает нож в торт.

— Еще раз выкинешь что-нибудь подобное, и он будет в твоём желудке. Понятно?

Гвинева смотрит на него молча.

— Я спросил: понятно?

— Да, — кивает она.

— Так-то лучше.

У меня нет и мысли пошевелиться. Все равно что оказаться в заложниках у террориста.

Только в случае с террористом ты точно знаешь, что в руках у него автомат, и это все, чем он отличается от тебя. Господин Кролик же может все.

Моргана отползает подальше, к креслу, и я делаю попытку подобраться к ней, но в этот момент Господин Кролик спрашивает:

— Кто-нибудь хочет тортик? Он вкусный.

Господин Кролик укладывает отрезанный кусок на желтую бумажную тарелочку с клоунами, говорит:

— Ну?

— Это нам стоит спросить. Ну, что тебе нужно? — говорит Ланселот, и все же он не так резок, как обычно. Они боятся. Все боятся.

Господин Кролик откусывает кусок торта, морщится от удовольствия.

— Лично я хочу подарков! И реки крови! Что, в принципе, одно и то же. А еще хочу трахнуть кого-нибудь здесь, но я даже не знаю, кого именно. Все такие вкусные, такие вкусные. Торт, кстати, тоже ничего.

Нос у него забавно и умилительно измазан кремом. Это настолько контрастирует с Мордредом, что я даже не верю, что Господин Кролик и Мордред — один человек, в разумном, рациональном мире, лишенном безумия, они — единое целое.

Мордред ни единого раза за все девять лет не появлялся даже с кофейным пятнышком на манжете.

Он говорит:

— Вы не понимаете, родные и близкие, даже не хотите понять! Понять чего? О, тут все просто. Я здесь! Это значит, что вы, строго говоря, уже мертвы.

Он посылает мне воздушный поцелуй.

— Кроме тебя, моя милая мышка. Тебя я буду трахать, когда выпущу всем остальным кишки. Так никто не хочет тортика?

Он смеется, а потом замолкает, говорит совсем другим голосом, голосом Мордреда.

— Не трогай их.

— А кто мне запретит? Ты что ли? Seriously? Я делаю это ради нас с тобой. Девятнадцать. Ты напридумывал себе глупостей. Они все только и мечтали вонзить нож тебе в спину.

— Это мои друзья. И дети, которых я должен защищать.

— Нет, друг мой, это люди, которые хотят тебя убить. Ты не видишь? Ты не видишь, о чем они все здесь мечтают? Они все забыли. Ублюдки все забыли. Они забыли, ради чего вы здесь. Они забыли всех наших милых знакомых. Хотят веселиться. Мы дадим им веселье.

— Нет.

— Да!

— Нет!

Это в какой-то степени комично. И ужасно гротескно, он говорит на совершенно разные голоса, спорит с собой так яростно и громко, как будто в комнате находятся два Мордреда, в какой-то момент я действительно в это верю.

А потом я вижу, как Галахад потирает пальцы, под пальцами у него светится что-то маленькое и, по ощущениям, очень опасное.

— Вот! — рычит Господин Кролик. — Я же говорил!

Нож, измазанный в креме мгновенно, минуя стадию полета, оказывается у Галахада в сердце. Моргана кричит, я прижимаю руку ко рту, Ниветта крепче вцепляется в меня, я

слышу голоса Гвиневры и Кэя. Галахад сейчас упадет, думаю я, и не будет у нас больше Галахада.

А потом я вспоминаю розу, пробивавшуюся из его горла.

Галахад вытаскивает нож.

— О! Ты ведь у нас не жив и не мертв, котик! В таком случае ты и дашь мне реки крови! — Господин Кролик хлопает в ладоши, заливисто и театрально, и когда его ладони в очередной раз соприкасаются, он ловит нож, который Галахад пустил в обратную сторону.

— Я бы на вашем месте даже не пытался, — говорит он. — Так вы только меня разозлите! А никому не нравится, когда я злой! Понятно? Вам понятно?! Давай, шлюха, открой рот и скажи за своих друзей.

Он смотрит на Моргану. Моргана кивает очень сдержанно, она говорит:

— Нам все понятно.

— Хорошо.

Господин Кролик облизывает нож от крови Галахада с каким-то похотливым и мерзким выражением лица, потом отрезает еще кусок торта, укладывает на розовую бумажную тарелочку и протягивает мне.

— Наслаждайся. Ты голодная, давно ничего не ела. Сахар тебя взбодрит.

Я отползаю от него, и он ставит тарелку прямо передо мной, как перед зверушкой, которую приручает. Я смотрю на красивый, ровный кусок торта с одной, все еще горящей свечкой. Господин Кролик склоняется и задувает ее. А потом делает шаг назад.

— Итак, вы в моей власти. Мне это нравится! Намного больше, чем исходный план Девятнадцать.

Он подмигивает мне, и я снова смотрю в пол. Нужно что-то делать, думаю я, нужно что-то делать. Но что?

— О, вот моя прекрасная мышка сейчас думает о том, что делать в этой опасной и напряженной ситуации. Давайте подумаем вместе. Что же делать, что делать, что делать? Предложения? Жалобы? Просьбы о помощи?

Господин Кролик протыкает ножом один из шариков, прикрепленных к столику, и он с громким треском лопается.

— Страшно вам? Эй, герои, а вам — страшно? Привыкли прятаться за спиной Девятнадцать, а?

Господин Кролик подходит к Моргане, хватает ее за руку и поднимает на ноги.

— Потанцуем, красавица?

И я вдруг вцепляюсь в его ногу, сама от себя не ожидая такой смелости и такой глупости.

— Не трогайте ее, не трогайте! — взвизгиваю я. Он легко отталкивает меня, смеется надо мной.

— Какая ты милая, когда ревнуешь!

Он отталкивает меня, и в то же время я не ударяюсь, как будто что-то удерживает меня. Со мной он бережен, и это вызывает у меня еще больше страха, а кроме того — вину.

Я снова бросаюсь к нему, и в этот момент Господина Кролика самого отбрасывает к стене. На секунду я думаю, что это сделала я, из-за злости и волнения, из-за опасности, которая угрожает Моргане.

Господин Кролик легко поднимается на ноги. Он касается пальцами затылка, и я вижу, что на его руке остается кровь.

— О, ты научился кусаться? — спрашивает он с интересом. — В таком случае мне остается только поздравить тебя, Галахад. Ты меня действительно разозлил! Это повод для того, чтобы начать эту ебаную вечеринку!

Дети, как сомнамбулы бродившие по дому прежде, вдруг оборачиваются к нам. Их пустые глаза приобретают злую, звериную осмысленность, свойственную хищникам.

— Кэй, дорогой, я знаю, что ты думаешь! Ты думаешь, что же теперь будет? И я скажу вам, что теперь будет. Они сожрут вас живьем!

Господин Кролик отходит к окну, садится на подоконник и смотрит. Из-за шторы он достает игрушку, того самого плюшевого кролика, обнимает ее, как ребенок. Все эти движения и жесты у взрослого мужчины смотрятся ужасно неправильно.

Я успеваю подумать об этом прежде, чем кто-то сбивает меня с ног. Это ребенок, ему не больше семи, и он намного слабее меня, по крайней мере по идее, но он легко прижимает меня к полу, будто смерть высвободила в нем какие-то тайные, скрытые силы. Это мальчишка, рыжеватый и смертно-бледный, он весь покрыт уродливыми, гноящимися шрамами. Я вижу, как в них копошатся маленькие червячки. Руки у мальчишки холодные и очень ловкие, он пытается вцепиться мне в горло, рвет мне кожу ногтями, когда я стараюсь удержать его за руки. Я хочу прошептать заклинание, но мне страшно. Это ребенок, мертвый иллюзорный ребенок, убеждаю себя я. Я не могу причинить ему боль. Никто больше не может. В этот момент я чувствую, что мои руки хватают. Я вижу двух девочек-близняшек, их улыбающиеся рты вовсе лишены зубов. Я издаю затравленный визг прежде, чем руки мальчика смыкаются на моем горле. От страха я полностью забываю, что в гостиной есть еще хоть кто-то, кроме меня.

Воздуха остро не хватает, в голове становится щекотно и очень душно, я чувствую, что начинаю терять сознание, картинка мутнеет, только глаза мальчика, белые и мертвые, остаются яркими.

Я закрываю глаза, потому что сил на то, чтобы держать их открытыми не остается. А потом воздух потоком проникает в мое горло, и я не сразу соображаю, почему.

Когда я открываю глаза, то вижу перед собой мальчика, только у него нет половины головы. Я вся в холодной крови.

— Не за что, — говорит Ланселот и перезаряжает дробовик.

— Они имунны к магии! — кричит Галахад. О, конечно, он-то думает, я пыталась.

Я вижу Моргану и Ниветту с лопатами, Кэя с тесаком с кухни, Гвиневру со старомодным мечом, прибывшим с чердака и Гарета с вилами. У Галахада и Ланселота автомат и дробовик. Выстрелы заставляют меня зажать уши, передо мной падает еще какой-то ребенок. И я понимаю — их много больше, чем мы видели. Они лезут из окон и ломаются в двери, как в фильмах про зомби.

Господин Кролик сидит на подоконнике, его обходят дети и пули, он поедает торт руками и говорит:

— Да-да-да, все как я сказал тебе, у ублюдков есть оружие! Я же говорил! Все каюты заперты, корабль идет ко дну! Они не могли достать оружие из внешнего мира! Я герметизировал отсек! Оно у них было! И знаешь, зачем? Чтобы убить нас. Враги, везде враги! У нас с тобой всегда были одни враги!

Я вижу, что мои друзья махают своим оружием довольно бестолково. В основном, прежде, чем крохотные зомби успевают к ним подобраться, их снимают выстрелами Галахад и Ланселот.

— Почему это огнестрельное оружие у вас? — спрашивает запыхавшийся Кэй.

— Потому что вас скорее спасут люди, которые, собственно, умеют стрелять, идиот ты

тупой!

— Он пиздит! — выкрикивает Господин Кролик. — Не слушай его, Кэй! Вас никто не спасет!

Он выглядит так, будто смотрит веселое шоу, у него горят глаза, и это жутко.

— Вивиана! — говорит Галахад. — Давай ты поспособствуешь общему делу! У нас не бесконечное количество патронов.

Я судорожно думаю, чем могла бы защититься. Я не очень-то смелая и соображаю не самым лучшим образом, особенно в ситуациях точечного зомби-апокалипсиса. Дети лезут и лезут, как насекомые, у них целеустремленные, хищные, но в то же время глупые движения, и они не успокаиваются, пока им не отстреливают головы. Я вижу, как Моргана сносит башку какому-то высокому и полноватому мальчишке в заляпанной кровью рубашке. Удар ее лопаты с хрустом ломает кость. Голова не отлетает с первого раза, и Моргана бьет еще с нервным, азартным и радостным остервенением.

Ниветта с визгом прячется за Моргану, видимо, сочтя ее более искусной в детоубийствах. Надо мной гремят и гремят выстрелы, дети, одинаковые и такие разные, наступают. Ланселот спасает меня снова, застрелив двоих, когда они вцепляются мне в ноги, и тащат, тащат к себе.

— Моя девочка, — говорит Господин Кролик. — Ты так безответственно относишься к собственной жизни. Ты такая милая, я хочу тебя защитить.

В руке у меня появляется острый нож, который Господин Кролик держал во время чаепития и когда резал торт. Он длинный и блестящий, невероятной остроты. Лезвие украшено гравировкой, цветочным орнаментом, тонким и изящным, медная ручка повторяет те же линии, только на этот раз резные, а не выгравированные. Нож будто с викторианской кухни, такой иступленно-красивый. Хотя иступленно явно не то слово.

Когда очередная девочка в больничной одежде с ловкостью животного и ожесточенностью животного бросается на меня, нож будто сам двигается вперед, и за ним следует моя рука.

Я взвизгиваю. Нож легко входит в плоть, в детский живот. Пустые глаза девочки остаются к этому безучастны. Мне страшно от того, что я сделала и противно. И еще ужасное ощущение, будто кто-то мной управляет, едва не заставляет меня отбросить нож. Но вместо этого пальцы сжимают его сильнее.

— Это я, моя мышка, — говорит Господин Кролик. — Я хочу, чтобы ты была сильной в час великой тоски. Давай, милая!

И нож снова, будто сам, проходится по горлу мертвой девочки, проникая так глубоко, что врезается в кость.

— Вивиана! — кричит Моргана. Они с Ниветтой безуспешно отбиваются от пятерки мертвецов, пока Галахад и Ланселот перезаряжают пистолеты. Я бросаюсь к ним, еще не зная, что буду делать, но передо мной успевает Гвиневра. Она почти рассекает напополам тяжелым, острым мечом голову одного из детей и проходится по шеям других.

— Как ты это сделала?

— Увеличила свои силу и ловкость с помощью заклинания. И вам советую. Дети имунны к магии, но магия, действующая на нас работает.

Она всегда лучше меня, думаю я, вот она снова лучше меня. Ужасная досада для человека, которому пришлось собственноручно крошить мертвых детишек.

Я встаю перед Морганой и Ниветтой с твердым намерением защитить их, раз у меня

теперь есть заколдованный нож. Но прежде, чем я заношу его для атаки, Ланселот или Галахад снимают мою одинокую цель. А нож, уже занесенный, скользит в сторону, за миллиметр пройдя от горла Морганы.

— Упс! — кричит Господин Кролик. Моргана взвизгивает, и бьет меня по голове черенком лопаты.

— Благодарю, что не убила, — говорит она.

Я пытаюсь выпустить нож, но мои пальцы крепко сжаты. И тогда я бросаюсь вперед, к лезущим вперед мертвым детям. Я хочу быть как можно дальше от моих друзей, пока держу этот нож.

Я слышу, как Ланселот и Галахад одновременно считают:

— Тринадцать, Шестьдесят пять, Два, Пятьдесят, Тридцать один, Двадцать.

И я понимаю, что они считают тех, кого убивают. И прикидывают, сколько их осталось.

— Не стой на линии огня! — рычит Ланселот.

Нож скользит сам по себе, и я замечаю, что орудую им не хуже, чем Ланселот и Галахад стреляют. Движения моей руки совершенно мне не принадлежат, это движения убийцы. Моей рукой Господин Кролик режет своих бывших товарищей по несчастью. Холодная, липкая кровь брызгает на меня со всех сторон, и ощущение слабого сопротивления плоти под лезвием заставляет комок подниматься по горлу вверх.

Все заканчивается ровно так же неожиданно, как и началось. Дети просто падают замертво. И я, наконец, могу отбросить нож. Они падают так быстро, будто никогда и не двигались, мгновенно превращаясь из существ в вещи.

— Надоело, — говорит Господин Кролик и хлопает в ладоши. — К тому же у вас кончаются патроны. Это больше не весело.

Он измазан в креме в совершенно клоунской или детской манере.

Дети боятся клоунов, думаю я, потому что они копируют повадки детей, но такое поведение выглядит жутко у взрослого. Как безумие.

Он вдруг вскидывает руку.

— Даже не пытайтесь, — говорит он. — Я неуязвим. Лезвие, пулю и веру отринь! Боже, Храни Королеву! Аминь!

А потом он слезает с подоконника.

— Галахад! — зовет Мистер Кролик. — Галахад, дорогой! Иди сюда! Ты пытался вырвать мне сердце, да? Да?

— Разумеется, — кивает Галахад. — Ты же хочешь нас убить. Что еще я по-твоему должен предпринять?

— Не знаю! Звучит логично.

Тем же пританцовывающим шагом Господин Кролик направляется к Галахаду.

— Ты отличный парень, Галахад, — говорит он. — Я думал, что убью тебя последним. Но нет. Ты же всегда все портишь! Знаешь, что я сделаю теперь? Я заставлю твое тело сгнить, да.

Он вытягивает руки в пародийно-магическом жесте.

Галахад машинально раскрывает ладонь, делает то, чему учил нас сам — защитное заклинание.

— О, у тебя получается? А ты не дурию маялся все это время, да, дружок?

Господин Кролик делает еще шаг, потом останавливается, будто наткнувшись на невидимую стену. Он сжимает и разжимает пальцы. Одним резким движением левой руки

он отбрасывает Ланселота и Моргану в разные стороны.

— Нет уж, давайте без героизма.

— У тебя ничего не выйдет, — говорит Галахад. — Для этого ты должен ко мне прикоснуться.

Господин Кролик покачивает головой, как заводная игрушка, повторяет:

— Не выйдет, не выйдет, не выйдет.

А потом замирает на половине движения, спрашивает:

— Или выйдет?

В руках у него появляются два то ли пистолета, то ли автомата. Кажется, Кэй говорил, что они называются УЗИ. Какая-то израильская модель. Раздается жуткий треск, и очередь отсекает меня от всего мира, я падаю, зажимаю уши руками.

— Галахад! — кричу я, и нахожу свой голос в хоре воплей всех остальных.

Но еще громче в моей голове визжит Гвиневра.

— Игрушка! Доберись до игрушки! Уничтожь игрушку!

Она ведь так важна для него, вспоминаю я. Но почему я, почему ты сама не можешь...

— Потому что меня он прикончит! Быстро!

И я, больше от неожиданности, чем из разумного побуждения, хватаю нож, шепчу заклинание со словом "скорость", на выдуманном мальчишками языке, и совершаю такой быстрый бросок к подоконнику, что сама едва улавливаю собственные движения. Я хватаю викторианского кролика и слышу вопль его хозяина. Или его самого — это как посмотреть.

Я всаживаю нож ему в брюхо, верчу им, чтобы надежнее уничтожить игрушку. Как будто так я могу вернуть себе Мордредра. Эта надежда закрадывается внутрь, вплетается в мои мысли почти незаметно.

Нож ударяется обо что-то твердое, и я достаю это. Ключ. Резной, красивый, из черненого золота, похожий на ключи от наших комнат. Только в пустой середине его ручки сияет магия, похожая на крохотный светящийся шарик.

— Отдай! — рычит Господин Кролик. Но я прячу ключ в ладони, шепчу заклинание, и он исчезает. Я прячу его в комнате Ниветты.

А потом все начинает кружиться перед глазами, и я оказываюсь в цветастой и уютной гостиной, как в фильмах про пятидесятые. Я сижу на длинном диванчике, подо мной мягкий ковер, вокруг строгие полки стеллажей. На мне лимонное платье в синий кружочек, отчетливо стилизованное под пятидесятые, и милые лакированные туфельки с серебристыми пряжками.

Господин Кролик целует меня в щеку, на нем костюм, все еще старомодный, но уже куда менее, в тонкую белую полоску и начищенные ботинки.

— До свиданья, дорогая, — говорит он. Губы у него теплые, от него приятно пахнет. — Мне пора на работу, чтобы заработать нам много-много денег и отправить нашего сына в частную школу.

Я смотрю вниз и вижу что на руках у меня куколка младенца в голубой пеленке.

Он уже подходит к двери, и я думаю, что заснула, так это все абсурдно. Господин Кролик насвистывает что-то, улыбается, запускает руку в карман, и тут замирает, чуть слишком резко, чтобы это было неожиданным для него.

— О, — говорит он. — Дорогая, я, кажется, потерял ключ.

— Что? Что ты несешь?

Он заговорщически подмигивает мне, говорит:

— Мы играем.

И я понимаю, что на самом деле мы в комнате Ниветты. Что сквозь лоск пятидесятих проступают плакаты рок-звезд, бардак, клубы пыли, разбросанные рисунки и разрисованные обои. Меня снова чуть подташнивает.

— Одолжишь мне свой ключ, дорогая? — спрашивает Господин Кролик, и комната снова приобретает все свое начищенное сияние.

— Что с Галахадом?

— Ничего. А теперь мне нужно на работу. Отдай мне свой ключ, милая. Мы в опасности. Ты ведь знаешь, что мне нужно получать очень-очень много денег. Нужно позаботиться о нашем сыне. Пожалуйста, дорогая. Давай, или я сам найду его. А тебя я выброшу за борт, сука.

Он белозубо улыбается. Я смотрю в окно и вижу за ним вместо сада бушующее море, бьющееся в окно.

— Где ключ, дорогая? — повторяет он тем же тоном из сериала "Я люблю Люси."

— Я не знаю, — говорю. — Я его потеряла.

— Зачем ты мне врешь? Ты же не хочешь, чтобы меня ругал начальник? Я — начальник. Ну да неважно. Где ключ, моя милая?

Я смотрю на море, бьющееся о стекло. Оно такое, каким я его себе и представляла недавно. Стальное, дикое. Сглотнув, я говорю:

— Прости меня, дорогой. Я правда не помню, где ключ.

— Это плохо, очень-очень-очень-очень плохо. Теперь к нам могут пробраться воры. Что мы тогда будем делать?

— Защищаться.

— Да. Защищаться. Мы прирежем этих хуесосов.

Он вздергивает меня на ноги, срывает с меня платье, так что я остаюсь только старомодном белье, и целует меня.

— Я придумал, — говорит он, смотря на мою грудь. — Давай играть в "горячо или холодно"?

Он облизывается. Я делаю шаг назад.

— Давай же. Я не хочу делать тебе больно. Но я сделаю тебе очень-очень больно.

Он ходит по комнате, и я ищу хоть что-нибудь, что можно использовать как оружие. На кофейном столике лежит книга, "О мышах и людях" Стейнбека. Не слишком надежно.

— Холодно, холодно, холодно, — твержу я. В конце концов он разворачивается, рычит:

— Ты просто не умеешь играть! Давай я тебе покажу.

Он толкает меня чуть вперед.

— Холодно, — говорит он. Я послушно поворачиваю налево. По крайней мере, пока я здесь, мои друзья живы. Я иду нарочито медленно.

— Теплее, — говорит он нетерпеливо.

Я делаю еще пару шагов в сторону кофейного столика.

— Еще теплее. Почти горячо, — Господин Кролик хлопает в ладоши.

Я подхожу к столику, беру книгу.

— Обжигающе горячо, — говорит он и снова облизывается, рассматривая меня. Я открываю книгу на случайной странице.

«— Конечно, все этого хотят! — воскликнул Огрызок. — Всякий хочет иметь клочок земли, хоть небольшой, да собственный. И кров над головою, чтоб никто не мог его выгнать,

как собаку. У меня сроду ничего такого не было. Я работал чуть не на всех хозяев в этом штате, а урожай доставался не мне. Но теперь у нас будет своя земля, можешь не сомневаться. Джордж не взял с собой денег. Они лежат в банке. У меня, Ленни и Джорджа будет свой дом. Будет собака, кролики и куры. Будет кукурузное поле и, может, корова или коза.»

Между страницами лежит длинный, острый гвоздь. Мое сердце с оглушительным гулом падает вниз, к самым пяткам, я начинаю дрожать.

— Есть представления о том, что я могу сделать с этой штукой и твоим телом, если ты не скажешь мне, где ключ?

А потом, как ни в чем не бывало, он восклицает:

— Вот так нужно играть в эту игру! Теперь ты все умеешь! Теперь ты покажешь мне, где ключ. И я смогу уйти на работу, заработать много денег и сделать тебя счастливой.

— Пожалуйста, Мордред, я знаю, что вы тут! Я знаю, что вы слышите меня! Вы должны остановиться! Из-за вас нам всем угрожает большая опасность! Я умоляю вас!

— Умоляешь? Нет, ты еще не умоляешь.

Он одним движением пальца откидывает меня к стене, я больно ударяюсь спиной, у меня мутится в голове, и мир опять теряет свой цвет, яркие декорации пятидесятых выгорают. Господин Кролик подходит ко мне, он вручную связывает меня обрывками платья.

— Мы не договорились, мышка, — сетует он. Я смотрю на него во все глаза. Он садится на диван, достает сигареты и закуривает, затягивается глубоко и с наслаждением. Я не шепчу заклинание, развязывающее узлы, я помню, что это не нужно. Я пытаюсь представить, как расходится ткань, как мои руки чувствуют свободу, как боль и давление в них утихают.

— Нет, — говорит он, и все мои представления разом исчезают, смываются, как мел после дождя. — Но ты молодец, ты поняла правила игры.

Он встает с дивана, закусив сигарету, идет к одному из стеллажей, уставленных безделушками. И с каждым шагом декорации выцветают, как старое фото, теряют яркость и сходство с реальностью. И вот мы уже в комнате Ниветты, где порядок сменяет бардак.

— Ты правда думала, что я не знаю? — спрашивает Господин Кролик. Он вытряхивает из шкафа книжки, Чак Паланик и Берроуз летят на пол. Ниветта была бы очень недовольна, думаю я, и сама удивляюсь, какие в такой ситуации в голову лезут такие дурацкие мысли. Господин Кролик открывает "Гроздь Гнева" Стейнбека в середине, берет ключ.

— Неплохо сработано, — говорит он. — Ты храбрая. Я бы сразу сказал, где ключ, взяв ту книжечку и найдя тот гвоздик.

— Я не собираюсь ничего вам говорить.

Господин Кролик чуть приподнимает ключ, смотрит на сияющую искру внутри него, как миниатюрное солнце, улыбается.

— Глупышка. Ничего ты не понимаешь. Я буду тебя защищать.

— Развяжите меня.

Он смотрит на меня с полминуты, потом мотает головой:

— Нет-нет, пока рано.

Он цокает языком, потом достает из кармана часы, открывает крышку, заглядывает.

— Долго, да? Может кто-то умер? Да, разумеется, кто-то умер.

Я не думаю об этом, не впускаю его слова внутрь, потому что я знаю, что будет, если их выпустить — я сдамся. Я — слабая. Я и так слабая, и нечего становиться еще более жалкой. Я

ковыряю узел пальцами, пытаюсь расшевелить ткань, но у меня мало что получается.

— Но не хоронят же они его там! — досадливо восклицает Господин Кролик.

В этот момент дверь с грохотом вылетает, щепки летят во стороны, как брызги воды. На пороге стоит Галахад, щека у него рассечена, ключья плоти свисают, обнажая раздробленные кости челюсти, одна рука почти отстрелена, пули прошивают грудь и живот. По всем возможным человеческим меркам Галахад должен быть мертвым и является мертвым. У него чудовищный вид, я на секунду закрываю глаза, чтобы не видеть его, хотя и знаю, он пришел меня спасти.

Я имею в виду, попытаться меня спасти. Они ведь сами сказали — Мордред не обладает магией — он и есть магия.

— Забавно, я никак не ожидал, что ты переживешь автоматную очередь. Я думал, что снял тебе голову.

И я не понимаю, лжет он или нет. Может быть, он снова играет, а может быть по-настоящему удивлен. Все его эмоции настолько гротескны, что сложно разобрать, что он испытывает по-настоящему. С Мордредом была та же история, только совсем наоборот — все его эмоции были настолько крепко заперты, что сложно было разобрать, испытывает ли он что-нибудь вообще.

— По крайней мере ты лишил меня речи, — говорит Галахад. И я вижу, что рот его остается неподвижным, а голос звучит как бы сам по себе, откуда-то сверху. — Приди в себя, Девятнадцать.

— Приди в себя? Это то, что ты пришел мне сказать, когда у меня здесь моя мышка, привязанная и полуголая? Я не думаю, что у меня есть хоть одна причина приходить в себя. А теперь давай закончим с этим пацифистским разговором, он мне уже надоел.

Мордред вскидывает руку, и в воздухе будто звенят невидимые лезвия, но они наталкиваются на такой же невидимый металл.

— Ты как всегда даже не поинтересовался, что обо всем этом думаю я, и решил все за меня. Я решил закончить с этими глупыми играми в "Одумайся, Девятнадцать".

— О, кто это у нас страдает по-настоящему? Тебе не сравниться со мной, даже если бы тебя распяли, малыш.

В этот момент я снова слышу, как лезвия рассекают воздух. Только теперь они отправляются в обратную сторону. Господин Кролик не успевает среагировать, будто из ниоткуда на его плече и на боку появляются раны. И часть меня хочет крикнуть: стойте!

Часть меня все еще волнуется за Мордреда. Но в остальном — в остальном я хочу, чтобы он был мертв.

Господин Кролик прижимает руку к боку, он безмерно удивлен крови на своих пальцах. В этот момент его отбрасывает к стене, совсем рядом со мной, а потом поднимает в воздух невидимой и могущественной силой. Господин Кролик хрипит и задыхается, пытается отодрать что-то от горла окровавленными руками. И он совершенно явно не играет.

Мне хочется похлопать Галахаду, но мои руки остаются связанными. Я снова принимаюсь за свои попытки ослабить узел.

— Что, Девятнадцать? — звучит голос Галахада. — Тебе жаль? Мне очень жаль. Ты спас мне жизнь. И я не хотел бы так поступать. Я не чудовище, Девятнадцать.

— А говорил, — хрипит Господин Кролик. — Что закончил с играми в пацифизм. Слушай сюда, Четыре. Я убью всех, кто тебе дорог. Просто потому что это весело. Просто потому, что мне так хочется. Кроме твоей Морганы, разумеется, той, которая тебе больше

всех дорога. Ее я буду ебать, пока у нее кровь из носа не пойдет, потому что она — красивая.

А потом его хрип становится сильнее, и говорить он уже ничего не может. Зачем он провоцирует Галахада? Я тихо шепчу заклинание, чтобы развязать узел, и ткань спадает вниз. Ключ, мне нужен ключ. Он валяется на полу у стеллажа, Господин Кролик выронил его. Я на четвереньках бросаюсь к ключу, даже не думая о том, чтобы подняться.

— Я думал о том, чтобы сделать это быстро, — говорит Галахад. — Я бы сделал это для тебя, Девятнадцать. Но это уже не ты.

— Не оправдывайся, тебе же это понравится, я знаю.

Я беру ключ, но мне даже некуда его спрятать. Из-под кровати я достаю какую-то из грязных маек Ниветты с Джимом Моррисоном и цветами, быстро натягиваю ее. Меня до сих пор волнует, что ходить полуголой — постыдно.

А потом комната озаряется вспышкой, и я слышу треск, и крики. Сначала я думаю, что кричит Галахад. Я почти уверена, что кричит Галахад. Потому что Господина Кролика нельзя победить. А потом я вспоминаю, что Галахад больше не может кричать. Не человечески, во всяком случае.

Я вижу, как Господин Кролик дергается под электрическим током, распятый прямо на стене. Пахнет паленым. Номер Девятнадцать, вспоминаю я, больше всего боялся тока.

Господин Кролик выкрикивает:

— Знаешь что это такое?

Голос у него прерывающийся, хриплый. Его трясет, непрерывно и жутко, у него из носа течет кровь. Галахад молчит. Он чуть склоняет голову набок. Глаза у него жуткие. Он улыбается, и я вижу, как двигаются кости.

— Это страдание! — выкрикивает Мордред. — Я — король страданий, детка! И царь зверей!

А потом я вижу, как за спиной Галахада начинают собираться маленькие друзья. Калечные звери.

— Галахад! — кричу я, но он меня не слышит. — Галахад, за спиной!

Я вспоминаю наш последний урок у Ланселота. Несколько целей, несколько целей. И опять решение мне подсказывает Гвиневра. Я пытаюсь вызвать тернии, но вместо них получается колючая проволока. Мне страшно, и моя магия искажается. Колючая проволока прошивает зверька за зверьком, лиса и волк, и енот, и еж, и все это бесчисленное количество зверей оказывается связано между собой.

— Сердца, — шепчу я. — Сердца.

И проволока, ржавая, острая, проникает в сердца, я уверена. Но звери не умирают. Они вообще не могут умереть. Как и Галахад. Они накидываются на него в мгновение ока, совершенно теряя свою жалкую, мультяшную грусть. Это хищники, охочие до крови, даже те, что в природе были травоядными, вроде маленького олененка с обнаженными и переломанными ребрами. Они бросаются к Галахаду, как звери, ищущие только крови.

Ток продолжает сверкать и трещать, Господин Кролик орет, а потом все заканчивается, в один момент, Галахад теряет сосредоточенность, и Господин Кролик падает, ударившись об пол. Я сама кидаюсь к животным, позабыв о страхе, обо всем позабыв. Я не вижу Галахада в этой куче-мале, я царапаю руки со собственную проволоку, пытаюсь с помощью нее оттянуть от него хищников. Из-за проволоки все животные сцеплены, и когда я решаюсь отпихивать их руками, у меня ничего не выходит. Я уничтожаю проволоку, я вцепляюсь руками в шерсть, пытаюсь их отбросить.

Меня никто не кусает, ни одна калечная, жалкая, нездоровая тварь. Все они увлечены только Галахадом, я слышу хлюпанье крови, звук, с которым рвется плоть. Когда я рву шерсть на загривке у лисы, стараясь отбросить ее, она только облизывает мне руку окровавленным языком. Наконец, я пробираюсь в середину, к Галахаду. Тут и там проглядывают кости, он весь залит кровью. Глаза у него тем не менее закрыты мирно, то, что осталось от его лица спокойно, как у ребенка.

Шрам на груди и животе разодран. Животные расходятся. Я вижу, как лиса несет его сердце, а волк, почти волчонок с облезлой, испещренной красной сыпью кожей под редкой шкурой, несет печень. Они забрали то, что когда-то дал Номеру Четыре Номер Девятнадцать.

Галахад выглядит чудовищно, его тело разворочено, везде следы укусов. И очень сложно думать, что он не мертв, а просто спит, как думают люди в книжках. Впервые в мой мир входит смерть, впервые я сталкиваюсь с ней по-настоящему. Человек, который заботился обо мне, который был со мной ласков и никогда не обижал, человек, который учил меня многому, но в первую очередь тому, что нужно уметь прощать и уметь быть прощенной, мертв. Успела бы я его спасти, если бы не тратила время на идиотское заклинание? Не сделало ли оно хуже? Можно ли было его вообще спасти? Этого я не знаю. И никогда уже не узнаю. Ланселот не будет улыбаться мне, не объяснит, что я ни в чем не виновата, и он любит меня такой, какая я есть, нас всех. Никогда-никогда. Он окончательно мертв. Я не понимала прежде, что это значит, терять кого-то навсегда. Кого-то близкого, кого-то дорогого, пусть и обманывавшего тебя.

Слезы текут сами по себе, смешиваясь с кровью. Краем сознания я отмечаю, что за окном разражается дождь. Я плачу, некрасиво, утирая слезы и сопли, реву, обнимаю Галахада, то что от него осталось, потому что больше у меня ничего нет. Это чудовищное зрелище развороченных органов, плоти и костей — последнее, что осталось у меня от него, последнее, к чему я могу проявить нежность. Что скажет Моргана? Я виновата? Что теперь будет без него?

Слезы капают как будто сами по себе, и я забываю обо всем остальном. Наконец, я поднимаю глаза и вижу Господина Кролика. Он стоит надо мной и Галахадом, в луже крови. Волосы у него стоят дыбом, кое-где на руках и на шее виднеются ожоги.

Я смотрю на него, глаза у меня полны слез.

— Вивиана, — говорит он слабо. И я понимаю, что передо мной Мордред. Глаза у него пустые, блестящие.

— Я поднял его из мертвых один раз, смогу и снова, — говорит он будто бы себе самому, не обращая внимание на мое присутствие. Я кидаю быстрый взгляд на Галахада.

Нет, думаю я, не сможешь. И никто не сможет. Тут костей больше, чем плоти. Всего твоего страдания не хватит, чтобы совершить такое чудо. Я снова заливаюсь слезами, Мордред тоже падает на колени перед Галахадом. Я ожидаю, что он заплачет, но он только смотрит.

И мне становится его ужасно жалко — жалкое он существо. Он даже заплакать не может, даже скорбь доступна ему не в полной мере. Глаза у него страшные, полубезумные от горя, а он не плачет. Я реву навзрыд, не останавливаясь и, повинувшись неожиданному импульсу, обнимаю его — коротко, осторожно и нежно.

Он смотрит на меня так, будто не верил до этой секунды, что я еще когда-нибудь к нему прикоснусь. И я не верила, а вот.

Он говорит:

— Простите меня.

Голос его севший, несчастный, усталый, какого я еще ни у кого не слышала. Я не могу сказать, можно ли его простить. Я не могу сказать за всех, но более того — даже за себя не могу. Я говорю:

— Выпустите нас, пожалуйста. Пора.

— Я думал, что все еще может быть нормально. Я думал, что нашу жизнь еще можно исправить. Я думал, что выбрался оттуда, чтобы сделать все лучше, чем было. Думал, что у нас будет семья. Я был таким трусом. Я был и остаюсь таким трусом! Я думал, что смогу хоть что-то!

И я вижу, что он дрожит, как будто у него высокая температура. Это заставляет меня снова обнять его. И между нами устанавливается нечто такое личное, чего у меня не было никогда и ни с кем, и я знаю, больше ни с кем не будет. Я плачу за него. Я реву громко и оголтело, а он остается неподвижен, он только дрожит. И все меньше, меньше, как будто это его боль я выговариваю на древнейшем из языков скорби.

В конце концов, он замирает, а я замолкаю. И Мордред целует меня, губы у него соленые от моих слез. Я не отвечаю ему, но и не отстраняюсь. Ему этого достаточно. Этот поцелуй очень отличается от тех, которые оставлял мне Господин Кролик. Он нежный и одновременно прохладный, целомудренный. Он любит меня, понимаю я. Он тоже меня любит, как я люблю его. Мы могли бы любить друг друга еще пару дней назад. Но теперь этого никогда не будет.

— Выпустите нас, — повторяю я. Ключ крепко зажат в моей руке. Я встаю на ноги, отхожу назад.

Что делать с Галахадом, думаю я, он останется тут, непогребенный?

— Да. Я должен выпустить вас.

Он тоже поднимается.

— Куда вы пойдете, Вивиана?

— Подальше отсюда.

— Что вы будете делать?

— Я не знаю.

Он идет к двери, но я опережаю его.

— Идите за мной. Ключ останется у меня.

— Да. Конечно.

Я выхожу из комнаты, больше не оборачиваясь к Галахаду. Я никогда его не увижу. Никогда-никогда.

Мы спускаемся по лестнице. Мордред идет позади меня. Он не издает ни звука, как будто даже не дышит.

— Вивиана! Где Галахад?

И я не знаю, что сказать Ланселоту, но он понимает все сам.

— Ах ты дрянь! — рычит он, наставляя дробовик на Мордреда.

— В смысле? — спрашивает Кэй шепотом. — А где Галахад?

И я понимаю, что мне все-таки придется это произнести.

— Он мертв, — говорю я бесцветно. Моргана белеет хуже снега, открывает и закрывает красиво очерченный рот, как рыба. И я знаю, что мне абсолютно нечего ей сказать. Нет слов, которые могли бы ее утешить.

Ниветта смотрит в пол, Гвиневра сжимает зубы, так от взгляда на нее скулы болезненно сводит, а Гарет выглядит так, будто сейчас расплечется.

Но никто из них на самом деле все еще не верит. Они ни разу не сталкивались со смертью, и они не видели тела Галахада. Они будут думать, что все это шутка до последнего.

— Пожалуйста, — говорит Мордред. — Давай выведем детей. А потом застрелишь меня. Я все понимаю. Все-все понимаю.

— Как собака, — смеется вдруг Ланселот, а потом быстро и точно бьет Мордреда прикладом дробовика, и тот сплевывает кровь. Он терпит молча.

— Ключ у меня, — говорю я Ланселоту. Он кивает. Лицо у него совершенно непроницаемое, такое, что даже страшно. Дуло дробовика упирается Мордреду в спину.

— Иди. Освободи детей. А потом я тебя застрелю.

— Ты пойдешь с нами? — спрашивает Гвиневра.

— Да. Конечно.

— Ура, а то мы потеряемся.

— Тихо, Кэй, — говорит Гарет. И дальше мы идем к двери в совершенной тишине. Моя жизнь, какой я ее знала, окончена. Это единственное, что я теперь знаю точно. Мне страшно, радостно, очень грустно, и я не могу верно охарактеризовать то, что я чувствую даже этими словами — все слишком глубоко, как никогда прежде.

Давно наступило утро, дождь становится все сильнее и смывает с окон кровь, смывает кровь с цветов, и теперь все кажется зеленым-зеленым, удивительным, живым. Капли бойко бьют по цветам, а потом дождь набирает еще силы, и теперь за окнами и вовсе ничего не рассмотреть, сплошная вода.

Мы выходим на улицу. Не лучшая погода для того, чтобы покидать дом. Но время пришло.

Я беру за руку Ниветту, и чувствую, как рука ее подрагивает. Мы переступаем порог последними.

— Где игрушка? — шепчет вдруг Ниветта. Я оборачиваюсь. Выпотрошенная игрушка должна была валяться у окна, но ее там нет. Мы с Ниветтой готовимся издать одинаковой силы крик, в этот момент Мордред оборачивается, и я знаю, что он вовсе не Мордред. В руках у него снова два автомата, из которых он стрелял в Галахада. Только здесь почти негде прятаться. Шум дождя практически заглатывает звук двух точеных очередей, зато грохот дробовика раздается, как гром. Мы с Ниветтой бросаемся обратно в дом, прямо над нами

очередь пробивает одно из уцелевших окон.

Почти так же отчетливо, как грохот дробовика, я слышу, как Гвиневра выкрикивает заклинание.

— Обманешь меня один раз, позор тебе, обманешь меня второй раз, позор мне, — говорит Господин Кролик. И я не понимаю, кому именно.

— Кэй! Кэй! — визжит Моргана. У меня сердце в пятки уходит, и я не представляю, что в этот момент чувствует Ниветта.

Я рвусь наружу, из дома, на порог и в сад, где что-то случилось с Кэем.

— Нет, Вивиана!

Но я молча вырываюсь, и когда только лишь подползаю к ступенькам замечаю голову Ланселота. Он дышит, хрипло, по-собачьи. Воздух входит в его легкие и выходит из них с огромным трудом. Я вижу четыре красных кружка на его груди. Четыре красных кружка, что за глупость. Четыре красных кружка означают смерть. Он умрет, он тоже умрет.

Стоит только Гвиневра, и я боюсь, что все остальные мертвы, хотя только что слышала голос Морганы. Гарет забился под розовый куст, как будто тот может его спасти, Моргана лежит рядом с Кэем, и они похожи на романтическую парочку, только изо рта Кэя течет кровь, он ранен в живот. Пуля всего одна, думаю я, один красный кружок. Все обойдется. Может, мы даже Ланселоту поможем. Я, конечно, разве что царапины могу заживлять, но есть шанс, всегда есть шанс. Страдание дает силу, разве не так? А сейчас нужно сделать что-то. Я сползаю вниз по ступенькам, и Ланселот хватается меня за руку, крепко, больно, как человек, который уже не рассчитывает силу. От этого осознания или от боли, у меня из глаз брызгают слезы.

— Ланселот, — шепчу я.

— Заткнись. Только не реви, — говорит он хрипло. Глаза его обращены не на меня, он смотрит на Гвиневру. Я хочу облегчить ему боль, это я точно умею. Я шепчу заклинание, и оно работает, потому что он вдруг вдыхает глубже. Хрипы становятся сильнее.

Лицо его несколько просветляется.

Господин Кролик почти скрыт за пеленой дождя, он делает шаг вперед. Его плечо прострелено, я вижу дыру, сквозь которую можно увидеть кусок клумбы позади него. Совершенно непонятно, как его рука все еще остается соединена с телом.

— О, ты хотела спасти Ланселота? — спрашивает он. — Как мило, Гвиневра.

Он смеется оглушительно громко.

— Жаль, что из-за этого погибнет Кэй. Как тебе это нравится?

А потом он бросает автомат, сжимает руку, и Гвиневра визжит от боли. И я понимаю, мне нужно что-то делать. Рядом с Ланселотом лежит дробовик. И я знаю, что в Господина Кролика почти бесполезно стрелять. Ланселот стреляет, стрелял, потрясаяще, и он не смог его убить. Я вообще не умею стрелять.

Есть только одна цель, в которую я могу попасть. Дробовик скользкий, он норовит вырваться из моих рук. Я с большим трудом прислоняю дуло к своему сердцу, сидя на мокрых ступенях рядом с умирающим Ланселотом. Мой палец с трудом дотягивается на курка, и я в совершенно дурацкой, смешной позе.

— Я убью себя! — кричу я.

— Нашла время, — говорит Ланселот, но он понимает, держу пари, он понимает. Мне ужасно страшно нажать на курок случайно.

— Что, мышка? — спрашивает Господин Кролик.

— Я выстрелю себе в сердце. Я буду мертва.

Он отпускает Гвиневру, и та без сил падает на траву. Дождь скрадывает его голос. Ему приходится кричать.

— Ты не посмеешь, сука! Мы же тебя любим!

— Я посмею.

Я чувствую, как невидимая сила пытается отвести мою руку от дробовика, но у меня есть возможность сопротивляться. Я сегодня много страдала, а страдание, как я теперь знаю, это самая главная сила.

Я вижу, как Ланселот улыбается. Капли дождя стучат о его зубы, очищая их от крови. Он улыбается так ободряюще. Ему не больно. Из глаз у меня снова хлещут слезы, а ведь я и так ничего не вижу из-за дождя.

— Я убью себя, если ты не выведешь их, — говорю я.

— А с чего ты взяла, что я не убью их прямо сейчас?

— С того, — говорю я, чувствуя, что прежде не произносила таких самодовольных слов. — Что я — твоя единственная ценность. У тебя больше ничего нет.

Кажется, я впервые говорю с ним на «ты».

Гвиневру без сознания или мертва. Кэй слабо стонет. Наступает продолжительное молчание, разбиваемое только дождем. Кровь впитывается в землю, сад теперь кажется таким чистым и свежим. Хорошее место, чтобы умереть, думаю я. А других я и не видела.

Господин Кролик делает шаг ко мне, выступая из-под пелены дождя. Теперь он ближе, и я вижу его отчетливо. Это снова Мордред. Мордред говорит:

— Ключ нужно бросить в пруд. Ты сделаешь это сама.

— Нет, вы это сделаете, иначе я выстрелю, клянусь!

Тут невидимая сила снова берет контроль над ружьем. Я боюсь, что сейчас выстрелю в Моргану или Гарета, или в Ниветту, но дуло оказывается направлено на Мордреда.

— Нет. Это сделаешь ты.

— Стреляй! — визжит Моргана. Но я не могу. Я не могу выстрелить в него даже после всего.

Мордред смотрит на меня выжидающе, спокойно, но он весь белый от испуга, я вижу.

— Я чудовище, — говорит он спокойно. — Я убил своих друзей. Выстрели.

— Я не стану, — говорю я. И уже знаю — ни за что не стану. Хотя части меня и хочется, хотя меня подмывает нажать на курок. Я откажусь от этого, разумом откажусь, не чувствами. Я убираю руки от курка, обхватываю только приклад, не прикасаясь к курку. Я не хочу стать такой, как он. Убив чудовище, сам становишься чудовищем. Номер Девятнадцать был всего лишь маленьким мальчиком. Когда-то.

— Ты такая хорошая, — говорит он вдруг, очень нежно. — Ты очень хорошая. Ты добрая, Вивиана, и мне это всегда нравилось. Ты очень теплая, и у тебя нежные руки. И я никогда тебе не подходил.

А потом я вижу, как не моими руками, они остаются неподвижны, далеки от курка, а сам по себе, курок двигается. Это сделал Мордред, думаю. Я отвожу дробовик в сторону, но Моргана выкрикивает что-то над телом Кэя, наверное, то же самое заклинание, что использовала Гвиневру. И пуля делает крюк, вместо того, чтобы попасть в клумбу, куда направлено дуло ружья, она попадает в грудь Мордреда, проделывая там вторую дыру. Он падает мгновенно.

Я остаюсь неподвижной некоторое время, потом бросаю дробовик в ужасе от мысли,

что это я его убила. Нет, дурочка, это Моргана, это сам Мордред, думаю я. Вот что сказал бы Галахад, если бы был жив.

— Ланселот! — шепчет Ниветта. Она вылезла и теперь похожа на какого-то вымокшего насквозь крохотного зверька.

Но он молчит, он не двигается. Капли дождя отмыли его зубы от крови, теперь они блестят белым. Гвиневра пыталась его спасти и тем самым чуть не убила Кэя. Я понимаю, что слез у меня не осталось, и единственная влага на щеках, это дождь.

— Кэй! — вдруг кричит Ниветта. Она бежит к Моргане.

— Я жив, — говорит Кэй слабо. — Только пить хочу.

— Ты ранен в живот. Тебе нельзя, — нежно шепчет Моргана. А Ниветта вдруг целует его в губы.

Я встаю и, как сомнамбула, бреду под дождем к пруду, к нашей последней гавани. Я прохожу мимо Мордреда. Смерть удивительным образом сделала его лицо еще прекраснее. Как и безумие. Бедный ублюдок, так сказал бы Ланселот.

Я босая, на мне только белье и вымокшая до нитки майка Ниветты. Но я не чувствую холода. Между клумб и цветочных кустов я бреду к темной воде пруда, и играю с мыслью о том, чтобы утопиться. Играть с этой мыслью не страшно и не больно, как с мыслями об убийстве кого-нибудь, например. Я просто стараюсь отвлечься.

Маленькое солнце в центре ключа негасимо дождем. Я улыбаюсь ему.

— Вот и все, что нас здесь держало, — говорю я. — Вот и все.

Теперь мы сами по себе. Я швыряю ключ так далеко в пруд, как только могу. А что если он обманул? И мы просто умрем здесь от голода и жажды, потому что не умеем переносить вещи из реального мира, или потому что он поставил барьер на это.

Воздух вокруг как будто начинает блестеть, и одновременно с тем, как проясняется небо, проясняется горизонт. Дымная завеса пустоты исчезает. Впереди лес. И я не знаю, большой он или нет.

Когда я возвращаюсь, Гвиневра и Моргана дерутся, сцепившись на траве. Солнце выходит из-за туч. Я раскидываю их в разные стороны, даже не подумав о заклинании.

— Мы должны держаться вместе, — говорю я. Ниветта сидит с Кэем.

— Из-за тебя, сука, — шипит Моргана, Гвиневра не обращает на нее внимания, старательно отряхивая юбку. Я переступаю через Ланселота у порога и иду собирать аптечку для Кэя и еду для нас всех. Ко мне присоединяется Гарет.

— Ты в порядке? — спрашиваю я.

— Да. Вроде. Брат только...

Он впервые на моей памяти называет Кэя братом.

— Ты права, — говорит Гарет. — Мы должны держаться вместе, Вивиана.

И он начинает помогать мне собирать лекарства. В больничном крыле все пахнет Галахадом, а вот Галахада уже нет. У меня не идет из головы то, что они останутся непогребенными.

— Помоги девочкам занести Кэя в дом, — говорю я Гарету. — Мы не можем идти, пока ему не станет хоть чуть-чуть лучше. Попробуем поколдовать.

Но я знаю, что Кэй умрет. Я уже это знаю. Кэй умрет сегодня ночью, а если нет, то в дороге. Я так сильно сжимаю ампулу с обезболивающим, что она лопається у меня в руках.

Мы кладем Кэя в гостиной, и Ниветта вытаскивает из него пулю.

Мы все только испортим, думаю я. Кэй очень бледный, и в бреду он шепчет что-то про

"коней и других лошадей". Моргана нервно смеется. Даже при смерти Кэй остается ужасно милым. Мне страшно за него. Я боюсь, что сделаю что-то не так.

Мы садимся вокруг него, и я пытаюсь представить, что чувствовал Номер Девятнадцать, когда умер Номер Четыре. У Кэя дрожат губы, и у меня сердце сжимается от того, как ему плохо, как близок он к тому, чтобы тоже навсегда исчезнуть, вслед за Галахадом и Ланселотом, и Мордредом, конечно.

Наш Кэй, думаю я, мы тебя не отпустим.

Мы сидим вокруг него долго, очень долго. И мне кажется, что скоро все будет кончено. Но мы пытаемся до конца. Иногда кто-то встает, чтобы сменить ему повязку, и мы снова садимся вместе, снова сосредотачиваемся.

У нас есть одно желание, одно желание на всех — чтобы Кэй был жив. День заканчивается и наступает ночь. Кэй зовет в бреду то Моргану, то Ниветту, то меня. А потом он затихает, мокрый от пота, обескровленный.

Он умирает, думаю я, может он уже умер. Я виновата, я думала злые мысли, когда мы пытались вернуть его, я думала, не желая этого: умри, умри, умри. А может я этого и желала. И теперь Кэй мертв. Это конец. Мы больше не услышим его голоса, это момент потери. И я чувствую, как что-то поднимается изнутри меня и сливается с тем, что поднялось изнутри остальных. Какой-то невидимый мне свет озаряет нас теплом, а потом опускается вниз, входит в Кэя. И тот вдруг глубоко вдыхает, хотя я думала, что уже не вдохнет никогда.

Ниветта бросается проверить его повязку, и она сухая. Под ней ничего нет, никакой раны нет.

И я понимаю, вот она настоящая магия — не заклинания, не ритуалы, не жесты. Мы просто сидели здесь и желали, чтобы Кэй был с нами.

Кэй говорит:

— Привет, — он бестолково моргает, как спросонья.

— Привет, — говорю я, и улыбаюсь. А вдруг я не рада ему? А вдруг все было зря? Что за мысли?

Ниветта обнимает его и снова целует в губы.

— О, — говорит он. — Я это помню. Привет, Гарет.

— Привет, брат.

— Гвиневра?

— Что?

— Я на тебя не злюсь.

— Еще бы, я же тебя спасла.

— Не ты одна, — говорит Моргана. — Привет, дорогой мой. Ты хорошо себя чувствуешь?

— Лучше, чем когда-либо вообще, — смеется Кэй.

Мы уходим на рассвете. Все вместе. Взрослые остаются в их единственном, первом и последним доме. Я хочу посмотреть на Мордреда еще раз, но боюсь, что смертная тень слишком сильно затронула его лицо.

Я хочу запомнить его живым в большей мере, чем мертвым. Мы проходим мимо, идем вперед, не зная, что нас ждет. За прудом, который мы обходим, начинается лес.

Влажный и темный, по-летнему душный. Я никогда прежде не видела его, и теперь с интересом слежу за тем, как снуют по деревьям белки, слушаю, как поют птицы. Кэй весело болтает о чем-то с Гаретом, а остальные смеются. Я держусь чуть впереди. Мне хочется

скорее попасть туда, куда мы идем.

Хоть мы и не знаем, куда.

Больше книг на сайте — Knigolub.net